

О. Тихомиров
**Главная
Серёжкина
тайна**



О. Тихомиров

95 коп.



О.Тихомиров

О.Тихомиров

Главная Сереекина тайна

Повести и рассказы

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

ББК 84Р7
Т 46

Тихомиров О. Н.
Т 46 Главная Сережкина тайна: Повести и рассказы. — М. : Мол. гвардия, 1989. — 382[2] с.

ISBN 5-235-00406-X

В сборник входят несколько повестей и рассказов, тепло встреченных читателями. Герои О. Тихомирова — современные подростки, пионеры и комсомольцы — пытливы, энергичны, добры и мечтательны. Повесть «Юрок и Настасья» посвящена участию ребят в партизанском движении.

Т 4803010201—110
078(02)—89 167—89

ББК 84Р7

ISBN 5-235-00406-X

© Издательство
«Молодая
гвардия»
1989 г.

ГЛАВНАЯ СЕРЕЖКИНА ТАЙНА

Повесть в рассказах





ПРОЛОГ

Однажды давным-давно, когда я учился в школе, я сел писать рассказ. О чем? Да про моего одноклассника — Женьку Проегоркина, — с которым вечно что-то приключалось. Сел я, значит, за работу и вдруг чувствую, хочется рассказать мне еще и о Сережке, моем приятеле (он подружился с девочкой, а потом они поссорились, а потом помирились, а потом... я и сам не знал, что должно было быть потом).

Итак, начал я писать этот рассказ, но остался он у меня незаконченным. Хотите знать, почему? Ладно, тогда я поведаю небольшую историю...

* * *

В нашем дворе Женька появился, когда мы играли в футбол. Он держал в руках блокнот и авторучку. Только я прорвался к воротам, как он схватил меня за локоть:

— Где родился? Давно ли занимаешься спортом?

Момент был упущен; мяч у меня отобрали.

Я хотел дать Женьке по шее. Но он меня утешил:

— Не горюй. Успеешь забить. У тебя классные удары с ходу.

— Да откуда ты взялся? — Я все еще не мог успокоиться.

— Из литературного кружка. Хочу написать очерк «Лучший игрок дворовой команды». Не возражаешь?

Я скромно потупился.

— Но, может, кто и лучше най...

— Не найдется, — перебил он меня. — Я все ухватываю сразу. Герой очерка ты, и только ты.

В это время одного из наших игроков крепко «подковали», и он был вынужден покинуть поле.

— Я его заменю. — Женька бросил блокнот и ручку. — Матч продолжается!

Играл он паршиво. Больше путался под ногами. Но вот все же каким-то чудом мяч оказался и у него.

Женька трахнул по нему изо всех сил. Мяч перелетел через двухэтажный дом, который отделял наш двор от соседнего.

— Ничего, — успокоил нас Женька. — Я сбегаяю. — И побежал к соседям.

Ждали мы минут десять. Потом терпение лопнуло. Мы пошли к соседям узнать, в чем дело.

Соседи играли в футбол. Женьки среди них не было.

— Эй, — сказали мы, — отдавайте наш мяч.

— А вы — нашу стенгазету.

— Какую?

— Которую ваш Женька унес.

Выяснилось, что соседи подготовили стенгазету. Но у них кончились краски, даже на заголовок не хватило. Тут как раз и заскочил во двор Женька. Он подобрал мяч, взглянул на газету, разостланную на столе, послушал, что говорят, и сказал:

— Чепуха! У меня в пятом доме есть знакомый художник. Давайте вашу газету. Он одной левой заголовочек сделает. Поиграйте пока. — Женька кинул мяч, схватил газету и умчался.

Вместе с соседями мы долго искали в пятом доме художника. Наконец нашли.

— Вы ко мне? — спросил он, открыв дверь.

— К вам.

— Чем обязан?

— Нам нужен мяч, — сказали мы.

— У меня нет никакого мяча, — сообщил нам художник с некоторым раздражением.

— Мяч у них, — показали мы на наших соседей. — Но они его не отдают, пока вы не вернете им газету.

— Ничего не пойму, — сказал художник.

Пришлось объяснять ему все подробно.

— Так, — произнес он, совсем помрачнев. — А кто мне вернет утюг?

— Какой утюг?

Оказалось, художник гладил брюки, когда к нему ворвался Женька.

— Ваш утюг искрит, — сказал он, посмотрев, как художник водил туда-сюда утюгом. — Пока вы напишете заголовок, утюг будет отремонтирован. У меня в доме напротив живет одноклассник. Он чинит утюги за три минуты. Для него это — раз плюнуть.

— Только, пожалуйста, поторопись, — попросил художник. — У меня мало времени.

Но Женька будто в воду канул.

— Разыскивайте своего приятеля, — заявил нам художник, — тогда получите газету.

Ребята поплелись к двери.

Я не стал искать Женьку, а разозлившись, решил написать о нем рассказ, хотя и не состоял в литературном кружке.

Часа через два, когда я у же заканчивал рассказ, в коридоре зазвенел звонок.

Я открыл дверь — на пороге стоял Женька Прогоркин.

— Я к тебе прямо со стадиона, — выпалил он. — У нас футбольный матч — школа на школу. Один игрок заболел, а ты, говорят, классно гоняешь. Пошли. — И он потянул меня к выходу.

— Нет, — сказал я, — не могу. Я пишу рассказ. Вот почитай.

Он взглянул на странички одним глазом и махнул рукой:

— Ерунда! Я сам ходил когда-то в литературный кружок. Ты вот что, писатель, беги играть. А я допишу твой рассказ — закачаешься. — Женька подтолкнул меня к двери. — Желаю успеха.

И я побежал на стадион.

Вот и все.

* * *

...Вы, конечно, понимаете, почему рассказ остался без конца.

Честно говоря, я этому рад. Потому что много лет спустя я взял да и написал обо всем случившемся повесть. Ту самую, которую вы сейчас начнете читать. Правда, о самом Женьке в ней не так-то уж много сказано. Гораздо больше — о Сережке и Саше. А еще появился в содержании олененок. Да, да, самый настоящий. Существо очень важное для повести. Почему? Не слишком ли много вопросов. И вообще пролог, кажется, затянулся.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой читатель познакомится с Сережкой
при обстоятельствах не самых лучших в жизни нашего героя

Шайба влетела в ворота. «Пять два, — горестно подумал Сережка. — Нет, ни за что у них не выиграть. Один этот прыщавый Кека чего стоит!»

Команда, в которую входил Сережка Овсянников, состояла из трех человек. Столько же было и у противника, но у них играл Кека — так звали Мишку Кекина, рослого парня из соседнего двора. На коньках бегал он быстро, клюшкой размахивал как сумасшедший. А еще был он напористым и нахальным. Несколько раз он налетал на Сережку на полном ходу. Сережка падал, а Кека подхватывал шайбу и с гоготом летел к воротам.

— Хватит толкаться, — не выдержал Сережка, когда Кекин так придавил его возле борта, что затрещали доски.

— Силовой прием — знаешь? — весело отозвался Кека.

— Да ты со скамьи штрафников не слезал бы с такими приемами. Тоже мне — профессионал.

— Ладно, не питюкай.

— Что с тобой играть! — Сережка потер бок и направился к калитке.

— Трус не играет в хоккей, — противным голосом пропел Кека.

Ну что мог ответить Сережка? Что эти дикие наскоки и размахивание клюшкой — не хоккей? Смешно. Разве можно говорить с такими типами. И вдруг до Сережкиных ушей донеслось звонкое — будто по льду острым коньком царапнули:

— Правильно. Вот ты и не играешь.

— Я? — удивленно выдавил Кека.

— Ну, конечно, ты. Не играешь, а толкаешься. Смотреть тошно.

— А ну повтори! — Кека грозно двинулся к тому месту, где стояла невысокая девчонка.

Над бортиком виднелись лишь ее голова и плечи. Девчонке было лет тринадцать. Нос — кнопкой. Румяные щеки. Губы презрительно скривились. Сережка сразу узнал ее. Это была дочка тети Веры, той самой, которая продавала молоко неподалеку от Сережкиного дома.

«Молоко-о!.. Молоко-о!..» — по утрам залетал в окна певучий голос. Зимой он без труда проникал сквозь за-

крытые форточки и заклеенные рамы, летом его не могли заглушить моторы автомобилей, бегущих по улице. Правда, та улица, на которую каждое утро привозили на прицепе цистерну с молоком, была не шумной. Вернее — это был короткий переулочек. А цистерну ставили на углу переулка и бокового проезда между домами, чтобы люди, выходящие из подъездов, сразу видели: тетя Вера на месте, возле ее цистерны стоят с бидонами несколько человек, значит, молоко еще есть, идите, покупайте.

Тетя Вера старалась поскорее все распродать (то ли боялась, молоко у нее скиснет, то ли еще по какой причине). Поэтому на помощь ей часто приходила дочка. Она так же, как и мать, сноровисто открывала кран, подставляла ковшики, наливала в бидоны. «Ишь помощница!» — говорили покупатели. «А как же! — с гордостью отвечала тетя Вера. — Хлеб даром не ест...»

— И повторю. — Девчонка не отступила ни на шаг, а одну руку даже положила на край бортика, словно собиралась держаться за него. — Смотреть тошно, как ты толкаешься.

— Иди-ка сюда!

— Нужно, так сам иди.

— Не убежишь?

— Сам не убежал бы!

В ярости кинулся Кека к этой дерзкой девчонке. Да от нее сейчас мокрого места не останется. Вот он перекинул ногу через бортик... И вдруг, поспешно убрав ее, отпрянул: над оградой появилась голова овчарки. Собака оперлась лапами на бортик и басовито гавкнула.

— Найда! — строго сказала ей девчонка.

«Как все просто! — усмехнулся Сережка и пошел домой. — Нужно лишь иметь собаку, и не страшен будет никакой Кека».

Но собаки у него не было и не предвиделось (мама ни за что не захочет), а Мишка Кекин в природе существовал.

Перед Сережкой шел мужчина с девочкой лет пяти. Они разговаривали.

— ...И когда я буду большая, и буду работать, и у меня будут дети...

— Двое?.. — перебил мужчина. — Мальчик и девочка?..

— Нет, трое... нет, семь детей.

— Как ты с ними справишься?.. Будут такие непослушные, как ты.

— Я их по углам поставлю.

— Углов не хватит.

— А самого непослушного отдам.

— Отдашь?.. Так он всех замучит.

— А я его злодею отдам. Бармалею. Бармалея не жалко...

Сережка свернул к своему подъезду. Опять подумал: «И у этой все просто. А где же мне взять такого Бармалея, чтоб отдать ему Кеку? Нет, жалко будет Бармалея. Куда ему против Кекиных силовых приемов...»

— Нагулялся? — сказала мама. — Чего же так быстро?

— Хорошего понемножку.

— Садись тогда за уроки. Подучи получше свою любимую алгебру.

Сережка терпеть не мог алгебру. Не давалась она ему — и все. Очень некстати взялась мама подшучивать.

— Меня не спросят, — буркнул Сережка.

— А если?

— Только что спрашивали.

— Не надейся на случай. Надейся на себя...

Мама еще что-то говорила. Сережка слушал вполуха. «На себя! — мысленно повторил он, а сам думал о другом. — Видала бы ты этого громилу на коньках, прет как танк...»

— И вообще математика в наше время важнейший предмет...

«...а как он клюшкой машет?!..»

— ...В нем, ты учти, не только цифры и формулы, этот предмет помогает рассуждать, мыслить...

«Врежет разок по голове — навсегда дурачком останется. Такой вредный тип и...»

— Этот предмет очень полезный и...

— ...такой нахальный, — забывшись, произнес вслух Сережка.

— Что... что? — уставилась мать на сына. — Похоже, ты действительно заучился. Пойди погуляй еще. Проветри голову.

— Нет, лучше я за алгебру сяду.

— Только вначале поставь градусник. — Мама потрогала Сережкин лоб.

Очередь за молоком всегда таяла быстро: ковшики тети Веры так и мелькали, монетки в большой стеклянной кружке весело позвякивали. Иной раз, обслужив всех, продавщица оставалась в одиночестве. Она поскукает, немного постоит (никогда не привозила она с собой табуретки), подвигнется вокруг своего нехитрого хозяйства и вдруг закричит в напоминание местным жителям:

— Молоко-о!.. Молоко-о!..

Глядишь — и верно — появляются запоздалые покупатели, идут к цистерне. Поскольку к тете Вере шли в основном из окрестных домов, она многих знала, здоровалась, охотно заговаривала.

— Ну как, — спрашивала она молодую женщину. — Катюша поправилась?

— Не совсем, — отвечала та, — покашливает.

— Вы ей меду в теплое молоко... И почаще пусть пьет...

— Не хочет. Прямо беда... Полчашки с уговорами еще выпьет, и все.

— Заставлять надо. Ишь — не хочет!.. — возмущалась тетя Вера. — Да куда ж вы?! А сдачу с полтинника...

Высокому очкарику-студенту, который пришел с литровой бутылкой, она сказала:

— В горлышко наливать не буду. В прошлый раз сколько пролили? Нет, милый, покупай бидон. С тобой лишь добро переводить.

Но предусмотрительный студент вынул из кармана пластмассовую воронку, вставил в горлышко.

— Не вижу проблемы, — сказал он.

— Ишь! — улыбнулась тетя Вера и даже ковшик свой поставила. — Денег, что ли, нет, академик? Два рубля бидон-то стоит.

— Угу, нету.

— Займи. — Продавщица принялась лить в воронку.

— У кого? — вяло отозвался студент.

— У меня.

Но студент не обратил на это внимания, подхватил бутылку, зашагал прочь.

А молочнице уже подавал бидон сантехник Федя.

— Что, Федя, — говорила она ему, — опять руки трясутся?

— Так вчера — получка.

— У тебя каждый день получка.

— Ладно, — отмахнулся Федя, — налей два литра.

— Как таких в ЖЭКе держат? — не унималась тетя Вера. — Работничек...

— А что?.. Пойди поищи: у меня пятый разряд.

— По этому делу, — продавщица щелкнула языком.

Вокруг засмеялись.

Потом подошла очередь Сережки.

— Два с половиной литра, — сказал он.

Тетя Вера наливала в ковшик, ловко опрокидывала его над бидоном и считала:

— Один... два...

Это вода бежит из чайника, звеня и булькая, а попробуйте наливать молоко — оно льется спокойно (течет, а не бежит). Приглядитесь, как оно льется — мягко, по-деловому, без суеты. Слово бы внушает: я — сила, я — здоровье, я — жизнь.

Сережка стоял рядом с молочницей и смотрел, как белая пена поднималась в его бидоне.

— Два с половиной, — сказала тетя Вера. — Семьдесят копеек.

Он полез в карман, и тут кто-то больно ткнул его в бок. Сережка обернулся — рядом стоял Кека.

— Привет, — произнес он, и рот на его прыщавом лице растянулся до ушей. На Кеке была новенькая спортивная куртка — полно всяких кнопок и «молний». «Adidas» — красовалась надпись на полоске левого клапана.

— Привет, — кисло ответил Сережка: встреча ничего хорошего не предвещала. Он подумал, что вот так, наверное, улыбается питон, увидев перед собой кролика.

— Опять деньги забыл? — спросила тетя Вера, взглянув на его руку, которая замерла в кармане.

Расплатившись, Сережка взял бидон и, не оглядываясь, зашагал к дому.

— Эй! — услышал он и невольно вжал голову в плечи, словно ожидая удара.

Цепкая рука схватила его кисть. Сережка еще не успел обернуться, но знал, кто в него вцепился. «А может, нет, не он...» Повернул голову.

Ну, конечно, Кека... Самодовольная морда лыбилась, и каждый прыщ на ней, казалось, лыбился тоже.

— Молочка-то дай попить, — произнесла морда.

Сережка представил себе, как он сейчас отстранит молоко в сторону, но Кека длинной ногой все равно достанет — пнет — и покатится бидон по земле, и побежит белый ручей, и засмеется отвратительным смехом Кека. «Эх, показалась бы на улице мать», — тоскливо подумал Сережка, и тут же вспомнились ее слова: «Не надейся на случай. Надейся на себя».

Преодолевая неприязнь, он подал бидон. Кека, видно, не ожидал этого, но взял, взглянул на молоко, сказал:

— Оно же некипяченое. Кипятить надо.

Сережка протянул руку, чтобы забрать бидон назад, но Кека не торопился возвращать его.

— А вот кошки пьют, — произнес он, заметив пробегающую кошку. — Кис-кис...

Та приостановилась, сверкнула желтыми глазами, побежала дальше.

— Сытая, — пояснил Кека, — потом попьет.

Он пошарил взглядом по сторонам и, увидев большую банку из-под зеленого горошка, радостно спросил;

— Ты кошек любишь?.. Нет?..

Сережка молчал: что говорить, если над тобой издеваются.

— Зря, — продолжал Кека. — Наши «меньшие братья» — животных теперь так называют.

— Я собак люблю. Особенно овчарок, — не выдержал Сережка.

Кека приблизился к банке, налил ее до краев.

— И собакам хватит, — ухмыльнулся он. — Держи. — Но в последний момент приставил бидон к губам, шумно втянул молоко в рот, чуть подержал и выплюнул назад.

— Холодное... — сказал он. — Все кишки застудишь. — Кека протянул бидон.

— Нет уж, пей, — проговорил Сережка и не узнал своего голоса.

— Да ты что?..

В ответ Сережка широким движением выплеснул все молоко на Кеку.

Белые струи бежали по лицу, по одежде, целая лужа растеклась возле Кекиных ног, а он стоял и все никак не мог опомниться, тряс головой, фыркал и отплевывался.

— Та-ак!.. Что с тобой сделать?.. — прошипел он наконец и шагнул.

Но в нем уже не было ничего устрашающего. На питона он теперь не походил.

Сережка ничего не сказал, лишь отвел, чтобы лучше размахнуться, руку с бидоном.

Кека сообразил: ударит. А бидон тяжелый, и в руках у самого Кеки на этот раз нет при себе хоккейной клюшки и вообще ничего нет.

— Ты мне ответишь, — опять прошипел он и вдруг совсем другим голосом — дурным и жалким — добавил: — Такую куртку испортил, шалава...

Куртка на нем была действительно хороша. Что говорить — фирма! Сережка все же сжимал ручку бидона и, не мигая, уставился на полоску со звучным словом «Adidas», будто пытался понять его, а понимал совсем другое: нет, не будет теперь издеваться над ним Мишка Кекин, не посмеет...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой с Сережкой произошла и вовсе скверная история

Все-все в его жизни круто изменилось: Сережка попал под машину. В больнице он лежал и смотрел в потолок или закрывал глаза, а перед ним вновь и вновь возникало...

Он помнил, как торопился, опаздывая в школу, как вскочил в автобус, хотя ехать было всего лишь остановку. «Подвезло, — подумал он тогда, — может, со звонком успею». В тот день на первом уроке была контрольная по алгебре. Сережка подготовился плохо и теперь боялся: не схватить бы двойку. Вот если бы удалось договориться с кем-то из отличников. Лучше всего — с Гусем. Гусь задачки решает, как орехи щелкает. Раз два — сам решил и Сережке на каком-нибудь клочке нацарапал бы. И все дела!

Потом Сережка выскочил из автобуса, но перебежать на другую сторону, где находилась школа, было нельзя: один за другим проносились автомобили. «Опоздаю». Он прошмыгнул перед огромным, стремительно надвигающимся автофургоном. «Ну и махина!» — успел подумать Сережка, и в это время сильнейший удар швырнул его куда-то в темноту...

Когда он очнулся, увидел, что над ним стоят люди. Он попытался приподняться — резкая боль в ногах сразу же повалила его. В глазах поплыли огненные круги. Но сознания Сережка больше не терял. Слышал голоса:

— Слава богу, жив остался!

— А «скорую» вызвали?

— Побежали звонить.

— И себя загубил, и водителя.

— Водитель не виноват. Мальчишка сам сунулся.

— Отойдите, граждане! Отойдите, — громко взывал кто-то.

— Товарищ старшина, не мог я его видеть. Я обогнал слева фургон, а малец прямо из-под него выскочил. Я на тормоза, а что тут сделаешь... Вон и люди скажут...

— Запишите свидетелей... Граждане, отойдите, кому говорят...

С воем подъехала «скорая помощь». Санитары положили Сережку на носилки. Приподняли.

Голоса сразу стихли. Никого уже не просили отойти: все расступились сами.

Мягко захлопнулась задняя дверца. Взыла сирена, и машина, набрав скорость, понеслась.

По дороге Сережку спрашивали, как фамилия да имя, где живет, есть ли телефон. Сережка отвечал, а человек в белом халате записывал.

Потом Сережку опять подхватили, куда-то внесли, стали раздевать. От боли он несколько раз вскрикнул.

— Потерпи, милый, — сказали ему.

Сережку положили на каталку и прикрыли простыней. Он хотел было спросить, а как, мол, домой, маме, позвонили уже, да не спросил, постеснялся, сказал вместо этого совсем другое:

— Портфель мой где?.. Подобрали?..

— Цел твой портфель, — отозвался санитар. — Нашел о чем беспокоиться. Небось отличник?

Сережка не ответил.

Привезли его в просторную светлую комнату. Посередине стоял стол, а над ним свисала яркая лампа под огромным металлическим колпаком. «Операционная», — догадался Сережка. Вдоль стен стояли стеклянные шкафы. Увидав на их полках хирургические инструменты, Сережка вздрогнул. Страшно стало.

И тут подошел к нему молодой мужчина — на голове белая шапочка, на руках светлые резиновые перчатки, — сказал:

— Ну что ж, показывай свое хозяйство, — и улыбнулся.

Сережка тоже попробовал улыбнуться, но не смог, только губы чуть шевельнулись.

Его перенесли на стол, сняли простыню. Вначале Сережке было неловко: лежит он голый, а вокруг столько народу, и все на него смотрят. Но через минуту он забыл о своей наготе и весь обратился в слух: что же будут говорить про него?

Все молчали. Только хирург в белой шапочке, склонившись низко над Сережкиными ногами, приговаривал:

— Так, так, так...

Сережка лежал и не мог шевельнуться. Чуть что — пронизывала острая боль. Он уже понял, что молодой мужчина здесь главный и что все ждут его слов. А тот все говорил:

— Так, так...

Наконец выпрямился и сказал всего одно слово:

— Шприц.

Прозвучало это резко и отрывисто.

Сережке стянули руку повыше локтя резиновой трубкой — жгутом — и велели:

— Поработай пальцами. Сожми кулак и разожми.

«Зачем?» — хотел спросить Сережка, но молча повиновался.

— Еще, — сказали ему, — еще несколько раз. Только не бойся, сейчас сделаем укол. Спокойно...

Укол был не очень болезненный, но какой-то долгий. «Чего так возится? — сердился Сережка на сестру. — Первый раз, что ли?» Но сестра не была молодой. «Копуша, — мысленно обругал ее Сережка. — Ей хорошо, а тут лежи с иглой в руке. Вынимала бы поскорее».

Но вот «копуша» вынула иглу, а другая сестра тут же приложила к этому месту ватку и крепко прижала ее.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Сережа.

— А фамилия.

— Овсянников.

— Где ты живешь?

«Уже ведь записывали, — подумал Сережка. — Может, листок потеряли?» Он сказал адрес.

— А в какой школе учишься?

Сережка назвал школу.

— Какие у тебя отметки? — не отставала сестра.

«Вот еще! — возмутился Сережка. — Потом спросит, почему двойку по алгебре не исправляешь. Ей-то какое дело! Отметки!.. Так и нужно сказать: какие есть — все мои. Интересно, что она после этого запоет...»

Но сестра ничего не «запела», потому что Сережка ответить не смог. Он уснул.

* * *

Все, что еще утром казалось таким важным и значительным, теперь потеряло свой смысл, превратилось в пустой звук.

Сегодня к пяти часам Сережке нужно было бежать вместе с Генкой в секцию фехтования. Тренер Вадим Петрович хотел показать новый выпад.

А у Сережки на двух ногах пять переломов. Новый выпад и пять переломов — не смешно ли?! Сережка еще боялся, что Вадим Петрович спросит про алгебру, исправил ли. Все надежды были на контрольную, вернее — на Гуся, который задачки щелкает, как орехи. Контрольная! Три «ха-ха!» А он-то беспокоился, он-то спешил...

В воскресенье Сережка собирался походить на лыжах с Сашей Круговой. Это ничего, что они в ссоре. Помирились бы. До воскресенья вон сколько дней, может, даже сегодня бы и помирились. Сережка сказал бы: «Знаешь, Кругова, я не прав был. Ты, конечно, и сама тоже виновата, но я...» Нет, тогда она не стала бы мириться. Ну все равно, он сказал бы что-нибудь другое. Неважно. Они бы встретились рано-рано на вокзале. А потом ехали бы в вагоне, где кругом понабивалось лыжников — веселых, шумных, в ярких свитерах. А потом, чертыхаясь и протискиваясь сквозь толпу, забившую проход, в вагоне появилась бы мороженщица. «Эскимо и сливочное в стаканчиках!» — крикнула бы она. «Эскимо?» — спросил бы Сережка Сашу и полез бы в карман за мелочью. «Нет, сливочное». Он купил бы ей и то и другое. И себе тоже. Они бы ехали, откусывали бы понемножечку от своих эскимо и стаканчиков и слушали студенческие песни. А потом он, возможно, рассказал бы ей про историю с Кекой и молоком, и они бы вместе посмеялись. А потом они сошли бы на какой-то платформе, и лес закивал бы им своими макушками. Сережка и Саша стали бы на лыжи, и зазвенела, за-

скрипела бы под ними лыжня. «Догоняй!» — крикнула бы Саша. Сережка подождал бы немного, будто проверяет крепления, а потом понесся бы — только свист в ушах. Он догнал бы ее у леса и сказал бы: «Знаешь, Кругова...» Нет, лучше: «Знаешь, Саша...» Конечно, так лучше. Про что сказал бы? Ну хотя бы так: «Знаешь, Саша, давай больше не будем ссориться». А потом...

Суп с котом! И бульон с котятами!..

Какие тут, к черту, лыжи! А пять переломов не хотите?!

Может, Саша все равно бы не поехала? Может быть. Но что попусту мечтать...

Все, все, о чем только ни думал Сережка, получалось теперь таким далеким, таким ненужным.

* * *

Пришла Сережкина мама Елена Васильевна. Она, как увидела лежащего на белой кровати сына, начала всхлипывать. Сережка поморщился:

— Ну, мам... Ну что ты... Все будет хорошо, врач сказал...

— Да, да, Сереженька... Ноги болят?

— Нет, мам. Ничуть. Не веришь? Врач сказал, бегать буду.

Сережка не врал. Когда он пришел в себя после операции, молодой врач сказал ему: «Еще набегаяешься в своей жизни». — «Правда?» — переспросил Сережка. «И в футбол погоняешь, и на танцах покрутишься», — уверенно произнес врач. Сережка хоть и посмотрел недоверчиво на свои неподвижные, загипсованные ноги, а все же легче стало. Танцы, конечно, чепуха. Но футбол — это уже неплохо.

Теперь Сережка хотел приободрить и мать, но та машинально кивала головой и говорила:

— Будешь, будешь.

Она тоже разговаривала с врачом. И разговор этот был менее приятным. Врач сказал, что переломы у Сережки сложные. Кость в некоторых местах раздроблена. Ее составили, скрепили, где нужно, металлическими стержнями.

— Ходить он сможет? — спросила мать.

— Сможет. Но на ноги станет не скоро.

— Когда?

— Точно сказать не могу. Думаю, месяца через три. Да месяца два на костылях походит.

— Боже мой, — вырвалось у Елены Васильевны, но она тут же взяла себя в руки. — Извините, — сказала она, — это нервы. Главное — жив остался.

— Я понимаю, — проговорил врач.

В это время подошла медсестра.

— Юрий Михайлович, — сказала она, — вас просят в операционную.

Врач встал, сделал жест руками: извините, мол. Потом повернулся к сестре:

— Скажите, чтобы пропустили к Овсянникову.

— Хорошо.

Сестра застучала каблучками.

— Всего доброго, — кивнул врач Елене Васильевне и пошел, но, сделав два шага, остановился. — Вашего Сережу нужно будет устроить в специальную больницу, где бы он смог и лечиться и заниматься.

— Заниматься?

— Конечно. Чтобы не отстал. А осенью пойдет в свой класс. Ну еще раз всего доброго.

— До свидания, — тихо проговорила Елена Васильевна.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

про сосны и звезды, про игру «Понск», про Кольку и
бабку Маркеловну

Сережка никак не мог уснуть.

Он лежит недалеко от окна, и ему видно, как в световом круге от уличного фонаря мелькают снежинки. Они падают не отвесно, а косо. В младших классах, вспоминает Сережка, были такие тетради, в косую линейку. Только там темные косые линии были на белом, а здесь, под фонарем, наоборот — белые линии на черном.

Сережке больше нравится, когда горят звезды. Они подмигивают и успокаивают, как бы говорят: не горюй, все будет хорошо.

За фонарным столбом днем виднеются три сосны. Вернее, их вершины. Если сесть, можно увидеть эти сосны целиком. Две из них высокие, но тонкоствольные. Они долго тянулись вверх без единого сучка и лишь возле самой макушки обзавелись ветками. У третьей

сосны ствол толстый, а сама она кажется погуще и покороче.

Сидеть Сережке пока не разрешают, но иногда, если нет сестры, он приподнимается на локтях и выглядывает в окно. Кроме сосен, видит он небольшой парк возле больницы. А дальше — широкое поле и на нем стога под снежными шапками, а еще дальше — лес. Темный, густой, неприветливый лес.

Хоть и скучная это картина, но Сережка нет-нет да и выглядывал в окно: надоедали одни и те же четыре стены больничной палаты под номером девять. На днях в палату вошла сестра, а Сережка не заметил, как «сидел», так и остался «сидеть» при ней.

— Ты что ж, — сказала сестра, — две недели лежишь, а уже порядок нарушаешь. Привязывать тебя, что ли? Нехорошо. Вот я скажу врачу.

Отошла она с очень недовольным видом.

— Не скажет, — шепнул Сережке его сосед Шалва Бадурашвили. — Она добрая. Не бойся.

Шалва лежит уже четвертый месяц. Хорошо знает, кто добрый, а кто злой. И еще он говорит, что сидеть Сережке скоро разрешат. Вот кто «со спиной» лежит, у того дела хуже. Шалва — «со спиной». У него трещина в позвонке. Он лежит в «гипсовой кровати». Ему даже чуть-чуть приподниматься нельзя.

Сережке к больничному порядку привыкнуть трудно. Многие, правда, нарушают его, но это в основном выздоравливающие. Лежачие садятся, сидячие встают на ноги. Некоторые пытаются пройти. Пошатывается их от слабости, держатся они, бледные и трясущиеся, за кровати соседей, но идут. Такие действия обозначаются в больнице словом «бегать». Не жалким, но точным «ковылять», а бодрым, хоть и нереальным, «бегать». Зайдет сестра в палату, увидит, что все подозрительно притихли, спросит: «Что, опять бегали?» Или один говорит другому: «А я вот месяц отлежал — и бегать начал». Кто не знает, подумает: ну и врун же! А вранья-то никакого нет. Все чистая правда. Хоть «бегун» и лежит до сих пор в кровати.

Сережка, узнав о таком «беге», насторожился было. Не про этот ли бег втолковывал ему врач после операции? Но, подумав, успокоился. Врач ведь говорил еще и о футболе, и о танцах.

Шалва не «бегал». У него не двигались ноги. С позвончиком шутки плохи. Врачи, правда, говорят, что

все восстановится. Вот и колени у него стали в последнее время чуть сгибаться.

Сережка все рассказал Шалве: и как попал под машину, и как на «скорой» везли, и как на операционный стол положили.

Шалва о себе рассказывать не стал.

Тогда Сережка спросил его напрямик:

— А у тебя что было?

Шалва ответил не сразу:

— Тоже машина...

— Наехала?

— Зачем наехала? Сам...

— Наскочил?

— Зачем наскочил?

— А что?

— Так, — сказал Шалва и умолк.

— Тайна? — спросил Сережка.

Сосед не ответил.

«Подумаешь, — слегка обиделся Сережка. — Не хочешь говорить — не надо. Обойдемся. Упрашивать не будем. Ишь, изображает из себя...» Но долго обижаться он не мог. Потому что вскоре убедился, нет, Шалва ничего не изображает, а просто молчаливый такой. И то, что рассказывать не захотел, — его дело. Может, тайна какая. Каждый имеет право на тайну. У Сережки у самого есть тайна. У него и у Саши Круговой на двоих. Да и вообще интересно, когда что-то таинственное. Даже октябрят-первоклассников, у которых он был вожатым, Сережка завоевал разными «тайнами».

Однажды...

* * *

...А было это в конце сентября, звеньевая Рита Кайгунова — Сережка ее не любил, считал формалисткой и дурой — сказала:

— Овсянников, звено тебе поручило в числе других ребят пойти вожатым к первоклассникам. — Стеклышки ее очком строго сверкнули.

— Это ты мне поручаешь, а не звено.

— Вчера у нас было собрание. И я не виновата, что ты как раз вчера пропустил занятия в школе.

— Я у врача был. Мне зуб рвали. У классной руководительницы есть справка.

— Не знаю, не знаю. И вообще...

— Не веришь. Смотри. — Сережка широко раскрыл рот.

— Больно нужно... — Кайгунова даже отступила на шаг. — Так вот. Я тебя выдвинула в число вожатых. Подтянешь малышей, просветишь их. Твой класс — первый «А». Будешь там работать вместе с Горовым.

— Кто тебя просил? Я не умею, — заерепенился Сережка.

Но Рита не слушала.

— К седьмому ноября первоклассников будут принимать в октябрята. Заодно сам подтянешься. Сегодня после уроков приходи в пионерскую комнату — там начнутся занятия для вожатых. Все ясно?

— А как же фехтовальная секция? Сегодня я там занимаюсь.

— Это твои заботы, — сухо заметила Кайгунова. — Впрочем, договорись с Горовым — пусть все запишет.

— Горовой тоже ходит в фехтовальную.

— Тогда договорись с кем-нибудь. Потом все протудируете. — И пошла.

«Зануда! — мысленно обругал ее Сережка. — Понахваталась словечек».

Кайгунова вдруг вернулась.

— Да, Овсянников, как у тебя с макулатурой?

— Нормально. Собираю понемножку.

— Помни о своих обязательствах.

— Помню.

— И сразу же подключай к этому делу первоклассников. Желаю успехов. — Она сверкнула очками и скрылась.

Хорошо хоть, выпало Сережке работать на пару с Генкой Горовым. С ним они друзья. Как-нибудь справятся.

Нелегко это оказалось «вожатствовать» (так говорил Генка) у первоклашек. Придешь к ним, начнешь «проводить беседу» (так говорила Кайгунова), а они, хоть и сидят смиренно, не балуются, но по всему видно — скучают. Тут и самому Сережке скучно делалось, хоть засыпай, стоя у стола.

— Знаете ли вы, ребята, — читал он по бумажке, — что сбор вторичного сырья не только помощь народному хозяйству, но и забота об окружающей среде?..

Первоклассники молчали.

— Вам все ясно? — спрашивал Сережка и сам вспоминал блестящие стеклышки очков Кайгуновой. — Сбор

макулатуры, — он снова заглядывал в бумажку, — ответственное дело. Знаете ли вы, что одна тонна собранной макулатуры позволит сохранить... — он прерывал чтение и многозначительно смотрел на Горового, — скажи, Гена.

Первоклашки вдруг заулыбались. Послышался шепот:

— Крокодил... Крокодил Гена...

Горовой заглядывал в бумажку и включался в беседу:

— Позволяет сохранить около шести кубометров леса. — И тоже спрашивал: — Вам ясно?

Улыбки исчезали. Сережка с трудом сдерживал зевоту. Оглядывал класс: не поднимет ли кто руку?

— Так что не выбрасывайте старые газеты и оберточную бумагу из магазинов, а собирайте. Когда нужно будет принести в школу, мы вам сообщим. Вопросы есть?.. Что ты хочешь спросить, мальчик?

— А Зойка уже перетаскала все газеты. Где мне взять?

— Зачем отдал? — сурово произносил Сережка.

— Кто такая Зойка? — вторил ему Горовой.

— Моя сестра... Старшая, — лепетал первоклассник. — Ей тоже задают макулатуру собирать. Все газеты унесла.

— Журналы есть? — спросил Сережка.

— Или старые ненужные книги? — подхватил Горовой.

— Нет, — испуганно выдавил первоклассник. — Все она унесла.

— Пройдись по соседям, — посоветовал Горовой.

— Она уже всех обошла... Где же я возьму?

— Тогда... — проговорил рассерженный Сережка и сделал паузу, чтобы зло состричь: собирай, мол, брошенные билеты на автобусных остановках. Но в последний момент удержался: уж очень жалкий вид был у малыша. — Это твои заботы, — сказал он, лишь бы отвязаться. — И вообще...

Первоклассник шмыгнул носом, лицо у него вдруг сморщилось.

«Заплачет, — ужаснулся Сережка. — Как успокоить — ни конфеты, ни пряника под рукой. Надо же — до слез довели малышей с этими шпаргалками...» Он скомкал записку, которую держал в руке.

— Ребята!.. — закричал он, еще не зная, что ска-

зять, что сделать. — Ребята... А сейчас... айда играть в салочки.

— Ты что? — Горовой лихорадочно смотрел в свою бумажку. — Там про это не написано...

— Согласны? — Сережка улыбался.

— Согласны, — еще не веря в случившееся, робко отозвались первоклассники.

— Салочкой вначале будет... — Сережка озорно взглянул на Горового, — ...крокодил Гена.

— Ура-а! — загремело в ответ.

— Побежали во двор! — сорвался с места Сережка. С того дня вожатые и первый «А» подружились.

Макулатуру они все же собрали. Сережка договорился с директором мебельного магазина, что ребята расчистят подсобный двор, где были целые завалы картона и плотной бумаги. Так и сделали. И директор был доволен, и первый «А» намного перевыполнил свой план по макулатуре.

— Вот, Овсянников, — удовлетворенно говорила звеньевая Рита, — ты растешь на глазах. В общем в каждом человеке есть скрытые резервы. И мы помогли тебе найти их. К Горовому это тоже относится.

— Спасибо, — буркнул Сережка.

— Мерсибо, — не замедлил отозваться Горовой.

— Паяцы, — вспыхнула Кайгунова. — Когда же вы станете серьезными?

— Завтра, — сказал Сережка.

— Или в четверг, — предположил его друг.

Кайгунова махнула рукой.

* * *

И вот наступил день — первоклассников приняли в октябрюта. Вожатые прикололи всем звездочки. В нарядном зале играла музыка, пионеры и октябрюта читали стихи, пели. Было торжественно и радостно.

Когда малыши из первого «А» вернулись в класс, их ожидал сюрприз. На стене они увидели звезду. Она была сделана из деревянных планок и обтянута красным материалом.

Сережка прочитал стихи собственного сочинения:

Поздравляю вас, ребята.
Все теперь вы октябрюта.

Дети ахнули: звезда над Сережкиной головой зажглась. Вожатый ликовал. Стихи были не блеск, и он, конечно, понимал это, но вспыхнувшая сама по себе звезда произвела на малышню впечатление.

С тех пор каждый раз, как только первый «А» начинал обсуждать свои октябратские дела, на стене зажигалась красная звезда. И не было видно, чтобы к ней тянулись какие-нибудь провода. А вот зажигалась.

— Сереж, Ген, как это? — приставали к вожатым ребята.

Сережка и Генка делали загадочные лица.

— Тайна.

— Ну скажите.

— Вот станете пионерами, тогда...

— Столько ждать.

— Терпение, друзья, терпение... — наставительно произносил Сережка.

— Всеу свое время, — добавлял Горовой.

— А кроме вас, кто-нибудь знает про эту тайну?

— Не выпытывайте. Все равно ничего не скажем.

На самом-то деле «про эту тайну» знал еще физик Андрей Васильевич. Он помог Сережке и Горовому вставить в звезду патроны под маленькие лампочки, показал, как сделать скрытую проводку в стене. Иной раз, когда оба вожатых находились в первом «А» одновременно, он-то и включал звезду по их просьбе. Но чаще они это делали сами по очереди: один был с ребятами в классе, а другой нажимал на кнопку выключателя.

За месяц до Нового года Кайгунова сказала:

— Овсянников, ты должен обеспечить своим октябратам встречу с ветераном войны.

Сережка раскрыл было рот, чтобы спросить, а где, мол, достать ветерана, да подумал, что звеньевая ответит — это, дескать, твои заботы. Но Кайгунова протянула ему листок:

— Вот список, — сказала она. — В нем четыре бывших фронтовика. Их телефоны и адреса. Проворачивай.

— В какую сторону?

— Что? — не поняла Кайгунова.

— Вертеть, говорю, в какую сторону? — усмехнулся Сережка.

— В деловую, — отрезала звеньевая. И окончательно пресекла все попытки придать разговору неофициальный тон: — Отказываешься выполнять задание?

— Проворачивать отказываюсь, а от задания — нет.

— Остряк-самоучка, — бросила на ходу Кайгунова.

Она была всегда такой: несколько минут не могла побыть на одном месте, всегда куда-то устремлялась. Словом, горела на общественной работе. Она любила выступать на собраниях и утренниках, вечно к чему-то призывала, за что-то агитировала. «Активная», — говорили о ней. Но выше чем на звеньевую не выдвигали.

Через несколько дней она подошла к Сережке и Горовому:

— С ветеранами связались?.. Кандидатуру для встречи наметили?

— Наметили.

— Почему мероприятие не проводите?

— Думаем, как получше провести, — ответил Горовой.

— Чего думать? Раз-два — и готово. Не мешкайте. Чтоб в течение недели ваш первый «А» был охвачен.

— Чем? — поинтересовался Сережка.

— Ясно чем. Ветеранами.

— А сама ты что охватываешь? — не выдержал Генка.

— Я?.. Я... — Кайгунова даже растерялась от такой наглости. — Да я все охватываю.

— Не лопнешь? — подлил масла в огонь Сережка.

— Знаешь, Овсянников... — Рита метнула негодующий взгляд и умчалась.

— Свистушка. Лишь бы галочки в плане ставить.

— Во-во: провернули... обеспечили... охватили. Тыфу!.. Проегоркин в юбке.

— Интересно, как он там сейчас в другой школе.

— Да чего интересного? — Сережка поморщился. — Давай покумекаем, как у нас будет с ветераном?

— Ну что мы мудрим? Пришел, выступил — и все.

— Эх ты! Голова — два уха. Кто наш ветеран?

— Как кто?.. — удивился Горовой: ведь уже, мол, договорились. — Шухов Валерий Федорович, войну закончил в звании капитана.

— Я не о том. Вспомни, мы его спросили: кем он был на войне? Он ответил...

— Разведчиком.

— Верно. Значит, человек в разведку ходил, в тылу врага действовал. Нужно бы устроить с ним встречу по-особенному, придумать что-то...

— Послушай. Нужно сделать так, чтобы они сами его нашли.

— Но как — они же не следопыты?
— А мы им поможем, подскажем чуть-чуть...
— Горовой, ты — гений! — Сережка так и подско-
чил на месте.

* * *

Придумали они вот что...

...В школу пришло в большом конверте письмо. Пер-
вому классу «А» — было написано на конверте.
При всех вскрыл его Сережка Овсянников. Там оказа-
лись записка и еще один конверт — поменьше, голубого
цвета.

На стене вдруг зажглась звезда. Ребята притихли.
Вожатый стал зачитывать записку:

«Ребята! Вам предлагается начать игру под назва-
нием «Поиск». В этой игре вы сможете разыскать очень
интересного человека — бывшего разведчика, награж-
денного многими боевыми орденами. Где находится этот
человек, вы узнаете, вскрыв красный конверт. Но спер-
ва нужно начать поиск. Для этого вскройте голубой кон-
верт. Судьями в игре будут ваши вожатые Сережа и
Гена».

— Ну как? — Сережка взглянул на ребят. — Начи-
наем игру или нет?

— Начинаем!

— Тогда... — проговорил Сережка и умолк.

В тишине было слышно, как он надорвал второй кон-
верт. Из него он вынул еще одну записку и новый кон-
верт красного цвета.

— Внимание!.. Читаем. «Ребята! Сейчас вы узнаете
фамилию разведчика. Для этого нужно будет написать
на доске пять слов. Разгадайте их. Первое: одежда, ко-
торую надевают в сильные морозы. Слово из четырех
букв.

— Шуба, — закричали первоклассники.

— Правильно. Анохин, иди к доске, пиши... Моло-
дец. Теперь угадываем второе слово. Оно тоже из четы-
рех букв. Назовите птицу, которая плавает по воде.

— Гусенок!

— Сосчитай, — предложил Сережка. — Там же
семь букв, а нужно четыре.

— Утка.

— Верно. Пиши, Климова, второе слово. Разгадыва-
ем дальше. Изделие из муки, которое продается в бу-
лочной...

— Булка! — не дали договорить вожатому.
— Печенье.
— Баранки с маком.
— Сухарики.
— Нет, нет, ребята. — Сережка поднял руку. — Слово должно быть из четырех букв.

И сразу же послышался чей-то голос:

— Торт.
— Нет, не торт, — растерянно проговорил вожатый.
— Почему?
— Потому что... потому что, не всегда торт продается в булочной.
— Может, кекс.

Сережка совсем сник. Как же они с Горовым так неудачно придумали третье слово. Вот выкручивайся теперь. Надо подсказывать.

— Ну что вы едите с первым и со вторым? Что мама нарезает вам на куски?

— Бородинский хлеб.
— А у нас — орловский. Мама всегда его по...
— Стоп! — облегченно вздохнул Сережка. — Кто сказал — хлеб?

— Я, — еле слышно произнесла какая-то девочка.
— Иди к доске и пиши слово хлеб.
— Бородинский?
— Просто — хлеб.

Когда слово было написано, Сережка вытер вспотевший лоб и продолжил:

— Четвертое слово. Это продолговатый овощ, который растет в огороде... Уже угадал? Называй поскорее.

— А что такое продолговатый?

— Ну длинненький такой, — ответил Сережка, подумав: «Неужели не догадаются?» И от себя добавил то, чего не было в записке: — Он зеленого цвета, его еще солят и продают в банках.

— Огурец! — одновременно выкрикнули сразу несколько первоклассников.

— Молодчики! Вот ты, — Сережка показал на одного из ребят, — иди и напиши... Пятое, последнее слово... Что ты пишешь? Нужно «огурец», а не «агурец». Исправь первую букву. Не знаешь, как? Сотри «А», напиши «О». Грамотен. С вами только разгадывать кроссворды. Хорошо, что у разведчика короткая фамилия. Так вот, последнее слово обозначает... — Он заглянул в записку. Там было написано «Хищник из популярного

кинофильма «Ну, погоди!». Должны догадаться. На всякий случай он упростил: — Злой зверь из мультяшки, который кричит зайцу «Ну, погоди».

— Волк! — хором ответил класс.

— Умники!.. Пишу сам последнее слово на доске. Вот вы и расшифровали фамилию разведчика. Что такое шифр, знаете?.. Нет? Неважно. Короче говоря, если теперь во всех словах прочитать только первую букву, получится фамилия нашего разведчика. Кто из вас лучше всех читает?..

Когда же фамилия «Шухов» была прочитана, Сережка оторвал край у маленького красного пакета. И снова — записка.

— Ребята! — Голос у вожатого вновь зазвучал бодро. — Каждый разведчик прежде всего работает головой. В этом конверте дана задача. Если вы ее решите, узнаете, на каком этаже нашей школы нужно искать Валерия Федоровича Шухова. Где он — это пока военная тайна.

— Он спрятался?

— Не спрятался, а ждет вас.

— Пойдемте, если ждет, — предложил кто-то.

— Ребята, ребята!.. Вы должны решить задачу. Вот она. Читаю. «На скамейке сидел добрый человек Иван Иванович. У него были яблоки. На эту же скамейку села девочка, и он отдал ей половину яблок. Иван Иванович и девочка съели по одному яблоку, а потом еще по одному. «Жаль, что больше нет», — сказал Иван Иванович. Сколько яблок у него было?»

Сережка еще несколько раз перечитывал задачу, кое-что растолковывал. Он думал, что задача не будет такой трудной для первоклассников, а провозились с ней почти пол-урока. Он даже взмок, пока надоумил ребят, как ее решать.

— Правильно, четыре яблока, — воскликнул он наконец. — Значит, разведчик находится на четвертом этаже.

— А где он там ждет?

— Минутку, ребята. Здесь еще кое-что написано. — Сережка стал «изучать» листок. — Ага, значит, вот какое дело. Вы должны выйти из класса и внимательно посмотреть, есть ли на стенах коридора что-то такое, чего не было раньше. Поиск продолжается.

И верно, на одной из стен октябрюта обнаружили бу-
мажную стрелку с надписью: «Следуйте в указанном

направлении». Затем они нашли еще одну стрелку, еще и еще. На четвертом этаже последняя стрелка упиралась в дверь музея боевой славы. «Откройте дверь и смело входите», — было написано на стрелке.

Когда они вошли, из-за стола поднялся седой сухопарый мужчина. Он был в гражданской одежде, на пиджаке — ряды орденских планок.

— Здравствуйте, ребята. Давайте знакомиться. Валерий Федорович Шухов...

* * *

Воспоминания. Воспоминания.

А уже ночь. Сережка лежит и не может уснуть. Справа посапывает Шалва, слева храпит Колька. Про своего второго соседа, про Кольку Бутыгина, Сережка знает все. Колька уже сто раз рассказывал, как забрался он в сад к бабке Маркеловне да упал с груши.

У Кольки язык словно помело. Иной раз начнет что-нибудь рассказывать — не остановишь. В «девятке» хохот поднимается — по всему этажу слышно. «Колька травит», — догадываются в других палатах. Нянечка Евдокия Никитична, пожилая полная женщина в очках, скорей бежит Кольку послушать. «Здоров заливать, — говорит она, — лучше артиста». Так и стоит в дверях, позабыв, что в руках у нее метла с тряпкой или «утка» (стеклянный сосуд для малой надобности).

Снежинки по-прежнему чертили косые линии под фонарем, а Сережка лежал и улыбался. Вспомнилась ему Колькина история про бабушку Маркеловну и ее груши.

* * *

Ни у кого в Покровке не было таких груш, как у бабки Маркеловны.

И не то чтобы у всех плохие были груши, нет, по всей Покровке они вызревали сочные и сладкие, но у Маркеловны груши были медовые. «Куснешь — чистый мед», — утверждал Колька. Сообщив это, он умолкал, сглатывал слюну и дальше уже шел без остановок.

Росли медовые груши на одном только дереве, и бабка, нося их продавать к станции, брала вдвое дороже. «Таких груш, — говорила Маркеловна, — во всем свете не сыскать. Пробуйте». — И она срезала ножом небольшой кусочек от выделенной специально для этого дела

груши. Покупатели пробовали, тяжело вздыхали и, уже не в силах оторвать глаз от бабкиных груш, расплачивались. «То-то же! — восклицала бабка. — На обратной дороге опять брать будете». И верно, кто раз попробовал бабкиных груш, тот, по словам Кольки, больше ни о чем всерьез думать не мог. «Только об них, проклятых», — говорил Колька.

Самому ему однажды удалось отвесть бабкиной медовой груши. Произошло это по чистой случайности. У машины, что шла к станции, заглох мотор. Народ прыгал из кузова на дорогу и потопал на станцию пешим ходом, потому что шофер Вася сказал, заглянув под капот машины: «Не теряйте, граждане, время. Дело тут часа на полтора». Все и зашагали — идти-то оставалось с километр. Кольке терять было нечего: Вася взял его как соседа прокатить до станции и назад. Поэтому Колька никуда не пошел, а тоже стал совать голову под капот. У бабки Маркеловны были с собой две тяжелые корзины с грушами. Она решила обождать: а может, Вася минут в десять управится, чего ей зря с корзинами по жаре шлепать. Но прошел почти час, а шофер все ковырялся в моторе. Маркеловна забеспокоилась. «Милочка, — обратилась она, — скоро поедем?» — «Скоро, — отозвался Вася и добавил: — Когда рак свистнет». Колька хихикнул, но бабке было невесело. К пассажирскому поезду она уже не успевала. Разве кто поможет. Да кто? Вася по уши влез в мотор. Перемазался весь как черт. Кольку бабка сначала всерьез не принимала. Лишь груши укрывала получше, когда он невзначай оказывался неподалеку от корзин. Но прошло еще немного времени, и Маркеловна переменила свою тактику. «Колянущка, — заговорила она сладко, — подсобил бы мне с корзинами». Колька не дурак. Ему было интереснее торчать возле мотора да подавать то отвертку, то пассатижи, то еще что-нибудь. А тут вдруг тащи корзину. Он сделал вид, что не услышал бабкиных слов. Но и Маркеловна была не дура. Она сказала: «Колянущка, ты про мои груши небось слышал?» — «Слышал», — насторожился Колька. «Пособи, тогда отведаешь». — И она приоткрыла пеструю тряпицу на одной корзине. Колька, как увидел знаменитые медовые груши, сунул Васе все инструменты, что держал в руке, и молча подхватил корзину. Так же молча прошагали они почти до самой станции. Ну какие могли быть у Кольки разговоры с Маркеловной! Да и бабке

было не до Кольки. Знай лишь пыхтела, как паровоз. Когда подходили к самой станции, Колька все же не выдержал и спросил: «А правда говорят, вы свою грушу медом поливаете?» — «Стой!» — скомандовала бабка и затряслась в смехе. Бородавка на ее верхней губе так и запрыгала. Бабкин смех походил на кваканье, да и вся она, по словам Кольки, была как «огромадная лягушка»: рот до ушей, глаза выпучены, подбородок мешком. «Пошли, ирод, — сказала она, насмеявшись. — Брехня все это». В том, что Колянущка превратился в «ирода», не было ничего удивительного. Во-первых, подошли к станции, во-вторых, «ирод» было не самое худшее словечко, которым бабка награждала встречного и поперечного. Добрались до платформы. Бабка поставила корзины, сняла с них пестрые накидки и принялась придирчиво разглядывать груши. Колька стоял рядом, прикидывая, сколько он может съесть зараз. Он мог бы умять и корзину, но понимал, что больше трех, ну, четырех груш бабка не даст. «Ишь, — сказала Маркеловна, — глаза-то вылупил. На-ко». — И протянула Кольке грушу, чуть поцарапанную с одного бока. Только какое это имело значение! Колька щелкнул зубами — и груши не стало. Она исчезла, как воздушный шарик, к которому вдруг прикоснулись иглой. Вернее, от шарика остались бы нитки и кусочек рваной резины. От груши не осталось даже огрызка. Лишь маленькая палочка в руках. Колька посмотрел на нее недоуменно, пожевал кончик и выбросил. Во рту, правда, еще держался волшебный вкус. Вторую грушу Колька решил есть спокойнее. Но второй так и не последовало. То ли бабке больше не попадалось поцарапанной груши, то ли некогда было искать, потому что приближался поезд, несущий тех счастливых, кому и предназначались эти медовые груши. «Чего, ирод, стоишь?» — цыкнула бабка. «Как чего! — оторопел Колька. — А груши?» — «Не про твою честь, — отрезала Маркеловна. — На копейку рубля не просят. — И добавила, выпучив лягушачьи глаза: — Мотай отседа!» Бородавка на верхней губе сердито дернулась. Обида так и закипела в Кольке. «Ляга!» — бросил он в лицо Маркеловне. «Что, что?..» — забулькала бабка, но в это время к ней подбежали две девушки с поезда. «Почем груши?» — спросили они. Колька отошел.

По дороге домой он обдумывал план действий. Сводился он к налету на сад Маркеловны. Совесть Кольку

не мучила. Во-первых, ее начисто заглушал необыкновенный вкус бабкиных груш, во-вторых, Колька считал себя глубоко обиженным, а за это обидчик должен был понести наказание. Забраться в бабкин сад! — на Колькином месте вряд ли бы кто придумал что разумнее.

Итак, операция была разработана со всех сторон. Время действия — ночь. Место действия — бабкин сад. Главная ударная группа — Колька. Вспомогательные силы — его приятель Михай. Основной противник — бабка Маркеловна. Ее союзник — пес Полкан.

Наибольшую опасность и представлял Полкан. Но Михай, в задачу которого входило дежурить у забора, а заодно и отвлекать собаку, предложил мудрое решение. «Пса переманим на нашу сторону», — заявил Михай на военном совете. Бабка держала Полкана впроголодь, хотя он нес свою службу исправно и облаивал каждого, кто приближался к забору. За два дня Михай добился потрясающих успехов. Он доказал, что при помощи кусков хлеба и ласковых слов (Полканчик, Полкаша, Полканушка) настоящего лютого зверя можно превратить в того, кого называют другом человека. Полкан прибежал на свист, смотрел на Михея и Кольку преданными глазами и радостно махал хвостом. На третий день Михай, проявив замечательные способности дрессировщика и, конечно, определенную отвагу, мог уже гладить Полкана, протягивая руку в щель между досками забора. На четвертый день кормление собаки производилось на территории неприятеля: Колька и Михай благополучно перелезли через забор и были радушно встречены местным населением в лице Полкана. В тыл противника, то есть в сад, лазутчики не углублялись, чтобы не встретиться случайно с основными неприятельскими силами. Колька и Михай лишь издали посмотрели на знаменитое дерево (груши на нем так и сверкали). Скормив Полкану полбуханки хлеба, Колька и Михай вернулись в расположение своей части.

А ночью... ночью Полкан чуть было все не испортил. То ли по привычке, то ли обознавшись, он залаял. Заслышав «условный» свист, он, правда, смолк, но такое начало операции не предвещало ничего хорошего. «Может, завтра полезем?» — предложил Михай. Но Колька вразумил его одним словом: «Испугался?» Они полезли через забор. После короткого артобстрела (в сторону Полкана полетели куски хлеба) действующие группы разъединились. Михай, в руках которого были все бое-

припасы (хлеб и котлета), остался с Полканом возле забора, а Колька стал продвигаться к объекту № 1 — так на военном совете была обозначена груша.

Во всем нужно знать меру. По отношению к Колькиным действиям эти слова растолковывались бы примерно так: сорвал с десятков груш и не мешкая отходи на заранее подготовленный рубеж. Колька меры не знал. Проглотив одну грушу, он уже не мог остановиться. Это его и погубило.

Кто знает, может, он слишком звучно уплетал их, может, просто у Маркеловны была в ту ночь бессонница, но, как бы там ни было, бабка вышла в сад и напрямик направилась к груше. Колька, увлеченный своей работой, ничего не слышал, а когда услышал, было уже поздно: путь к отступлению был отрезан, бабка стояла под деревом и отчаянно ругалась. Потом она принялась звать собаку. Но Полкан не прибежал, так как Михей пустил в ход сверхмощное оружие — крошечными порциями он скармливал собаке котлету. Потеряв надежду на подкрепление, бабка закричала: «Слезай, ирод!» — и схватила хворостину. Колька не слезал. Он решил, что бабка отправится за кем-нибудь, а в этот момент он убежит. Однако и Маркеловна была не новичком в подобной схватке. Она никуда не уходила. Выжидательная тактика принимала слишком затяжной характер. «Слезай по-хорошему», — предложила бабка, но хворостину не бросила. Колька выдвинул контрпредложение. «Не уйдете, — сказал он, — все поем». И сорвал ближайшую грушу. Подобной наглости бабка стерпеть не могла. Засунув хворостину за пояс, она тоже полезла на объект № 1. Колька, конечно, не ожидал от Маркеловны такой прыти. Кто бы мог подумать, что бабка умеет лазить по деревьям! Пока он удивлялся неожиданной маневренности вражеских войск, бабка приблизилась к нему на расстояние хворостины в вытянутой руке. «Слезай, паршивец!» — скомандовала Маркеловна и пустила хворостину в ход. Кольке пришлось менять позиции. Он поднялся еще выше, ветви под ним стали уже совсем тонкие, так и гнулись. Но бабка тоже сумела продвигнуться. «Кому говорят, слезай», — сказала она и вновь попыталась огреть бывшего Колянущку. Но Колька, изловчившись, выхватил хворостину из рук неприятеля. Трофей тут же был изломан на несколько частей и выброшен. Маркеловна от досады взвыла и поднялась выше еще на один сук. Колька, понимая, что

рукопашная схватка не принесет ему успеха, опять попробовал продвинуться, однако тонкий сучок под ним хрустнул, и Колька спикировал прямо на бабу. Та попыталась было устроить ему достойную встречу, но не смогла удержаться и рухнула вслед за ним. Приземление их было неудачным. Колька, хрястнувшись о камень, сломал бедро. Маркеловна, свалившись на «иро-да», расшибла бородавку о его затылок и вывихнула руку. Бабкины потери оказались незначительными, уже через две недели она снова выносила груши на платформу. У Кольки кость срослась неправильно. Вот и пришлось его через некоторое время отправить в травматологическую больницу. «Ничего, — заканчивал свой рассказ Колька, — вернусь, мы еще повоюем».

* * *

Сережка все не спит. Сон никак не идет.

А снег за окном перестал чертить косые линейки. Видно, ветер прогнал тучу. Теперь уже зашумели, заволновались три сосны — две тонкие и одна толстая. О чем они переговариваются?

И еще выглянули звезды. Они сверкают и подмигивают и тоже не дают Сережке спать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

из которой можно узнать о том, как обычно проходил день
в больнице

Как же не хочется открывать глаза. Еще поспать бы самую малость, чуть-чуть. Кто его будит? Зачем?

— Сережа... Сереж... Проснись... слышь?

Нет, это не мама. Кто же?

Сережка раскрыл глаза. Ах вот оно что: няня Евдокия Никитична сует ему в постель холодную «утку». Хочешь не хочешь — нужно брать. Такой порядок. В палате темно: нянечка жалеет ребят, не включает свет. Она хочет, чтобы они еще немного поспали. Только разве теперь поспишь!

— Коля... Коля... вставай... — Евдокия Никитична начинает будить следующего.

Хорошо сказать «вставай». Встать бы действительно на ноги. А тут «вставай» — одна насмешка. Конечно,

няня и не думает насмехаться, даже не подозревает, что так получается.

Закончив обслуживать одну палату, Евдокия Никитична ушла в другую. Сережка знает, минут через пятнадцать она придет с кувшином и тазиком. Опять начнет будить каждого: нужно умываться. Умывание тоже происходит в темноте. Лишь фонарный свет слегка проникает с улицы.

Хорошо тем, кому можно сидеть. Им умыться ничего не стоит. Сомкнут ладони, и Евдокия Никитична льет из кувшина в пригоршню. Тут же и тазик. Наклонился над ним и — фррр! — утыкаешься носом в воду. Лежащим хуже: они или обтирают лицо мокрыми ладонями, или, если попытаются умываться более энергично, забрызгают все — и подушку, и пододеяльник.

После умывания, кто хочет, опять может заснуть. Но что это за сон! Вот-вот появится сестра, включит свет и начнет раздавать таблетки и порошки. В руках у нее нечто вроде деревянного подноса с бортиками. На этом подносе лежат лекарства и список, кому что давать. Когда сестра уходит, ее просят погасить свет. Снова темнота. Но, наверное, уже никто не спит. А потом появляется другая няня — с кухни. Она положит на тумбочку хлеб и кусочек масла. Кольке вместо масла кладется яйцо. Няне уже хорошо известно, кому сколько белого и сколько черного. У каждого на тумбочке салфетка. Няня разворачивает ее, кладет хлеб и прикрывает его свободным краем салфетки. И все это делается в темноте. Но вот слышно, как по коридору везут тележку с подносами и кастрюлями. Открывается дверь, зажигается свет. Няня раздает тарелки с едой. Начинается завтрак.

Сережка приспособился есть, чуть приподнявшись и опираясь на левый локоть. Под тарелку он подкладывает небольшой лист фанеры. Нельзя сказать, что ел он со всеми удобствами, как сидячие, но другим, кто мог лежать только на спине, приходилось хуже: они ставили тарелку на грудь и даже не видели, что подхватывали в ложку. Лучше всех было Володьке Дикову и Гарику — двум ходячим, которые усаживались за стол, что находился посредине палаты.

Сидение за одним столом было, пожалуй, единственным, что их объединяло. Диков и Гарик были совершенно не похожими друг на друга людьми. Диков — шумный и несдержанный. Гарик — тихий, скромный, неза-

метный. К нему часто приезжали родители, и тумбочка его трещала от продуктов. К Дикову никто никогда не приезжал. Родственников у него не было, кроме дядки, про которого Диков говорил: «Хороший мужик, но одна беда — пить горазд». Диков был рослый и сильный и звал Гарика почему-то Хомяком, хотя фамилия того была Холмянский. Гарик был невысокий и шупловатый. Дикова он никак не называл, потому что боялся и предпочитал держаться от него подальше.

Няня, поглядывая на то, как Диков и Гарик чинно сидят за столом, говорила: «Ишь, будто голубки уселись». «Голубки» скорее напоминали кошку с собакой, не любили друг друга, но няня могла и не знать об этом.

Сегодня она всех рассмешила. Колька сказал ей:

— Мне тоже принесите масло. Не хочу яйцо.

— Тебе же врач велел.

— Не врач. А я сам попросил. Не ел масла после операции.

Няня подумала, потом, приняв решение, пообещала: — Ладно, вычеркнем тебя из яйца.

Сразу же после завтрака бывает обход. Врач Валентин Иванович подходит к каждому, спрашивает: как себя чувствуешь, не болит ли что, как спал, хороший ли аппетит? Ребята тоже его спрашивают: «Валентин Иванович, а скоро мне сидеть разрешат?», «А когда у меня гипс снимут?», «А почему нога вчера не болела, а сегодня болит?» Иногда вместе с Валентином Ивановичем делает обход заведующая отделением Зинаида Петровна. Ребята всегда заранее догадываются, когда это будет. В этот день нянечки и сестры особенно придиричивы: с тумбочек убирается все лишнее, полы и подоконники сверкают, «утки» задвинуты подальше за кровать. Вопросы задает уже Зинаида Петровна, а отвечает за них Валентин Иванович. Он рассказывает, как кого лечит.

Как в школе есть директор, как в футбольной команде есть старший тренер, так и в больнице есть самое влиятельное лицо — профессор. Если перевести на Колькин «военный» язык, то профессор — это генерал. Время от времени генерал производит смотр своим войскам. Точно так же и профессор обходит иногда все палаты. Во всех отделениях стоит тишина. Не слышно даже постоянного звяканья ведер (нянечки то и дело моют полы). Профессора сопровождает белохалатная свита. Он первый входит в дверь, за ним — Зинаида Пет-

ровна, а потом уже скромной тесной кучкой появляются остальные врачи. Ребята поедают глазами профессора. Они знают: от его слова зависит их судьба. Но понимают они также, что не сейчас, не в их присутствии будут приниматься решения. Профессор выслушивает, что ему говорят о каждом, иногда что-то спросит, покивает головой. В своих высказываниях он сдержан. Не поймешь, к чему клонит. Но спросить никто из ребят не решается. Спрашивать будут потом у своего врача — Валентина Ивановича.

Только закончится обход — начинается лечение. Этого часа и ждут с нетерпением и боятся. Вместе с болью он приносит и надежду: все будет хорошо, а пока нужно потерпеть — что поделаешь! Одним делают уколы, других на каталках везут в перевязочную, у третьих лечебная физкультура: сестра говорит им, какое нужно делать упражнение, и они начинают потихоньку шевелить руками и ногами. Движения у всех получаются слабыми и неуверенными. Но сестра подбадривает. «Веселей, красавчики, — говорит она. — А ну-ка еще. Раз, два, три...» За то, что она зовет всех «красавчиками», ее прозвали «красавочкой». Ребята ее любят. Она всегда живая и энергичная. И в каждого тоже вливается немного ее подвижности, ее бодрости. Сердце начинает колотиться чаще, кровь становится горячее, и вспоминаешь, как бегал с футбольным мячом, как взлетал без остановки с первого этажа на пятый.

Сережке до физкультуры еще далеко. Ему делают уколы. Сестра откидывает край одеяла, растирает ваткой плечо и раз — молниеносным движением вгоняет иглу. Раньше Сережка боялся уколов, а теперь привык. Лучше всех колет совсем молоденькая сестра Наташа. При ней ребята шутят: «Ой, ой, Наташа, насквозь проколола». — «А игла-то какая толстая!» — заметит кто-нибудь. И еще кто-то добавит: «И ржавая». — «Сам ты ржавый», — ответит Наташа. Все довольны. Уколы проходят быстро и незаметно.

Зато, когда колет сестра Мария Семеновна, все молчат, ждут своего черед, а наступил он — лишь ойкают и охают. До чего же больно колет Мария Семеновна! «Это потому, что у нее пальцы толстые», — совет Колька. «И кривые», — скажет Шалва. «И глаза разные», — вставит еще один остряк. Если ребята вовремя не остановятся, то бедная Мария Семеновна превращается в Бабу Ягу.

Ходячие сами идут на процедуры. Гарик отправляется в электрокабинет, а Диков, перекинув через плечо полотенце, уходит на ванны.

После перевязок, уколов и прочих процедур ребята учатся. Из «девятки» двоих отвозят в седьмую палату: там подобрались ученики пятого класса. Свободнее в «девятке» не становится: едва уехали двое, как взамен везут девочек-семиклассниц — Катю Беловежкину и Лиду Евдокимову. Катя всем нравится: у нее черные, коротко подстриженные курчавые волосы, рот до ушей и большие глаза. Когда улыбается, похожа на негртенка. А улыбается она все время. И смеется все время, звонко так смеется. Учится она не блестяще. Зато Лида получает одни пятерки. Но та все больше молчит. Сережка пока не может понять, то ли она скромница, то ли задается. Волосы у нее светлые, лицо круглое, будто циркулем сделали оборот. Когда Лиду везут, слышно издалека: колеса на ее кровати скрипят и стонут. «Евдокимова, — говорит Шалва, — послушай. Смажешь ты наконец колеса на своей телеге?» Лида делает испуганные глаза и спрашивает: «А чем?» — «Компотом», — советует Колька. «Зачем компотом, — сердится Шалва, — маслом можно». «Масло она сама съест», — вмешивается кто-то из ребят. Появляется учитель, все замолкают. Один урок, второй, третий... Учителя спрашивают, рассказывают, задают. В общем все как в обычной школе. Только ученики лежат, да нет звонков, да не убежишь домой с последнего урока.

Сережка стал учиться получше, даже алгебру подогнал. Может, потому, что нет теперь у него тренировок в фехтовальной секции, а может, и потому, что здесь все хорошо учатся, да учителя потерпеливее, больше с ними возятся.

Кончаются занятия, «чужаков» развозят по своим местам, и снова стучат в палатах ложки: обед. От завтрака он отличается тем, что не надо спешить. Уже не будет ни обходов, ни учителей, ни процедур. Уколы, правда, еще будут делать. Но это потом, к вечеру.

Отстучали ложки, и вползла в палаты тишина. Наступил час отдыха. Спать после обеда, по мнению ребят, никому не нужно: пустое занятие. Но дежурная сестра несколько раз заходит в палату, проверяет, все ли спят. Кажется, спят все. Только сестра ушла — появились из-под одеяла книги и журналы. Кое-кто, правда, спит, но таких раз-два и обчелся. У Сережки тоже книга —

«Записки Пиквикского клуба». Жаль, что осталось прочитать лишь две последние страницы. Он быстро проглотил их и спрятал книгу в тумбочку. Закрыв глаза. Уснул.

До ужина в палатах делают уроки. Приходят воспитатели, смотрят, как кто занимается. Помогают, если что-то не получается, растолковывают. Кто быстро все сделает, того могут увести смотреть телевизор — он стоит в зале. Но больше «на телевизор» возят после ужина, да и то не всех: зал небольшой, а желающих много, поэтому соблюдается очередь. У ходячих и здесь привилегия: взял стул, поставил где-нибудь в уголочке и сиди себе посматривай.

Часы после ужина — самые вольготные. Приходят гости из других палат. Они предлагают сразиться в шашки или в шахматы, а то просто подсаживаются к кровати поболтать. В палате весело: гремят транзисторы (их в «девятке» четыре), идет переключка: «А — шесть». — «Мимо». «Ж — четыре». — «Мимо». «Б — восемь». — «Попал»... Это «морской бой». Игра пустьенькая, но когда делать нечего, можно и в нее сыграть. Володька Диков принесет из «воспитательной части» гармонь да как грянет — перепонки в ушах лопаются. И никто не просит его, чтоб играл потише. В-первых, он человек своевольный, как захочет, так и делает, во-вторых, по-другому он играть не умеет. В-третьих, всем нравится, как наяривает диковская гармонь.

Когда Сережка ехал в больницу, думал, что «помрет» с тоски: все лежит смиренненько и печально, повсюду целыми днями тишина и покой. Одним словом, как говорится, «не слышно шума городского». А здесь вон оно как! Почище, чем на переменке в школе.

Бывает, правда, что после ужина в палате тихо — если зайдет воспитатель и будет читать вслух книгу. Но это случается редко.

Проходит какое-то время, и няня вносит в палату кружки с кефиром или молоком. Это значит, что скоро укладываться. Сестра погасит свет, но ребята не могут сразу уgomониться. Они еще долго будут переговариваться, включать потихоньку транзистор, хрустеть яблоками или вафлями. Несколько раз влетит в палату сестра, она примется стыдить, браниться и даже угрожать (например: «В кино ваша палата не поедет, Вам и так весело»).

Наконец становится совсем тихо. Кое-кто начинает посапывать. Кто-то, уснув, вскрикивает. И опять тихо. А Сережке снова не спится. Наверное, потому, что спал днем.

Он смотрит на неясные тени на потолке, смотрит на фонарь за окном, на силуэты трех сосен, и делается ему грустно. Сколько ему еще смотреть на все это? Вот прошел и сегодняшний день (вернее, прополз). День как день. А сколько их будет еще, таких же больничных дней, серых и однообразных?

Нет, не нужно думать об этом. Лучше вспоминать о другой жизни.

О какой?.. Ну хотя бы о школьной. Только не про алгебру. А про Женьку Проегоркина годится?..

И стал Сережка вспоминать о всяких чудных и эдаких-разедаких случаях.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой много рассказывается о Женьке Проегоркине

Есть же такие люди, от которых не знаешь, как отделаться. И вроде бы неплохие они сами по себе, и никакого зла против тебя не имеют, но свяжешься с ними, и все как-то получается шиворот-навыворот, кувырк-ом. К их числу и принадлежал Женька Проегоркин.

Он стал учиться с Сережкой с пятого класса. В ту пору весь класс болел «обменной лихорадкой»: каждый хотел что-нибудь на что-нибудь обменять.

Сережка вспомнил, как однажды утром еще до уроков подошел к нему Женька и сказал:

— Давай меняться? — И сунул руку в карман.

Он ничего оттуда не вынул, а лишь выжидающе смотрел.

— Давай, — ответил Сережка и тоже сунул руку в карман.

— У тебя что? — спросил Женька, насторожившись.

— А у тебя?..

— Вот, — Женька повертел перед Сережкиным носом большой старинный пятак. — Екатерининский!.. Видал!

— Видал. — Сережка стал мучительно думать, что бы предложить Проегоркину. — Во! — сказал он и достал зажигалку.

— Работает? — спросил Проегоркин.
— Вчера работала, — соврал Сережка.
— Понятно, — махнул рукой Женька Проегоркин и хотел уже было уйти.

— Можно починить. Пара пустяков починить.
Проегоркин переминался с ноги на ногу. А Сережка все смотрел на старинный пятак. Наконец решился:

— В придачу дам... это... ну-у...
— Что? — не выдержал Проегоркин.
— Мотоциклетную лампочку.
— На что она мне?!

Сережка подумал.

— Пригодится. Мотоцикл, может, когда купишь.

Они сменялись.

Весь урок Сережка рассматривал пятак, а Проегоркин чинил зажигалку.

На перемене Сережка подозвал Проегоркина и повел его в самый дальний угол коридора.

— Смотри, — сказал он. — Музейная редкость. — И вынул из кармана лорнет.

Одно стекло в нем было разбито, но на ручке кое-где еще блестела позолота.

Сережка приставил лорнет к глазам, словно какой-нибудь там граф или барон, и гордо посмотрел на Проегоркина.

— Ух ты! — произнес Проегоркин.

В общем, за лорнет Сережка Овсянников получил губную гармошку и в придачу шприц без иглы.

На гармошке можно было играть только «Чижика-пыжика» и то, если дуть со страшной силой. Но зато шприц работал отлично: струйка воды была через три парты.

А Женька Проегоркин приставлял к глазам лорнет, зло кривил рот и каждому говорил: «Я вызываю вас на дуэль, сударь!..» Все смеялись.

На следующей перемене у Сережки заболели щеки. «Что от гармошки толку? — подумал он. — «Чижики-пыжик», и все... А зажигалка? Ее можно починить. Еще как можно!» Он подозвал Проегоркина.

— Давай меняться на зажигалку?

— Давай, — не раздумывая, сказал Женька. — Что у тебя?

— Гармонь, — сказал Сережка и сыграл «Чижика».

Проегоркин осмотрел со всех сторон гармошку, словно незнакомую ему вещь.

— А что в придачу?

Сережка порылся в карманах и протянул ему екатерининский пятак.

К шестому уроку «Я вызываю вас на дуэль!» всем надоело. Никто из «сударей» не смеялся. Не смеялись даже и «сударыни». Проегоркин отозвал Сережку в коридор.

— Меняемся? — И протянул лорнет.

Сережка подумал: «Стоит ли?» Но Проегоркин достал мотоциклетную лампочку и сказал:

— А это в придачу.

Тогда Сережка подумал, что когда-нибудь купит мотоцикл, и отдал ему шприц.

Расходились они, подозрительно поглядывая друг на друга.

* * *

А был и такой случай. Произошло это вскоре после того, как Женька переселился в Сережкин дом.

...Иван Иванович вошел в класс и сказал:

— Здрастесадитесь.

Он всегда произносил это в одно слово.

Все сели.

— Сегодня у нас контрольный рисунок. Принесли кисточки и краски? — Он оглядел притихших ребят и начал объяснять задание: — Каждый будет рисовать свой дом.

— С натуры? — обрадовался кто-то.

— По памяти, — отрезал Иван Иванович. — Кто закончит до звонка, пусть сдаст работу и уходит... Ну принимайтесь. — Он сел за стол и раскрыл перед собой книгу.

Урок был последним. Все оживленно взялись за дело, забулькала в стаканах вода, забегали по бумаге кисточки.

И лишь Сережка с Проегоркиным все поглядывали друг на друга и никак не могли начать.

Наконец Сережка не выдержал и спросил:

— Иван Иванович, а нам с Проегоркиным тоже дом рисовать?

Иван Иванович оторвался от книги.

— А как же? — удивился он.

— Так мы с ним в одном доме живем.

— А-а-а, ну тогда... тогда... что же мне с вами де-

лать? О! Рисуйте свой дом — посмотрим, у кого лучше зрительная память. Только не смотрите друг к другу. — И он снова уткнулся в книжку.

Женька сидел впереди Сережки через парту. Заглядывать друг к другу они не могли.

Когда урок подходил к концу и многие уже сдали свои рисунки, Женька обернулся и громко зашептал:

— Ну как, кончил?

— Ага, — сказал Сережка.

— И я тоже... Покажи.

— Да ну тебя...

Сережка не хотел показывать. Если б Женька задачку списать просил или английский — пожалуйста, не жаль. Но тут дело другое. Иван Иванович так ведь и сказал — посмотрим, у кого память лучше.

— Ну покажи... Что ты?

— Отстань...

Но Женька Проегоркин — просто невозможный человек. Как пристанет, так не отвяжется. Вот и теперь все уши прожужжал; покажи да покажи.

— Ладно, — сказал Сережка, — покажу. Только ты первый показывай.

— Ага! — усмехнулся Женька. — Какой умник нашелся!

— Не хочешь — не надо. — И Сережка приподнялся, чтобы отнести рисунок Ивану Ивановичу, но Женька придумал, как быть.

— Давай, — сказал он, — отдадим наши рисунки Генке, он передаст тебе мой, а мне твой. Все по-честному. А?

Так и сделали.

И вот Сережка глядел на Женькин лист. Неплохо нарисовано. Все правильно. Их дом, ничего не скажешь. Даже отвалившуюся штукатурку на одном углу не забыл.

— Ну как? — спрашивает Женька.

— Молодец!

— И ты молодец. Только вот эта труба у тебя короткая получилась. — И раз-раз подправил на Сережкином рисунке трубу.

— Ты что же такую длинную нарисовал? — рассердился Сережка.

— Сейчас покороче сделаем. — Поболтал Женька в воде кисточку и принялся смывать трубу сверху.

Получилась какая-то мазня.

Серезка еле на месте усидел.

— Что наделал? — чуть не заплакал он с досады.

А Женька успокаивает.

— Пусть, — говорит, — это будет дым.

— Где ты такой дым видел? — спрашивает Серезка. — Одна грязь.

Женька и сам испугался.

— Исправим, — сказал он, помакал кисточку в черной краске и такой тут дым нарисовал, будто вулкан Везувий извергается.

Все сдали давно свои рисунки и ушли.

Иван Иванович по-прежнему поедал глазами книгу и не обращал на оставшихся никакого внимания. А у Серезки от злости даже голос пропал. Глядел он, как Женька старается над его дымом, и ничего сказать не мог.

— Значит, так! — выдавил наконец Серезка.

— Ага, — ответил Женька. — Отличный дым.

— Дым? — переспросил Серезка зловеще.

— Ага, дым.

— Ну погоди, я тебе пожар устрою.

Серезка схватил кисть, и тут из всех окон Женькиного дома вырвался огонь.

— Ах, так! — зашипел Женька, и Серезкин дом сразу же покрылся черными кляксами.

Тогда Серезка ткнул кисточкой в какую-то краску, и по Женькиному листу поползла зеленая плесень с красными разводами.

Что последовало за этим, оба не видели. Они «работали» иступленно и уже не смотрели друг за другом.

Прозвенел звонок. Оторвался от книги Иван Иванович. Очнулись и Серезка с Проегоркиным.

— Ну как, — спросил Иван Иванович, — закончили? Давайте рисунки.

Серезка и Проегоркин молча сидели на своих местах.

— Больше ждать не могу, — сказал Иван Иванович и вышел из-за стола.

Он подошел к Женьке. Взял лист, повертел с разных сторон, спросил:

— Это что?

— Дом, — вздохнул Женька.

Иван Иванович приблизился к Серезке, покачал головой.

— Тоже дом? — спросил.

— Дом, — печально согласился Овсянников.

Иван Иванович стоял и все покачивал головой. Потом он вдруг словно взорвался — подбежал к столу, распахнул журнал и тут же вlepил обоим по двойке.

* * *

А еще вспомнил Сережка, как однажды на уроке географии Генке Горовому села на затылок муха.

Ну села, так уж сиди себе спокойно, никому не мешай. А муха, как назло, принялась вертеть передними лапками свою голову. Повертит, потом перестанет, словно задумается, потом опять повертит.

В общем вела она себя нагло. Сережке даже обидно сделалось, Софья Андреевна про животный мир Африки рассказывает, а тут какая-то муха вертит и вертит себе башку.

Сережке, конечно, было наплевать на эту муху. Он бы на нее и внимания не обратил, но Генку было жаль: чего она на него села? А он, бедняга, даже не подозревает ничего.

Тогда Сережка не вытерпел, взял и махнул рукой. Генка как раз в это время головой двинул. Ну ему и досталось слегка по затылку.

— Овсянников! — строго сказала Софья Андреевна. — Что с тобой?

— Муха...

— При чем здесь муха?.. Я про слонов рассказываю... Не узнаю тебя, Овсянников.

На перемене к Сережке подошел Проегоркин — его недавно выбрали классным старостой.

Он сказал:

— Слушай, что это ты?

— Что? — спросил Сережка.

— Дисциплину расшатываешь, — и, как Софья Андреевна, добавил: — Не узнаю тебя, Овсянников.

— Ничего я не расшатываю вовсе, — рассердился Сережка. — Это все из-за мухи получилось.

— Из-за какой мухи?

— Обыкновенной... Которые летают.

— Ты мне басни не рассказывай, — тоже рассердился Проегоркин. — За что Горового ударил?

Пришлось объяснять все подробно.

Женька вздохнул.

— Все равно, — сказал он, — нужно тебя проработать.

— Зачем?

— Чтоб учился лучше. Двойки есть?

— Нету. Была одна — исправил.

— А по дисциплине что? — с надеждой спросил Женька.

— Пятерка.

Проегоркин опять вздохнул.

— Эх, — сказал он сокрушенно, — какой случай пропадает!

— Какой?

— Завтра собрание... понимаешь?

— Ну и что?

— Что, что! — передразнил Женька. — Непонятливый ты какой-то. О дисциплине бы поговорили, тебя бы пропесочили...

— Да зачем же?

Женька досадливо махнул рукой.

— Ну как тебе объяснить? С дисциплиной-то у нас что?

— Что?

— Сам знаешь... Безвыходное положение. У всех пятерки.

— Вот и хорошо, — сказал Сережка. — Какое же безвыходное?

— Кому хорошо, а кому плохо. Отчет-то мне делать придется.

— Какой отчет?

— О моей работе. А в плане, между прочим, и про дисциплину было. Только какая тут работа, если у всех по дисциплине пятерки?.. Кого подтягивать?.. Вот ты мне скажи.

Проегоркину можно было лишь посочувствовать, и Сережка неуверенно протянул:

— Да-а-а...

— Вот видишь, — оживился Женька. — А то было бы видно, что мы тебя перевоспитываем, над твоей сознательностью работаем. — И он вдруг попросил: — Овсянников, будь другом, а?.. Ну, что тебе стоит? Пропесочим мы тебя, поговорим. Все равно ведь все знают, что ты не такой. Ведь для отчета, а?

Сережка согласился. Раз для отчета, для общей пользы — пусть проработают.

А на собрании Женька начал его «песочить».

Про муху он не сказал ни слова. Зато оказалось, что Сережка стукнул несколько раз Горового по уху и что Софья Андреевна даже не смогла закончить рассказ про африканских слонов. И еще Женька сказал, что с таким возмутительным поступком мириться нельзя, а нужно бороться всем здоровым коллективом и поскорее смыть это позорное пятно.

После уроков он подошел к Сережке и сказал:

— Здорово я тебя?

— Здорово, — признался Сережка. Ему это все не очень-то нравилось, но что делать... Нужно было выручить коллектив.

Однако «позорное пятно» Женька не торопился смыть.

Вскоре в стенной газете появилась на Сережку карикатура. К Генкиному носу он поднес кулак, а другой рукой вцепился ему в шевелюру. Кулак был огромный. На Сережкином лице застыло зверское выражение. Из носа Горового капала кровь.

Сережка разыскал Женьку.

— Послушай, разве так можно? Нарисовал черт знает что...

— Погоди, — не дал договорить Женька. — Некогда тут с тобой пустяковой болтовней заниматься. Мне еще выступление нужно готовить. Послезавтра слушай по радио на большой перемене...

Из передачи по школьному радио Сережка узнал, что прямо на уроке географии он избил Генку. Оказывается, Овсянникова — злостного прогульщика и постоянного нарушителя дисциплины — дружно перевоспитывает весь класс.

После Женькиного выступления, которое называлось «Крепкую дисциплину — в каждый отряд», зазвучал вальс Штрауса «Голубой Дунай». Но это Сережку не успокоило.

Он бросился к радиоузелу. Женька вышел сияющий.

— Да как ты смеешь! — схватил его Сережка за плечи.

Проегоркин ничего не слышал. Он продолжал сиять.

Сережка бродил по коридору всю перемену и мрачно наблюдал, как от него все шарахались в разные стороны.

Когда начался следующий урок, он обнаружил, что сидит за партой один. Рита Кайгунова не пожелала с ним сидеть.

— Я все понимаю, конечно, — сказала она, — но ты уж посиди пока один. Ладно?..

Как-то раз в школу пришли гости — ребята-интернаты.

Женька Проегоркин знакомил их со всеми, а про Сережку сказал:

— Это наш лодырь, драчун и двоечник, одним словом, хулиган.

— Кто? — удивились гости.

— Хулиган, — с хладнокровием дрессировщика ответил Женька. — Мы его перевоспитываем. Трудная, между прочим, и ответственная работа.

Сережка схватил с доски мел, подскочил к Женьке и в один миг нарисовал ему длинные белые усы.

— Ты что? — оторопело произнес Проегоркин.

— Я хулиган, — сказал Сережка и дерзко улыбнулся.

— Брось эти штучки. Не остроумно, — проговорил Проегоркин и стал стирать усы.

Тогда Сережка быстро подправил их и вlepил Женьке звонкий щелчок.

— Я хулиган.

Прегоркин попятился.

— Я хулиган, — сказал вновь Сережка и дернул его за нос.

Прегоркин бросился бежать.

Сережка швырнул в него мелом и крикнул вдогонку:

— Я хулиган!

Больше Сережку не перевоспитывали, не прорабатывали и не «песочили». А Женька вскоре из старост пошел. Не «задерживался» он на одном месте. Даже в другую школу перешел — в соседнюю.

А Риту вскоре выбрали звеньевой. «Не у бывшего ли старосты переняла она такие замашки? — размышлял Овсянников. — Ладно, отучим как-нибудь...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

о том, как пили кофе во время войны

Как-то вечером в девятую палату вошел Валентин Иванович.

— Соревнование? — спросил он, прикрывая уши. — Кто кого перешумит?

Ребята приглушили транзисторы. Увидеть своего лечащего они не ожидали в такое время. Врачи обычно работают до трех, а если кто из них дежурит, то сидит в кабинете, где есть телефон, чтобы в случае чего можно было связаться с любым отделением.

Валентин Иванович был дежурным в тот день и заходить в девятую после ужина не собирался. Он сидел в кабинете, просматривал последние рентгеновские снимки своих больных. На черно-белой пленке он видел контуры, тени, линии, очертания. А в памяти тут же появлялись ребячьи лица и глаза — внимательные, настороженные, реже обрадованные. Да, не так часто, как хотелось бы, случается радовать врачу больных. Ну вот хотя бы Шалва Бадурашвили. Трудный случай. Восстановительный процесс идет медленно.

Доктор отложил снимок, машинально побарабанил по столу. Возникшее перед взором бледное, с тонкими чертами лицо не пропадало. В черных глазах безразличие. Это очень плохо. Таким Валентин Иванович увидел сегодня Шалву утром на обходе. Но ведь в самом деле сколько можно слышать от врачей: держись, мол, ты мужчина, не вешай носа, все будет хорошо. Для больных время движется во много раз медленнее. Где мальчишке набраться терпения? И не навешает его никто. У других родственники живут поблизости, часто приезжают. А до маленького грузинского селения далеко. Нет, все же нужно написать родным Шалвы. Пусть найдут возможность приехать. И в девятую, пожалуй, нужно сейчас сходить. Хотя бы в шахматы сыграть с Шалвой. Играет ли он? Ладно, там разберемся.

Валентин Иванович вызвал сестру.

— Наташа, посиди здесь вместо меня. Вот тебе «Юность», почитай. Если понадобится — я в дежурной.

Он вошел в палату и сразу сел к Шалве, улыбаясь:

— Как себя чувствуешь?

— Нормально.

— В шахматы играешь?

— Угу. — А глаза все те же безразличные.

Как тяжело глядеть в такие глаза и какое счастье испытываешь, когда видишь — пробудилась в них жизнь, появился блеск, зажглась надежда. Валентин

Иванович около двадцати лет проработал в этой больнице, посмотрелся всякого.

— Сгоняем партию, — предложил Валентин Иванович, — только долго не думать.

— Не хочется, — проговорил Шалва.

— Да ты что?! — притворился изумленным Валентин Иванович. — Или ужин был плохой, каши мало съел?

— Ужин нормальный, — равнодушно отозвался Шалва.

Зато другие «девяткинцы» подхватили шутливый настрой.

— Все было вкусно, Валентин Иванович, — сказал Колька, — да у меня ложка с дыркой попалась, я бы больше съел.

— А у меня сахар был соленый, — поддержал Сережка.

Диков тоже решил не отставать, сказал:

— А у меня кофе горькое.

— Про кофе нужно говорить — горький, — поправил Валентин Иванович. — Кстати, если кофе немножко горчит, значит, он хорошего качества.

— Валентин Иванович, кофе же — «оно», а вы говорите — «он», — не сдавался Диков.

— Нет, Володя, ты уж поверь. И вообще по части кофе не спорь со мной. — Валентин Иванович помахал рукой. — Я ведь специалист. Во дворе у нас во время войны такой кофе варили!

— А после войны? — спросил Сережка.

— После войны?.. Уже не то было. Жизнь другая пошла — получше. — И видя, что его не поняли, Валентин Иванович вдруг оглядел всех, опять улыбнулся и спросил: — Хотите расскажу немного о своем детстве?.. Только начну не с тех далеких времен, а с позавчерашнего вечера, когда я был в театре.

* * *

Во время антракта я обратил там внимание на женщину средних лет. Вернее, я смотрел на ее тонкие пальцы, которыми она держала чашечку кофе. Один из них — мизинец — был как бы откинут в сторону...

Я вспомнил девочку времен своего детства. Звали ее Зойкой. Она, вот так же отогнув мизинец, держала игрушечную чашку. Мне казалось это смешным — буд-

то боится обжечься, а в чашке-то была просто вода из крана, что находился возле нашего подъезда и к которому дворник Борзов обычно прилаживал длинную черную кишку, когда собирался поливать улицу. Точнее сказать, в чашке была не чистая вода, а какая-то жижа, приправленная песком, взятым из противопожарного ящика, стоявшего тут же у дверей подъезда.

Я не играл с Зойкой, потому что был старше ее на два или три года, а игру в дочки-матери с приготовлением «еды», мытьем посуды, стиркой и укладыванием спать считал самой глупой игрой на свете. Но я жил на втором этаже, и наши окна, выходящие во двор, располагались как раз над тем местом, где играли девчонки в свои дурацкие игры. Если делать было нечего, я любил валяться на широком подоконнике и смотреть, что происходит во дворе. Иногда я так ожидал появления своих приятелей — Васьки-Огольца, Жирного или Чепы, и когда они выходили, я срывался со своего излюбленного места и бежал к ним.

Мне не очень-то нравилось, что девчонки устраивались на скамейке как раз под моим окном. Их однообразные, тихие игры с мелкими ссорами и обидами действовали мне на нервы, и я, конечно, разогнал бы «дочек» и «матерей», если бы рядом с ними не сидела длинная костлявая старуха с клюкой и с неизменным черным платком на спине — бабушка той самой Зойки.

— Бабка Ёжка! — выкрикнул я из окна, готовый в любой момент спрятаться за занавеску.

Но старуха или не слышала, или не обращала внимания, и мои выкрики, так и не пробив ее обычного дремотного состояния, рикошетом задевали девчонок. Они поднимали головы, и в их глазах я читал то обиду, то испуг, то благородную ярость. Я был доволен, я нагло улыбался. Однажды моя наглость достигла предела: я наполнил водой клизму и, перегнувшись через подоконник, ударил по скамейке тугой струей. Какая же суматоха тут поднялась! И девчоночий писк, и плач, и суета ничего не понимающей спросонок старухи. Вначале она хотела запахнуть всех под свой большущий черный платок.

— Господи! — причитала она. — Скорей сюда, милые... Зоенька!..

К моему неопишуемому ликованию, ей, видимо, показалось, что началась бомбежка. Как же я хохотал... Зато и досталось мне потом от матери! Словом, спра-

ведливость восторжествовала, ежедневные игры в дочки-матери продолжались, и мне не оставалось ничего иного, как терпеть их.

Теперь вы понимаете, почему, не играя с той девчонкой, я до мельчайших подробностей знал, как она держит чашку, что она «пьет» из этой чашки и как крепко был приготовлен ее «кофе».

Все мы жили в ту пору бедно, а Зойка — особенно. У всех у нас отцы были на фронте, а у Зойки отец пропал без вести, и никакого пособия за него не платили. Старуха тоже не получала пенсии, а мать была на низкооплачиваемой работе. Как они тогда крутились — трудно представить. Но как-то выкручивались. И даже кошку держали по имени Маркиза. «Маркиз... Маркиз... Маркиз...» — несло, бывало, по двору: Зойка зазывала домой кошку.

Зойкино лицо всегда было бледным, словно разбавленное молоко, приносимое в наш подъезд молочницей тетей Дусей по тридцать пять рублей за кружку. Ровно лежала эта бледность на девчоночьем остроносеньком лице — ни веснушек, ни родимого пятнышка. Точь-в-точь как в тетя Дусином молоке ни одной жиринки. Когда я глядел на Зойкины косицы — два крысиных хвостика, у меня возникало желание дернуть за них, но я себя сдерживал: стоит ли с писклей связываться? Она и в школу-то еще не ходила, лишь в сентябре должна была отправиться в первый класс, я же в тот год перешел в третий.

Как бы там ни было, но мне так и хотелось чем-нибудь задеть ее, унижить, причинить ей зло. Я не выносил ее писклявого голоса, целыми днями зудящего под моим окном.

И вот как-то раз, спускаясь по лестнице, я застал ее на обшарпанном, изрезанном перочинными ножами подоконнике, что был на площадке между первым этажом и вторым, — она сидела и раскладывала какие-то цветные бумажки (кажется, это были фантики от конфет — тогда многие у нас во дворе собирали фантики). Она вынимала их из папиросной коробки, разглаживала на тощих коленях ладонью и размещала веерообразными рядами.

— Так, — сказал я и схватил коробку с несущимся на коне черным всадником. — Было ваше, стало наше. Она заморгала ресницами, лицо ее порозовело.

— Отдай, — проговорила она дрогнувшим голосом.

Я отвел коробку со всадником за спину, словно она могла ее вырвать, а другой рукой взял в кулак один из «крысиных хвостиков».

— Три раза дерну, тогда отдам. Согласна?

Я упивался своей властью. Я мог дернуть и не отдавать. Хотя зачем все это нужно было, не знаю. Ведь только что я зачитывался книжкой о благородном капитане Немо — и вдруг такой жалкий пустой разбой в подъезде.

— Ну как, согласна? — повторил я.

— Если... если не сильно.

Я ожидал всего, только не этого. Пальцы мои выпустили жиденькую косицу. Я швырнул коробку из-под папирос на подоконник и побежал дальше. Я не чувствовал ни победы, ни удовлетворения. По моим предположениям она должна была или разразиться плачем, или дернуться. Тогда бы я крикнул: «Эгей!» — и подкинул бы коробку вверх, и посыпались бы разноцветные фантики, и это, может, немножко походило бы на салют, которым Москва в то лето начала отмечать победы нашей армии. Но сейчас, после ее робких и жалких слов «...если не сильно», странную неловкость испытывал я. Будто не я, а меня унизили. Но отчего овладело мной такое чувство? Да и кто же мог меня унижить — я не понимал. Не Зойка же?.. Тогда кто?

Поравнявшись с окнами Розальи Ефимовны, старой еврейки, жившей в одной из угловых комнат нашего дома, я остановился, чтобы перевести дух. Розалья Ефимовна, седая и сутулая, с всегда красноватыми, выцветшими глазами, когда-то была музыкантшей и жила в Ленинграде, но перед самой войной приехала в Москву к сыну, да так здесь и осталась. Сын ее был убит на фронте в сорок первом под Волоколамском, а в блокадном Ленинграде погибли дочь и внучка.

Старая, придавленная горем женщина была человеком совершенно безобидным, но я, Васька-Оголец и Жирный («чертова шпана», как обзывал нас дворник Борзов) любили ее разыгрывать.

Шутки наши были крайне однообразными и примитивными.

— Розалья Ефимовна! — кричал кто-нибудь из нас. Старуха открывала окно, выглядывала:

— Слюшаю.

Она всегда так говорила: «слюшаю», и уже одно лишь это нас веселило.

— Пожар! — И мы задирали головы, как бы рассматривали что-то на крыше.

— Я сейчас... я быстро.

Розалья Ефимовна скрывалась, чтобы через несколько минут появиться с маленьким саквояжем в руках. Оказавшись рядом люди успокаивали ее, говорили, что никакого пожара нет.

— Значит, потушили, — кивала она головой, — теперь можно возвращаться.

Она не могла представить, что таким страшным словом мы позволяем себе играть. Но в конце концов и на нее перестало действовать это слово. Может быть, так случилось из-за того, что под ее окном появлялись одни и те же мальчишки? И тогда мы подучили Зойку за пять фантиков разыграть старуху-музыкантшу.

— Розалья Ефимовна, — пропищала она неуверенно под ее окном, сжимая в руке фантики.

— Слюшаю.

И вдруг Розалья Ефимовна всплеснула руками, как-то тихо ахнула, и счастливейшая улыбка озарила ее серое сморщенное лицо. Мы даже глазам своим не верили.

— Ада... — произнесла старуха, — внученька.

Зойка, растерявшись, стояла молча и все сжимала свои дрянные фантики.

— Пожар!.. — подсказывали мы ей. — Пожар...

Но Зойка будто оглохла.

— Ада, — протягивала руки музыкантша. — Иди же ко мне, маленькая.

Васька-Оголец не выдержал, выскочил из укрытия и закричал:

— Пожар, Розалья Ефимовна...

Музыкантша не замечала Ваську.

— Адочка... — все еще улыбалась она.

— Да вы что! — бесновался Оголец. — Служайте меня, Розалья Ефимовна. Вам говорят — пожар!

— Адочка...

— А меня зовут Зоя, — проговорила наконец девчонка.

— Зоя?.. — И улыбка погасла. И опять лицо Розальи Ефимовны стало прежним. Даже нет, оно сделалось еще более тусклым, еще более некрасивым.

Все же она затащила к себе Зойку, и девчонка через какое-то время вышла от нее с картонной коробкой, перехваченной крест-накрест тесьмой.

— Не фига себел — произнес Васька-Оголец.

И мы окружили Зойку.

— А ну-ка! — проговорил я, и коробка оказалась в моих руках.

Зойка заголосила, но мы, не обращая на нее внимания, разглядывали коробку.

«Детский кофейный сервиз» — было написано на коробке большими буквами. И маленькими — «на четыре персоны».

Музыкантша, видимо, еще перед войной купила этот сервиз для внушек, а Зойка чем-то напомнила ей одну из них.

— Отдавайте... а-а-а... — вопила Зойка на всю улицу.

— Мальчики, отдайте сейчас же... — высунулась из окна Розалья Ефимовна.

Сервиз был нам не нужен.

— На, — сказал я, — держи свою коробку. Персона!..

С тех пор-то Зойка и стала выносить для игры в дочки-матери четыре чашечки и угощать подружек «кофе». Первой персоной была, разумеется, сама Зойка, второй — непреременная участница всех игр, проводимых на скамейке, Нинастая — так звали длинноногую девчонку из второго подъезда. В качестве третьей персоны обычно приглашалась Верка-Ябеда. Четвертая же персона за «столом» не сидела, а лежала на коленях у Зойки. Этой персоной была кошка Маркиза.

Если сказать точнее, во время «кофепития» шла игра не в дочки-матери, а в гости. И разговоры велись тут уж взрослые. Называли все друг друга на «вы».

— Дорогие гости, — пищала хозяйка «дома». — Я вас буду угощать кофем.

— Спасибо, — фальшивым голосом отвечала Нинастая. — Мы дома наелись.

— Да, — подтверждала Верка-Ябеда, — нам уже совсем не хочется есть.

Персона № 4 скромно молчала. Глаза у нее были закрыты.

— Хотя бы по одной чашечке, — настаивала хозяйка. — Только сахар у меня кончился, даже не знаю, как быть.

По одной чашке гости выпить соглашались, и хозяйка наливала им «кофе» из зеленой бутылки.

— А у нас, — начинала светский разговор Нинас-

тая, — сегодня давали в магазине сахар. Но я дома забыла карточки.

— Как же так, Нина Ивановна? Нужно было занять очередь и вернуться, — советовала хозяйка.

— А номер написать химическим карандашом на руке, чтобы не стерся, — поддерживала ее Верка-Ябеда.

— Да! Умные вы какие! — не соглашалась Нинастая. — Там была «живая» очередь, а не «мертвая».

— Зоя Петровна, я принесла с собой сахар, — говорила Верка-Ябеда. — У нас отоваривали сахаром вместо мяса. Куда высыпать куски?

— Вот в эту вазочку, пожалуйста. — Хозяйка подставляла ей банку из-под американской тушенки, и Верка высыпала туда из принесенного кулька камушки.

«Сахар» гремел о дно банки. Персона № 4 вздрагивала, широко раскрывала глаза и настороженно смотрела, приготовившись дать стрекача.

За чашечкой кофе светский разговор продолжался.

— А знаете, — говорила хозяйка, — у нас есть кошка.

— Интересно, — отзывалась все тем же фальшивым голосом Нинастая. — А вы не врете?

— Не вру. Только она сейчас ушла гулять.

— Очень интересно, — вторила Нинастой другая гостья. — Как же ее зовут?

— Зовут ее Маркиза.

Персона № 4 приоткрывала один глаз.

— А почему вы ее так называли?

— Потому что в старину так звали красивых женщин, — поясняла хозяйка и поворачивалась к старухе в платке: — Правда, бабушка?

Бабка Ёжка не хотела отвечать. Она дремала. Может быть, она видела во сне старину.

— Вовсе нет, — возражала хозяйке Нинастая. — Красивых женщин звали мадами.

Верка-Ябеда всегда старалась показать, что она знает больше всех. Она добавляла:

— А самую красивую звали мадам Тюлюлю.

Каково было мне, сидя на подоконнике, слушать подобную чепуху. А девчонки еще пуще разошлись. Они придумали игру в «мадам Тюлюлю». Каждая из них по очереди становилась знаменитой «мамадой», а другие в это время расчесывали ей волосы, вплетали ленты, пудрили мелом лицо, делали маникюр (чернильным карандашом).

Нужно было пресечь такое безобразие. Вот тогда-то во время первой игры в «мадам Тюлюлю» я и ударил по ним струей из клизмы. Ничего путного, как и уже говорил, из этого не получилось. Но все же с тех пор девочки нет-нет да поглядывали на мое окно с опаской.

Лишь однажды, невольно наблюдая за их «кофепитием», я почувствовал к Зойке симпатию.

Вначале разговор у них шел все в том же ненавистном мне духе.

Роль хозяйки дома впервые исполняла Нинастая (Зойка никому никогда не уступала эту роль, а тут вдруг случилось такое чудо). Нинастая решила, видимо, слегка отклониться от незыблемого хода игры. Она сказала:

— Сегодня, гости дорогие, будем пить сырое кофе.

— Это почему же? — насторожилась Зойка.

— Потому что варить не на чем. Керосин у меня кончился.

— А можно сырое кофе пить? — спросила с недоверием Верка-Ябеда.

— Можно, — сказала Нинастая. — Пьют же сырое молоко.

— Нет, — вмешалась Зойка. — Бабушка говорила мне, что кофе варят.

— На чем же я буду варить? — не уступала Нинастая. — Говорят же вам, нет керосина.

— Нужно взять взаймы у соседей, — подсказала Зойка.

— Ладно, возьму, — согласилась Нинастая... — если они дома.

Она пошла с пузырьком куда-то за помойку и ту же вернулась. Соседи «оказались» дома.

Ну а за чашкой кофе, понятное дело, начались разговоры.

— Вера Васильевна, а что пишет вам муж с фронта? — спросила Нинастая.

— Он крепко бьет врага и шлет нам горячий привет, — бойко ответила Верка-Ябеда. — А ваш?

— А наш... — задумалась Нинастая, — наш тоже крепко бил врага, а сейчас в госпитале. Он ранен, но не сильно... Вы только не грызите сахар такими кусками, а то он быстро кончится. А ваш, Зоя Петровна?

— Мой муж, — пискляво, но решительно проговорила Зойка, — бил врага не хуже вашего. Только сей-

час мой муж... — Зойка потупилась и закончила тихим голосом: — ...пропал без вести.

— Хороший муж, — подумав, сказала Верка-Ябеда, — без вести не пропадает.

Конечно, Верка не сама до этого додумалась. Что-то от кого-то она, видно, слышала и теперь сказала, чтобы поддеть Зойку: вредная она была, Верка-Ябеда.

Как вскочила Зойка со своего места да как толкнет Ябеду — та кувырк со скамейки и носом в землю. Сре-вом убежала Ябеда домой. Жаловаться.

В тот момент-то я и почувствовал симпатию к Зойке. Я бы тоже за своего отца вступился, попробовал бы кто на него наговаривать.

Но через день я не мог без смеха смотреть на ту же Зойку. Она вышла на улицу, подкрасив губы красным карандашом, а на поводке — это был светло-зеленый отцовский галстук — вела свою Маркизу. Кошка упиралась, тянула в сторону, норовила удрать. Она не понимала, что это вдруг случилось с ее хозяйкой. Но я-то понял все сразу. Зойка изображала мадам Тюлюлю.

Я падал от смеха. Я показывал на Зойку пальцем и кричал:

— Тюлюлю!.. Тюлюлю!..

Все, кто был рядом, тоже смеялись.

Бедная Маркиза, вырвавшись, взметнулась на дерево чуть ли не до самой верхушки.

— Тюлюлю!.. — орал я. — Тюлюлю!..

Очень мне было приятно, что среди смеявшихся стояла Вика Орлинская — дочь известного певца, вернувшегося недавно из эвакуации.

— Маркиз... Маркиз... — звала несносную кошку Зойка.

Куда там! Часа два, наверное, проторчала персона № 4 на верхушке дерева.

Вика Орлинская мне нравилась. Она была смешливая девчонка, моя ровесница, не задавалась, что отец ее знаменитость, и позволяла поездить на полудетском двухколесном велосипеде — такого мы никогда ни у кого не видели. Я же давал ей свой самодельный самокат на жужжащих подшипниках, научил устраивать дымовую завесу из подожженной киноплёнки и прокатил без билета на трамвае «Аннушка», ходившем возле нас по бульварному кольцу. Катание, правда, закончилось не совсем удачно.

Мы стояли с Викой на подножке трамвая (в ту пору у него не было автоматически закрывающихся дверей), я поддерживал ее одной рукой, и мне было очень приятно, что это от меня зависит Викина безопасность.

— Ты стой, не качайся, — говорил я, — и крепко держись.

— Я и держусь, это трамвай качается.

Ветер бил мне в лицо, и мостовая мелькала под ногами. В какой-то момент я представил, что несусь на танке Т-34 и где-то там, впереди, враг, а я вот-вот ворвусь в его расположение и начну все крушить, а Вика будет свидетельницей моих побед. Но кто там прячется впереди справа, вон, возле того угла — не гранатометчик ли?

Однако опасность подстерегала нас совсем с другой стороны.

— Билеты брать будем? — раздался голос кондуктора над нашими головами.

— Прыгаем! — скомандовал я.

Соскочив с подножки, я пробежал немного вперед и остановился.

Вика прыгнула неумело. Она сильно ушибла ногу, но не заплакала, отчего я зауважал ее еще больше.

После того случая мы уже не катались без билета. Если у нас были деньги, мы брали билеты, проходили вперед и становились прямо рядом с вагоновожатым, у которого вместо круглого руля был деревянный рычажок.

— Хочешь, я позвоню, — говорил я Вике.

— Хочу.

И тогда на следующей остановке я нажимал ногой на металлический кружок, похожий на большую кнопку, который торчал на пружинке из пола рядом с вагоновожатым. Раздавался резкий звонок. Вагоновожатый вздрагивал, оглядывался, но мы уже выскакивали прочь из вагона.

В самом конце августа у Вики был день рождения. Орлинские пригласили на праздник всех ребят с нашего двора (правда, нас оказалось не так уж много — всего восемь человек).

Я подарил Вике вещь, которую я очень ценил, — немецкую губную гармошку: ее привез с фронта однополчанин моего отца, приезжавший в Москву на два дня. Я думал, Вика больше всего обрадуется моему подарку. Но я видел, что ничто ей так не понрави-

лось, как кофейный сервиз на четыре персоны, принесенный Зойкой. Мне было страшно досадно. Ко всему же неожиданно для себя я подумал: как же теперь Зойка будет обходиться без «кофепития» со своими «гостями»?

Зато в этот день за праздничным столом у Орлинских мы пили настоящий кофе с молоком. Я сидел рядом с Викой, а по другую сторону от нее сидела Зойка. Когда разлили по чашкам кофе, Зойка попробовала его и спросила:

— Ой, что это такое вкусное?

— Кофе, — ответила Вика, — ты что, никогда не пила?

Бледное Зойкино лицо стало краснеть.

— Пила, — сказала она, — много раз. — И покосилась на меня. Она боялась, что я засмеюсь.

Но я не засмеялся.

На этом, пожалуй, нужно и закончить рассказ о том, как во время войны мы пили кофе.

Валентин Иванович помолчал, откашлялся, посмотрел на притихших ребят и спросил:

— А знаете, почему Зойка так держала свой мизинец? Не из-за того, что она представляла себя «мадамой Тюлюлю». Просто... Нет, уж лучше я поведаю еще одну маленькую историю.

При домоуправлении, в какой-то полуподвальной комнате, решили устроить для нас нечто вроде детского клуба. Комната была большая — туда силами пяти женщин и дворника Борзова даже было доставлено пианино.

Руководить клубом взялась на общественных началах энергичная женщина лет сорока пяти — Надежда Сергеевна. Она показывала нам диафильмы, читала книжку про Гулливера и, обращаясь к нам, постоянно путала наши имена, чему мы радовались необыкновенно.

Ко всему прочему она задумала устроить концерт художественной самодеятельности. Кто-то из нас должен был прочитать стихи, кто-то сплясать «Яблочко», а трио в составе Верки-Ябеды, Нинастой и Жирного (их вокальные данные оказались лучшими) должно было выступить с песней «Во поле березонька стояла». Из-за того, что Надежда Сергеевна путала наши имена, роль конферансье она поручила Зойке. А может, ей нравился Зойкин писклявый голос? Но это неважно.

— Зиночка, — говорила Зойке Надежда Сергеевна на первой репетиции. — Ты стой прямо, не сутулься и объявляй громко, глядя в зрительный зал: «А теперь такие-то, такие-то (назывались три имени и фамилии) исполнят русскую народную песню «Во поле березонька стояла».

— Скакала, — поправил из «зрительного зала» Васька-Оголец, сидящий рядом со мной.

Трио с Жирным во главе засмеялось.

— Если посторонняя публика будет нам мешать, мы попросим ее удалиться, — строго произнесла Надежда Сергеевна.

Поскольку в «зрительном зале», кроме нас с Огольцом, никого не было, мы недоуменно переглянулись: мол, мы-то тут при чем, сидим себе мирно, посиживаем.

— Итак, Лидочка, повтори. Не торопясь, громко, отчетливо.

— А теперь... — пискляво начала Зойка и, когда дошла до слов «березонька стояла», увидела, что мы с Васькой-Огольцом показываем ей кулаки.

Зойка приостановилась.

— Ну? — подтолкнула ее Надежда Сергеевна.

— ...березонька... — выдавила с трудом Зойка.

— Дальше?

— Скакала, — подсказали из «публики».

Зойка всхлипнула.

— Не слушай их. Ты должна четко и громко сказать: «Во поле березонька ска...»

«Посторонняя публика» от хохота свалилась со скамейки.

«Публику» пришлось выгнать.

После репетиции мы подкараулили Зойку в подъезде.

— Видишь? — И потрясли перед ее носом кулаками. — Попробуй только скажи «стояла». — Затем Оголец как бы в задаток дал ей крепкого щелчка. А щелчки у него получались отменные.

Но на концерт мы с Огольцом, конечно, пришли. Там были мамы, бабушки, дедушки и дворник Борзов.

Часть комнаты была отделена занавесом из какой-то полосатой ткани.

Я и Васька-Оголец сидели на первой скамейке и после каждого номера неистово били в ладоши.

Но вот последний номер.

Принаряженная Зойка (откуда ей выкопали длинное платье, соседи, что ли, дали?) объявляет:

— А сейчас Вера Сорокина, Нина Гусева и Витя Васильчиков исполнят русскую народную песню...

Она вдохновенно смотрела в зал, концерт получался удачным, все это чувствовали — и артисты и зрители.

Васька-Оголец, чтобы привлечь ее внимание, громко кашлянул. Она взглянула на нас и запнулась. Мы ей заговорщически подмигивали.

— Оленька... дальше! — напомнила Зойке о ее обязанностях Надежда Сергеевна.

Вдохновение в глазах Зойки исчезло.

— Русскую народную песню, — повторила она угасше, — «Во поле березонька...» — И опять посмотрела на нас.

Немым ртом, но выразительно растягивая губы, мы подсказывали ей по слогам: «ска-ка-ла».

Зойка помнила наше: «Попробуй только скажи — стояла». Но и произнести «скакала» ей, видимо, очень не хотелось. Такой был концерт!

«Ска-ка-ла», — кричали наши немые губы.

Зойкино лицо сморщилось, и, отчаянно на что-то решившись, она выпалила:

— «Во поле березонька сидела».

Ожидая услышать наше слово, мы с Огольцом в первый момент не проронили ни звука, лишь переглянулись.

В зале тоже было тихо.

Но Жирный, стоя на «сцене», не удержался и фыркнул. И тогда все, как по команде, засмеялись.

Зойка сорвалась с места, кинулась было к выходу, но запуталась в занавесе и упала.

Какая-то непонятная сила подхватила меня со скамейки, я бросился поднимать Зойку, но она отпихивалась, брыкалась и с плачем выскочила на улицу.

Две недели после этого она ходила с перевязанной рукой..

Пока Валентин Иванович все это рассказывал, в палате то смеялись, то опять затихали. Когда же он кончил, Колька Бутыгин спросил:

— Валентин Иванович, а что у нее было с мизинцем?

— Наверное, вывихнула, а может, и сломала. Иначе зачем же ей было так чудно держать чашечку с

«кофе». Словом, не думайте, что я, мол, такой хороший: лечу ваши руки-ноги. Один покалеченный палец на моей совести. — Валентин Иванович встал. — Засиделся я, хорошо тут с вами потолковать, а все же я — дежурный. Пойду.

— Приходите, когда сможете, — сказал Колька, — еще потолкуем.

Валентин Иванович рассмеялся.

— Вы думаете, у меня много таких историй?

— Зачем — историй? — негромко проговорил Шалва. — Приходите так — в шахматы сыграем.

— Приду, Шалва, обязательно, — Валентин Иванович чуть задержал руку на спинке кровати Шалвы. Потом направился к двери.

Сережка, пока слушал, тоже смеялся. А потом ему вдруг стало грустно. Но грусть была светлая, приятная. И захотелось ему тоже вспомнить о чем-нибудь приятном.

О чем? Он стал вспоминать, как познакомился с Сашей Круговой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

о том, что может иногда случиться, если не достанешь билета в кино

Это был прохладный день в самом конце августа. В липах уже появились цепочки желтых листьев, и когда показывалось солнце, они сверкали, как золотые искры. Но Сережке любоваться природой было некогда. Он торопился на венгерский детектив «Профессор преступного мира».

Он прилетел к кинотеатру минута в минуту. У окошка кассы стоял всего лишь один человек — старичок в выгоревшей шляпе. Сережкино сердце запрыгало от радости: еще миг — и он в зале.

— А это стоящая кинокартина? — спросил старичок у кассирши, чуть ли не всовывая свою шляпу в окошечко.

«Картина — полный блеск. Берите скорей билет», — вертелось на языке у Сережки.

— Хвалят, — сказала кассирша.

— Значит, стоящая, — размышлял старичок. — А вы не смотрели?

— Нет, не смотрела.

— Вот видите, — хитро прищурился старичок, — а если картина очень хорошая, вы бы ее непременно посмотрели, не так ли?

Кассирша засмеялась, а Сережка задрожал от нетерпения.

— Дядь, — сказал он вежливо, — картина приличная. Брали бы поскорее. Люди ведь ждут.

Старичок не спеша вытащил свою шляпу из окошечка, обернулся:

— А вы, молодой человек, не умеете себя прилично вести.

— Что я вам такого сказал? — вскипел Сережка.

— Такого?.. Не хватало еще «такое» говорить.

Из окошечка раздался голос кассирши.

— Билет берете или нет? — спросила она.

— Так вы полагаете, что картина... — Он начал искать по всем карманам кошелек, нашел его, отсчитал мелочь и закончил: — Стоящая?

Старичок с билетом ушел. Но когда Сережка протянул деньги, кассирша сказала:

— Мальчик, билетов нет. Это был последний.

Сережка от досады взвыл, и ему ничего не оставалось, как выйти на улицу.

Ноги принесли его к зоопарку. «Зоопарк так зоопарк», — равнодушно подумал Сережка.

Народу в зоопарке было мало. Сережке показалось, что люди, не спеша перемещавшиеся от клетки к клетке, пришли сюда, как и он, случайно.

И звери были сонные. Они не бегали и не прыгали, а лежали, в лучшем случае неподвижно стояли и лениво поглядывали на редких посетителей зоопарка.

Серый волк не казался злым, и лиса не выглядела плутовкой, и кто бы мог подумать про насупленного зайца, что он прыткий и шустрый.

Лишь на площадке молодняка весело возились щенок и медвежонок. Иногда кто-нибудь кидал им конфету, и тогда начиналась потешная борьба.

Еще Сережка задержался возле бассейна, в котором плавал морж. Вот уж кто радовался, что кончается лето! Он нырял, проплывал под водой, как тупоносая торпеда, и, вынырнув, показывал всем свою довольную усатую морду и шумно фыркал.

Потом Сережке стали попадаться верблюды, яки, буйволы и прочие копытные. Это показалось ему совсем неинтересным. Он прибавил шагу и вдруг, прохо-

дя мимо одного из вольеров, увидел знакомую девчонку. Она училась в его школе и тоже была в седьмом классе, но не в Сережкином, а в другом. Ему даже вспомнилась ее фамилия — Кругова. Имени он не знал.

Девчонка просовывала между прутьев ограды руку, в которой держала кусок бублика, и что-то говорила.

По ту сторону ограды стоял олененок. Пожевывая, он смотрел то на Кругову, то на приближающегося Сережку. На Кругову он смотрел заинтересованно, а на Сережку бросал короткие настороженные взгляды. Девчонка, видно, тоже заметила, что кто-то к ней подходит, но не обернулась, а лишь сказала погромче:

— Не бойся, глупышка. Тебя никто не тронет.

— Что делаешь? — спросил Сережка, остановившись рядом с ней.

— Кормлю, не видишь? Мог бы и поздороваться.

— Здравствуй, Кругова.

— Здравствуй. Меня, между прочим, Саша зовут.

— А меня Сережка.

— Знаю.

— Откуда.

— От верблюда, — сказала она и, кивнув в сторону верблюда, рассмеялась.

Сережка хотел обидеться, но смех ее был не злой. Он прозвучал громко, но очень коротко, в две нотки. Последняя нотка взлетела высоко и оборвалась.

Олененок было отпрянул, но тут же успокоился и снова подошел.

— Его зовут Бэмби, — Саша показала глазами на олененка.

— Ну да-а, — протянул Сережка. — Откуда ты... — и запнулся.

Но Кругова больше на верблюда не кивнула. Она сказала:

— На Бэмби он отзывается. Только об этом никто не знает. Лишь он и я. Ну и ты теперь будешь знать. Это будет наша тайна. Смотри... Бэмби!.. Иди сюда, маленький, иди. — И она еще отломила баранки.

Бэмби, вытянув шею, осторожно взял губами угощение, а Саша легонько погладила олененка.

— Любит он баранки, — заметил Сережка.

— Наверное, — согласилась Саша.

— Сколько уже съел?

— У меня всего-то одна была. Я ее здесь в зоопарке купила.

— Его кормить?

— Нет. Себе купила, а он съел. Хочешь покормить его? На.

Саша протянула ему остаток бублика, и Сережка тоже стал просовывать руку сквозь ограду, но олененок почему-то не брал, боялся.

— Скажи ему хорошее, — посоветовала она.

— Зачем?

— Он не будет тебя бояться.

— А что сказать? — растерялся Сережка.

— Что хочешь. — И добавила: — Что сумеешь.

Сережка подумал-подумал и вернул Круговой бублик. Ну что он будет сюсюкать, разводить телячьи нежности.

— Ну его к аллаху, — решительно сказал Сережка.

— Ты что?

— Я пойду. Дел у меня полно. Ты в школу не заходила? — переменял он тему.

— Нет.

— Я тоже. Сегодня зайду, может, кого встречу. Ну, пока.

— До свидания.

Он шел к выходу и уже не смотрел по сторонам. Как-то нескладно все получилось. Он хотел бы еще постоять с Сашей и олененком. И хотел бы, чтобы она опять засмеялась. Этот смех, такой короткий — в две нотки, — вспоминался ему. И ее вопрос: «Ты что?» — все звучал у него в ушах. Слышались в нем и недоумение и обида. «Хотя на что обижаться, — размышлял Сережка, — казалось бы, не на что».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой все из «девятки» становятся «артистами»

Сережка смотрел на Дикова, который распаковывал только что полученную посылку, и никак не мог понять, что за человек этот Володька Диков.

При нем всегда становилось шумно и беспокойно. Голос у него был громкий, смех, — грубый, раскатистый. Этот смех Сережке не нравился. Но лицо Дикова казалось ему красивым. Диков был темноволос и го-

лубоглаз, правда, глаза его были не кроткими и нежными, как принято говорить о голубых глазах в книгах, а дерзкими, постоянно снующими.

Диков был из детского дома. Произошел с ним редкий для нынешнего времени случай: Диков подорвался в лесу на mine. Много лет пролежала она в земле. Нипочем оказались ей ни вешние воды, ни осенние дожди. Затаилась мина, поросла сверху мхом, дожидаясь своего часа. И дождалась. Вместе с другими детдомовцами пришел в лес за грибами Володька Диков. Под его ногой и сработал страшный механизм.

Дикова удалось спасти, но нога была сильно раздроблена, и, как ни бились над ней хирурги, пришлось ее ампутировать.

Почти год пробыл Диков в больнице. Возвращаться в детский дом он не спешил, да и его не собирались выписывать насильно. Прижился Диков, и, пожалуй, было бы трудно представить палаты и коридоры без его зычного голоса.

Ходил он на одном костыле. Крепко прижимал его к себе и ходил так быстро и уверенно, что казалось, будто костыль этот прирос к Дикову, и было непонятно, зачем он держится за него рукой, отпустил бы, и тогда обе руки были бы свободны.

Диков все мог сделать, починить, исправить. Не контачил штепсель — звали Дикова; ломалось у кровати колесо — посылали за Диковым; прохудился на кухне бак — опять слышалось: «Диков... Диков, иди скорей...» И Диков сразу шел, никогда не отказывал.

Учился он в седьмом классе. Учился средненько, зато очень любил рисовать. Диков совершенно менялся, когда брал в руки карандаш, стихал, уходил в себя. «Угомон нашел», — говорила про него в это время няня Евдокия Никитична. В палате Диков рисовал мало. Обычно он шел в комнату к воспитателям. («Воспитательная часть» — почему-то было написано там на двери.) В первую половину дня комната пустовала, Диков сидел один и рисовал. Вечерами ему оставляла ключ от своего кабинета старшая сестра, и он, если хотел, мог рисовать там. Больница всю пользовалась художническими способностями Дикова. Ему поручали и оформлять стенгазеты, и писать объявления, и даже лозунги к праздникам делал Диков.

Но порой на Дикова находило. Он становился своевольным, грубил сестрам. Несколько раз его заставляли

с папироской, грозились выписать, но не выписывали, жалели: ну что ему, одноногому, ехать в детский дом, пусть уж закончит седьмой класс. Знали, что собирается он поступать в художественное училище.

В своей палате Диков бывал редко. Ребята относились к нему по-разному. Одни видели в нем рубаху-парня и искали с ним дружбы, другие не любили.

Сережке он казался иногда злым и жестоким. Диков мог схватить с тумбочки у лежащего больного яблоко и тут же съесть его — лишь хрустело за ушами. При этом Диков смеялся и всем своим видом показывал, как ему весело. У Гарика Диков мог взять стакан с компотом и в один миг ополовинить его, а увидев, что Гарик жалобно хлопает глазами, допить и весь стакан, да еще весело позвенеть в нем ложечкой над самым ухом опечаленного соседа.

Но этот же Диков мог в минуту раздать ребятам всю посылку, полученную от дяди (того самого, который «пить горазд»). А посылки такие приходили очень редко. Они приходили и тут же «испарялись» у всех на глазах. Самому же Дикову попадала в рот какая-нибудь печешка, и только.

Остальные, лежащие в «девятке», получали посылки намного чаще, да кто отваживался таким же образом распрощаться сразу со всеми гостинцами? Угощали, конечно, ребята друг друга, но чтобы так...

И вот сейчас Сережка смотрел, как Диков распаковывает свою посылку, и думал, что же это за человек, Володька Диков.

Ящик был необычный — широкий и плоский. Диков вскрывал его с нетерпением. Он даже не отправился в «воспитательную часть», где стоял шкаф с инструментами для тех, кто занимался в кружке «Умелые руки», а достал перочинный нож и принялся поддевать крышку лезвием, хотя это было и не очень-то удобно.

— Ну вот, — сказал Диков, когда крышка была оторвана и, сверкая гвоздями, легла на одеяло. — Наконец-то.

Все уставились на ящик. Даже Гарик, у которого родительским харчем была забита тумбочка, и то оторвался от книги и потихоньку наблюдал за Диковым. А тот все радостно смотрел в свой ящик и почему-то не торопился извлекать оттуда ни пряники, ни конфеты, ни прочие кондитерские изделия, которыми обычно

были набиты все посылки, приходившие в больницу.

— Наконец-то! — повторил он.

— Диков, — не выдержал Колька и облизнулся, — не тяни... Чего у тебя там?

— А вот, — проговорил Диков и стал вытаскивать из ящика и складывать прямо на одеяло тоненькие, чуть потолще бумаги, деревянные листы, примерно такие, из каких склеивают фанеру.

Разочарованный Колька так и сказал:

— Это что?.. Фанеру прислали?

— Сам ты фанера, — отмахнулся Диков и для наглядности постучал по ящику.

— Нет, правда, — не отставал Колька. Настроившись на совсем другое содержимое посылки, он никак не мог смириться с тем, что в ящике оказалось какое-то несъедобное барахло.

А Диков вынимал все новые и новые деревянные листы. Они были разного цвета, и красноватые, и желтые, и темно-коричневые, и белые, и почти черные.

— Это называется шпоны, — сказал Диков. — Ими мебель фанеруют.

— Что?.. Что?.. — спросило сразу несколько голосов.

И тогда Диков рассказал, что шпоны прислал дядька, который работает на мебельной фабрике. Этими шпонами и фанеруют мебель, то есть обклеивают ее снаружи. И кажется, что шкаф или стол целиком сделан из красного дерева или из ореха, а на самом деле это лишь верхний слой, а под ним дерево совсем простой породы. Дядька прислал Дикову обрезки — остатки из того, что идет на мебель.

— А что ты будешь обклеивать, тумбочку? — спросил Колька и засмеялся. — Обклей мою.

Диков не ответил. Вынув из ящика шпоны, он извлек затем оттуда несколько ножей, у которых были маленькие, с ноготок, лезвия, «шкурку» и еще какие-то мотки бумажной ленты.

— Слушай, зачем тебе все это? — приподнялся на локте Сережка.

— Надо, — коротко сказал Диков. — Любопытной Варваре, знаешь, что сделали?..

Он сложил все обратно в ящик, сунул его под мышку и пошел к двери.

— Если кто будет искать, я в «воспиталке», — бросил он на ходу.

А через день он принес в палату удивительную вещь.

Это была картина, составленная из разных шпон. Хорошо подогнанные одна к другой, они крепко держались на доске. На картине был темный лес, небо с разводами облаков, озеро и лодка под белым парусом.

Доска была отшлифована шкуркой и покрыта лаком.

— Сам сделал? — спросил Колька, хотя можно было и не спрашивать.

— Вах! — вырвалось восклицание у Шалвы. Он всегда произносил это, когда был чем-то доволен.

Картина пошла по рукам. Ее рассматривали со всех сторон, проводили пальцем по блестящей поверхности, даже слегка постукивали, будто проверяли, не рассыплется ли она.

Диков объяснил, что небо он сделал из бука, лес — из ореха, озеро — из красного дерева, лодку тоже из ореха, а парус — из березы.

И каждый, к кому попадала картина, непременно спрашивал у Дикова: где орех, где бук и так далее. Диков терпеливо показывал, и все хвалили его работу, а Шалва сказал:

— Как делал, слушай?

— Проще простого.

— Я смогу сделать?

— Конечно. Что, нравится?

— Вах!

— Бери себе, — сказал Диков и отошел в сторону.

Вечером почти вся палата возилась со шпонами. Диков раздал ребятам ножи и ленту клейкой бумаги, которой склеивались между собой кусочки дерева, вырезанные из шпон. Для начала он дал каждому по листу ватманской бумаги, где картина была уже нарисована четкими линиями, словно ее перевели откуда-то через копирку. А дальше делалось так: из рисунка вырезался по линиям какой-нибудь кусочек, ну, хотя бы крыша дома, а потом точно такой же кусочек нужно было вырезать из шпоны и подклеить к рисунку. Так постепенно составлялась вся картина.

Склеенная тоненькими полосками бумаги, она была хрупкой, того и гляди развалится на части. Но Диков уносил ее в «воспиталку», где у него булькал на плитке столярный клей, подбирал нужные по площади куски фанеры, склеивал их вначале в три слоя, а затем под пресс — под ножку тяжелого шкафа, после чего картину шкурили, заравнивали у нее края и покрывали лаком.

Так в «девятке» и открылась, по выражению Евдокии Никитичны, «мастерская шараш-монтаж». Няня сначала сердилась, говорила, что и без деревяшек мусору хватало. Но потом, когда Диков подарил ей картину, успокоилась и даже стала интересоваться, кто что делает, смотрела и причмокивала: «Артисты! Одно слово — артисты».

Сережка вначале лишь наблюдал, как ребята пыхтят над шпонами. Ему казалось, что у него картина не получится, а делать абы как не хотелось. Рисовать он не умел, правда, изобразить что-либо на листе бумаги мог для него и Диков, он бы не отказал Сережке, а остальное, как говорят шахматисты, — дело техники. Но все же трудно было даже представить, что из-под его, Сережкиной, руки вышла бы вдруг картина. Показать кому дома или в школе — не поверят. Такие чудеса только в сказках бывают: велели Иванушке выстроить за ночь дворец — раз-два и готово, входите, батюшка-царь да отдавайте поскорее свою дочь-красавицу.

Но у других ребят картины получались. «Неужели я самый недотепистый, самый неумелый?» — огорченно думал Сережка. Он брал картины в руки, рассматривал. Всякие были среди них — и получше, и похуже, но все равно это было удивительно хорошо.

Сделав картину, «художник» почему-то торопился поскорее отослать ее родственникам или друзьям. Посылками занималась одна из воспитательниц — Анна Степановна. Теперь ее все время донимали: «Анна Степановна, отослала мою?» «А мою?» «Нет?.. Ой, Анна Степановна...»

И дело было не в том, что каждый спешил похвастать перед своими: вот, мол, КАКУЮ картину я сделал (хотя, отдавая ее Анне Степановне, не без гордости смотрел прощально на свою работу). Нет, главное было в том, что хотелось ему, лежащему в больнице, сказать: я далеко от вас, это верно, я не могу ходить или хожу на костылях, только не думайте, что я совсем слаб и плох, посмотрите на эту картину, я сам ее сделал из кусочков дерева, САМ. Не думайте обо мне с жалостью, я такой же, как вы. И я опять буду с вами. Все будет в порядке.

Сережка понял это, когда тоже сделал первую картину, и ребята просили, чтобы он передал ее им посмот-

реть, а Евдокия Никитична, взглянув, качнула головой и сказала:

— Артисты!

Ему тоже захотелось поскорее отослать свою картину.

На ней были сосны и гора с крутым обрывом, и речка неподалеку, и серпик месяца, который отражался в этой речке.

Еще когда Сережка возился с картиной, резал шпона и подклеивал, уже тогда чувствовал, что картина что-то ему напоминает. Но вот принес ее Диков, отшкуренную и как бы умытую лаком, вспомнил Сережка: ну, конечно, вместе с Сашей Круговой он катался на санках с такого обрыва, и сосны стояли на краю, и речка была. Точь-в-точь.

«Может, послать ее Саше?» — подумал Сережка, но отогнал эту мысль. Зачем же теперь, после ссоры...

Он передал Анне Степановне картину с запиской, на которой написан был его домашний адрес.

Анна Степановна взяла картину и унесла.

А Сережке все вспоминались сосны и на краю оврага и крутой спуск, и смех Саши Круговой, и тревожный холодок в сердце, который он ощущал всякий раз, когда садился на санки и смотрел сверху вниз, туда, где петляла покрытая льдом речка.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

которая переносит читателя туда, где голубые тени,
овраг и речка

Сережка шел рядом с Сашей и тянул за собой санки. Вербка, за которую он держался, то упруго натягивалась, то совсем ослабевала, и тогда казалось Сережке, что санки вдруг исчезли, и он невольно оглядывался.

Это были не покупные, крашенные в зеленый или красный цвет санки, на которых катается сейчас каждый, а самодельные. И сделал их Сашин дед для Сашиного отца, когда тот был еще мальчишкой.

— Как я с них падала, — сказала Саша и коротко рассмеялась тем самым смехом, что так нравился Сережке.

— Сейчас мы им покажем! — шутливо пригрозил Сережка.

Он дернул за веревку, а сам отшатнулся в сторону, и санки, рванувшись было вперед, остановились.

— Не надо, — попросила Саша. — Они хорошие. — И, словно о ком-то живом, сказала: — Я их люблю.

И так тепло, так сладко прозвучали эти слова, что Сережка, неожиданно для себя, чуть было тоже не сказал: «И я их люблю». Он еле сдерживался, чтобы не сказать это. От волнения ему стало жарко, и он поспешил сказать что-то совсем другое:

— Чего мы стоим? Пошли, что ли?

И опять он ощущал через веревку, как бегут следом санки. Только теперь они уже были приятны ему. Такие податливые. Такие славные.

С широкой тропы Сережка и Саша свернули на узкую. Она тянется вначале полем, потом нырнет в лес и выйдет к самому оврагу.

Овраг этот они приметили в прошлый раз, когда приезжали сюда кататься на лыжах. Склон его был крут и неровен, и не виднелось ни одной лыжни, которая прорезала бы его снежную целину.

Они смотрели тогда на речку, на ее причудливые изгибы, и Сережка сказал:

— Понеслись?

— Туда? — улыбнувшись, проговорила Саша и показала палкой вниз, хотя отлично понимала, о чем спрашивал Сережка: что, мол, побежим дальше?

— Туда, — ответил Сережка, но стал снова на ту лыжню, по которой они шли.

— Испугался?

Сережка повернул голову, встретился взглядом с Сашей. Она смотрела на него выжидающе.

— Нет, — сказал он. — Лыжи жаль.

— А я съеду, хочешь? — Глаза у Саши смеялись.

— Нет, не хочу. — И подумал: «Сумасшедшая. А вдруг правда съедет?»

— Спорим? — предложила она.

— И спорить не хочу.

— Эх ты, — сказала Саша. — Храбрец!

«Ах так! Черт с ними, с лыжами!» Сережка быстро развернулся к обрыву. Сердце бешено заколотилось. Он шагнул и...

— Не надо! — закричала Саша и вцепилась в его руку, на какое-то мгновение опередив следующее Сережкино движение. И тихо еще раз попросила: — Не надо.

Рот ее был полураскрыт, в глазах замер испуг.

Сережке захотелось поцеловать ее, но пока он собирался с решимостью, Саша пришла в себя, успокоилась, и он как-то вдруг ясно понял, что теперь уже поздно, короткий, волнующий миг улетел, и было бы непонятным и странным, случись все это.

Они молча двинулись по лыжне оврага. Он шел первым, а она сзади.

Молчали они и на платформе. Лишь когда показалась электричка, Саша сказала:

— Чудак. Я ведь на санках хотела съехать.

— На каких санках? — удивился он.

— На моих. У меня санки есть. В следующий раз приедем с санками и спустимся, да?

Ему снова стало очень хорошо. Он сказал:

— Конечно. Обязательно спустимся.

И вот наступил этот самый «следующий раз».

Они идут по тропинке через поле. Впереди Саша, за ней — Сережка, а за ним скользят санки. Податливые, славные самодельные санки.

И еще их сопровождают длинные голубые тени. Только они идут не по тропинке, а сбоку — по сверкающему на солнце снегу.

Откуда-то издалека прилетает музыка. Ее приносит ветер.

Наверное, в каком-нибудь доме отдыха заводят на катке пластинки. Очень знакомая музыка. «Что же это играют?» — старался вспомнить Сережка и не мог.

Потом ветер исчез. Деревья перестали покачивать своими макушками. А музыка все равно осталась. Она лилась отовсюду: звучали лес и снег, и голубые тени, звучали санки, бегущие сзади, и Сашины валенки, мелькающие подшитыми пятками.

«Какой день! — думал Сережка. — Никогда у меня не было такого дня».

Потом они вышли к оврагу, и Саша проговорила:

— Ну давай!

— Что давай?

— Санки. Я поеду.

Сережка посмотрел на далекую речку, на пустынную низину, на спуск, по которому, словно застывшие белые волны, разместились бугры и холмики.

— Нет, — сказал он решительно, по-мужски. — Первым поеду я, а ты после.

И она, видимо, почувствовала эту решительность,

потому что сразу с неожиданной покорностью согласилась:

— Ладно уж, поезжай.

Сереежа подвез санки к самому краю. Он сел на них, не замечая в себе ни страха, ни опасения. В нем жило лишь одно слово «поезжай».

— Подожди, — сказала Саша, — я сосчитаю до трех.

Сереежа напряженно замер.

— Раз, — проговорила Саша, — два...

Он ждал последнее слово. Оно держало его, как натянутая веревка. И он знал, что веревка эта вот-вот должна лопнуть. Лучше не ждать, лучше сразу броситься вниз сломя голову.

— Три, — услышал он, но оттолкнуться не успел, потому что Саша схватила его за плечи и, привалившись к нему, наклонилась вперед.

Санки оторвались от края, заскользили.

— Ты что! — крикнул он, поняв, что она стоит сзади на полозьях. — Упадешь!..

— Держись!

— Сама держись!

Она что-то ответила, но что — он разобрать не смог: в ушах у него засвистело, перед глазами все замелькало, запрыгало.

Кроме свиста, он еще слышал и ее смех и сам тоже засмеялся.

Они неслись, и столб снежной пыли вился позади них. Санки то подкидывало, то прижимало к земле, и уже было непонятно, куда они несутся, и где речка, которая вилась внизу, и когда же наступит конец их бесшумному полету.

Но вот подбросило их как-то особенно высоко, и санки упали не на полозья, а наклонившись, и Сереежа почувствовал, как через него перемахнула Саша, а сам он, ткнувшись боком в снег, закувыркался в глубоком сугробе. Барахтаясь в снегу, он продолжал смеяться, а когда наконец встал на ноги, ничего вначале не смог увидеть: снег облепил все лицо.

Саша была от него метрах в десяти. Из сугроба торчала только ее голова. Саша, как и он, смеялась, но не вставала.

— Что не встаешь? — подходя к ней, спросил Сереежа. — Ушиблась?

— Я увязла, — сквозь смех с трудом проговорила Саша.

Он помог ей подняться. Саша поправила красную шапочку, убрала под нее прядку волос.

— Ой, — сказала она, — у меня валенки полны снегом.

— Вытряхивай, пока не растаял, — он подал ей руку.

Держась за Сережку, она выбила снег из одного валенка, но другого на ноге не оказалось.

— Где же он? — спросила она.

— Пара пустяков, — сказал Сережка и стал ковырять возле Саши снег своими лыжными ботинками.

Валенок не находился.

— Повезешь меня на санках домой. Ищи лучше.

Сережка вспахал кругом весь снег, а валенка не было.

«И верно, придется везти», — подумал Сережка и посмотрел по сторонам: где же санки?

Он отыскал их по веревке, которая высывалась из сугроба.

— Постой здесь. Я сейчас.

— Сказал бы уж лучше — посиди в сугробе, — засмеялась Саша.

Ему нравилось, что она не унывала. «Какая она молодец!» — думал он, пробираясь по снегу к санкам.

Когда до них оставалось несколько шагов, Сережка увидел валенок — он выглядывал из сугроба подшитой пяткой.

Сережка вытащил его, выбил снег и крикнул Саше:

— Лови.

Он бросил его двумя руками, как бросают баскетбольный мяч, и валенок полетел по дуге, не кувыкаясь, пяткой вперед.

Саша попыталась поймать его, но не устояла и плюнулась в снег.

— Ну тебя, — сказала она чуть капризно. — Из-за тебя опять в снегу выкупалась.

Но Сережка видел, что она не сердится, и ему было приятно отметить про себя, что другая девчонка рассердилась бы по-настоящему, а она — нет. И еще он подумал, что с другой он и не приехал бы сюда, разве могло быть так хорошо с другой?

Потом они съезжали с горы еще и еще. По отдель-

ности и вместе, но больше вместе, потому что так было веселее.

И когда они накатались досыта, до изнеможения, им все равно не хотелось отсюда уходить.

— Теперь это наша гора, правда? — спросила Саша, глядя ему в глаза и улыбаясь.

«Не будь жадиной», — хотел сказать он, но сказал:

— Правда. Твоя и моя.

— Твоя и моя, — повторила она серьезно. Помолчала и потом опять улыбнулась: — А речку я отдаю тебе. — Она протянула руку в сторону речки и сделала широкое движение.

— А я отдаю тебе сосны, — сказал он в ответ.

Она подняла голову и стала смотреть на зеленые макушки сосен.

Тогда он поцеловал ее. В холодную щеку.

— Пошли домой, — сказала она.

«Обиделась!.. Неужели обиделась?..»

— Саша... я...

— Не нужно. Не говори ничего. А то мы не будем встречаться.

«Значит, будем? Значит, не обиделась?»

— Ладно, — сказал Сережка. — Пошли.

Он, как и утром, тащил за собой санки. Только они уже не были легкими и податливыми.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

несколько беспокойная, но с концом слегка поэтическим

— Сережка, к тебе приехали! — крикнул Диков в раскрытую дверь палаты.

— Мать?

— Нет.

— Отец?

Диков покачал головой.

— Три пацана и одна пацанка.

— Врешь?

— Сходи посмотри.

Сережка сел. Второй день, как Валентин Иванович разрешил ему сидеть. Пора. Почти полтора месяца лежит Сережка в больнице.

— Диков, послушай...

Но Диков уже ушел, закрыв за собой дверь.

Сережка перегнулся через кровать, задвинул поглубже табуретку, на которой лежала «утка».

«Кто же это?» — думал он.

Но тут дверь вновь открылась, и в палату вошли его одноклассники. Это были звеньевая Рита Кайгунова, отличник Борька Гусев, или попросту Гусь, Санечка Векшин — самый смирный и застенчивый человек в классе, и Генка Горовой.

— Здравствуйте, ребята! — сказала Кайгунова. — Овсянников здесь лежит?

Рита была близорука, но очки надевала редко, считала, что они ей не идут. К тому же Сережка, который сидел до их прихода, лег, едва лишь открылась дверь, потому что ему было неудобно сидеть перед своими ребятами в нижней рубашке. Рубашка была хоть и чистая, но без воротничка, с вырезом, да и пуговицы на ней были разные и по величине и по цвету.

— Я здесь, — отозвался Сережка. — Проходите сюда.

— Здравствуй, Овсянников, — сказала Рита и пожала ему руку.

И все пожали руку ему, а Генка сказал:

— Привет, Серега! — И подмигнул.

Рита поставила на тумбочку банку варенья. Гусь щелкнул замочком портфеля, и рядом с банкой появилась бутылка виноградного соку. Генка положил туда же книгу «Записки майора Зорина». Санечка к тумбочке не подошел, потому что он загляделся на картину, которая висела над Колькиной кроватью. Тогда Рита толкнула его локтем (она, конечно, думала, что этого никто не заметит), Санечка покраснел и поспешно извлек из кармана пластмассовую коробку, на которой было написано «Домино».

— Ребята, берите табуретки, садитесь. — Сережка кивнул на небольшие табуреточки, стоящие вдоль стены (их приносили в палату только в посетительский день).

Рита этого кивка не уловила и взялась было за ножку табуретки, чуть выглядывающей из-под Сережкиной кровати.

— Стой! — похолодев, воскликнул Сережка и схватил Риту за руку.

— Ты что, Овсянников? — испугалась Рита.

— Она... она сломана, — нашелся Сережка. — Возьми другую.

Когда все уселись вокруг кровати, начался разговор.
— Мы к тебе приехали по поручению отряда, — сказала Рита.

— Я не по поручению, — вставил Генка.

— Не перебивай меня, — сердито взглянула в его сторону звеньевая. — Расскажи нам, Овсянников, как ты себя чувствуешь, как учишься и вообще. — Она уселась поудобнее, приготовилась слушать.

Санечка, который все время молчал, решил, видимо, что и ему нужно что-то сказать.

— Да, — выдавил он, — и вообще...

— Что вообще? — спросил Сережка.

— Расскажи, — совсем смутился Санечка.

— Да чего рассказывать? — пожал плечами Сережка. — Все идет нормально.

— Что к человеку пристали, — вмешался Генка, — вчера ведь заходили к нему домой. Все узнали: учится хорошо, выздоравливает. Лучше сами расскажите про школу.

Сережка благодарно взглянул на друга.

— Вчера у нас контрольная была, — начал Гусь, но Рита его перебила:

— Не будьте такими черствыми. В классе не зря постановили поговорить с ним о здоровье. Рассказывай, Овсянников.

«Вот прилипла», — подумал Сережка и начал говорить с такой же охотой, с какой отвечают невыученный урок.

— Ну, температура, значит, нормальная.

— Какая? — спросила Рита.

— Сегодня тридцать шесть и семь.

— Семь? — переспросила Рита.

— Семь, — неуверенно ответил Сережка и поправился: — Нет, шесть.

— А вчера?

— Вчера? — он почесал затылок.

— Да, вчера.

— Вчера это... тридцать шесть и...

— Сколько?

— Забыл.

— Нехорошо, Овсянников, — строго сказала Рита. — Температура показывает состояние твоего здоровья.

— Да ну тебя! — не выдержал Генка. — Ты еще про анализы спроси.

— Нужно будет — и спрошу, — обиделась Рита. — И вообще не твое дело. Тебя на поездку никто не выдвигал.

— Ну и что?

— Сиди помалкивай.

— Сама сиди.

— Я и сижу.

— И помалкивай.

— И по... — Но тут она запнулась, потому что Колька, лежащий рядом с Сережкой, не выдержал и прыснул в кулак. Рита чуть помолчала и спокойно-ледяным тоном произнесла: — Так и знай, Горовой. Вопрос о твоём поведении будет поставлен.

— Ну и ставь, сколько хочешь.

Разные и неожиданные чувства охватили Сережку. Ему вроде и неудобно было, что гости поднимают такой гам (не в своем же классе!). И в то же время внутри у Сережки что-то сладко заныло. Ветерком школы пахнуло на него. «Пусть будет спор, пусть будет перепалка. Ребята, я опять с вами!» И показалось на миг Сережке, что он сидит за партой. За своей родной партией. «Родной?» Садиться за нее всегда было тяжело, а срываться — радостно. «Неужели родной? Вот не думал». И хотелось ему, чтобы спор разгорался, чтобы был он жарче, чтобы не робко-вежливые посетители сидели рядом с ним, а те ребята, которых он знал, к которым он так привык. А он-то представлял, что в больнице «не слышно шума городского». Какая чушь! Слышно! Еще как слышно!

— И поставлю, — кипела Кайгунова.

— Ой, испугался, — подкинул Генка.

— Испугаешься.

Сережке пришлось все же вмешаться.

— Да бросьте, ребята, — сказал он. — Борька, ты говорил, вчера контрольную писали.

— Писали, — оживился Гусь.

И он рассказал, сколько было примеров и сколько задач, а потом достал блокнот, карандаш и тут же набросал решения этих примеров и задач.

— Ну, ты даешь! — восхищенно сказал Сережка, успевший немного отвыкнуть от Борькиных способностей.

— А эту задачу, — увлекшись, заговорил Гусь, — можно решить еще тремя способами. Вот смотри.

В палате установилась почтительная тишина, и было

слышно лишь, как постукивал по блокноту Борькин шариковый карандаш.

Сережка с удовольствием оглядел «девяткинцев»: мол, знай наших! — и, изобразив на лице живой интерес, устоялся в блокнот.

— Все! — сказал Гусь и сунул блокнот в руки Сережке.

— Ты даешь! — повторил Сережка, рассматривая решения, но не вникая в их смысл.

— Сереж, — позвал его Вовка Монахов, кровать которого стояла в самом углу. — А может, он, твой друг, и вчерашнюю решит?

— Решит, — обрадовался Сережка, сразу вспомнив про задачку, над которой вчера безрезультатно бились всей палатой. — Он за полчаса может весь задачник решить.

— Счетно-вычислительная машина, — поддержал его Генка.

И Санечка тоже сказал:

— Ага, ребята.

— Ты подойди, — попросил Сережка Гуся, — посмотри, как там быть.

И Гусь пошел в тот угол, где заикнулись про задачку.

— Показывай, — сказал он Вовке Монахову и, взяв задачник, затих.

— Да, совсем забыла. Твои октябрюта передают тебе привет, — спохватилась вдруг Рита.

— Спасибо. Помнят, значит?

— Еще как. Хотели заявиться к тебе всем классом. Еле удалось отговорить, правда, Горовой? Они прислали тебе письмо. Читай. — Рита протянула конверт.

«Важатаму Сереже» — было написано на нем крупными буквами. Правда, кто-то уже успел переправить «А» на «О».

— Узнаю своих грамотеев, — улыбнулся Сережка.

— Вот-вот. И ты как вожатый должен будешь подтянуть их успеваемость.

— Подтяну. — Он вынул письмо.

«Дорогой Сережа!

Мы без тебя скучаем. Учимся мы хорошо. У нас была выставка домашних животных. На ней были собаки, кошки, попугайчики, хомяк, черепаха и белые мыши. Всем выставка понравилась. Только рыжий кот Тимка вырвался и ударил лапой собаку Муню, и больше никто

не подрался. До свидания. Выздоровливай и приходи к нам.

Октябрюта первого класса «А».

Все ошибки были кем-то выправлены.

Слушая письмо, Рита удовлетворенно кивала головой.

— А девочки у вас есть? — спросила вдруг она после короткого молчания.

— Есть.

— Где? — Кайгунова внимательно осмотрела палату.

— Так не здесь же, — изумился Сережка.

— А где?

— В своих палатах.

— А-а, — протянула Рита. Теперь она поняла. — Расскажи нам, как живут они.

— Нормально, — сказал Сережка, — лечатся, учатся, вышивают.

— Как интересно, — произнесла Рита.

Генка и Санечка промолчали.

— Мы пойдем их навестить, — заявила Рита. — Мальчиков туда пустят?

— Сегодня пустят: посетительский день.

— Гусев, — позвала Рита, — ты решил задачку?

— Решил.

— Идем с нами.

— Куда? — Гусь недовольно оторвался от блокнота.

— В соседнюю палату к девочкам.

— А зачем?

— Затем, что нужно, пошли. — Она поднялась с табуретки.

— И мне идти? — испуганно спросил Санечка.

— Всем идти, — отрезала Рита.

— Я не пойду, — сказал Генка.

— Это почему же?

— Потому, что меня никто не выдвигал, ясно? — И Генка нагло улыбнулся.

— Ну что ж, Горовой, пусть все увидят, какая у тебя дисциплина.

— И я не пойду, можно? — проговорил Санечка.

— Пусть останется, — попросил за него Сережка, но Генка незаметно мигнул другу и покачал головой. И тогда Сережка догадался, что Генка хочет остаться с ним вдвоем.

— Нет, нет, — Рита была непреклонна. — И Гусев и Векшин пойдут со мной.

— Борька, возьми с собой карандаш и блокнот, — посоветовал Сережка, — может, пригодятся.

Они ушли.

Оглядевшись, Генка увидел, что и к другим больным пришли посетители, что теперь все заняты своими делами и на него с Сережкой особого внимания не обращают.

— Знаешь, — прошептал он, склонившись к Сережке, — она спрашивала твой адрес.

Сережка затаил дыхание.

— Кто? — спросил он тихо, хотя отлично понял, о ком шла речь.

— Она, — еще тише сказал Генка, — Кругова.

— А ты что? — И сердце Сережкино так заколотилось, что он испугался, не услышит ли Генка этот стук через одеяло.

— Я, конечно, не сказал.

«Дурак!» — чуть не вырвалось у Сережки, но вместо этого он уныло произнес:

— Молодец, Генка.

— Я сказал, что не знаю.

— Правильно.

— И вообще сказал, какое твое дело, где он да что. Пусть не подлизывается. — Генка сиял. Он чувствовал себя как шахматист, который нашел единственно правильный ход. И теперь ему хотелось, чтобы Сережка оценил это по достоинству.

— Ты настоящий друг, — промолвил Сережка и устоялся куда-то в потолок. Он понимал, что «настоящий друг» ничуть не виноват, что виноват скорее всего он сам, Сережка, так мало рассказавший Генке про Сашу. Он лишь говорил ему, что катался с ней раз на лыжах, и больше ни о чем не сказал, не смог сказать. Правда, за несколько дней до того, как он попал под машину, Генка спросил у него однажды на перемене: «Ну как лыжи?» — «Все кончено». Не заметив грустной интонации, Генка обрадовался и поспешил уточнить: «Не катаетесь?» — «Нет. Мы поссорились». — «Ну и правильно, — горячо заговорил Генка, — мы с тобой сами еще не так покатаемся». Больше разговора о Саше у них не было.

«А может, нужно было с ним поговорить?» — думал Сережка. Иногда так хотелось ему с кем-нибудь поде-

литься, рассказать о том, какая Саша, как хорошо с ней и как плохо без нее. «Нет, нет. Генка бы этого не понял». Ведь не расскажешь ему все-все, что творится у тебя в душе. Все-все никому не расскажешь.

— Ладно, выкладывай, что у вас нового? — произнес Сережка.

— У кого?

— В классе, — пояснил Сережка, — и у тебя, и вообще, как любит говорить Кайгунова.

— Вот и говори со своей Кайгуновой, — засмеялся Генка.

Сережке тоже стало смешно: Кайгунова — и вдруг его.

— Знаешь, — сказал Генка, — у нас новая англичанка.

— Ну!

— Ага. Зовут Мэри Ивановна.

— Доводите?

— Ее доведешь! Знаешь, есть болгарская зубная паста, и там на коробке написано: «Meri»?

— Ну? — Сережка в нетерпении потер руками. Он хорошо помнил своих ребят. По части всяких выдумок класс нельзя было назвать отстающим.

— Мы это слово вырезали, и каждый наклеил на своей тетрадке.

— Психанула?

— Да нет. Собрала тетрадки, а потом говорит: «Мне мое имя, между прочим, тоже нравится».

— А отметки как ставит?

— Что отметки, — поморщился Генка. — Про отметки ты с Кайгуновой потолкуй. Она это любит.

Рита словно бы услышала, что в «девятке» разговор коснулся отметок. Открылась дверь, и она вошла в палату вместе с Гусем, который на ходу что-то высчитывал в своем блокноте, и с Санечкой.

Санечка был весь красный и, едва войдя в палату, ринулся к Сережкиной кровати, словно тонущий к спасательной лодке.

Как и следовало ожидать, Гусь тут же покорила палату девочек своими математическими способностями, и девочки предложили ему переписываться. А поскольку Санечка сел рядом с Гусем и, не смея отвести взгляд в сторону, смотрел только в его блокнот и кивал, то и его, Санечку, приняли за великого математика («Считает в уме», — громко шепнула одна из девочек) и так-

же обратились к нему с просьбой о переписке. Санечка кивнул головой последний раз и замер, как замирает прилежный ученик, которого вдруг по ошибке поставили в угол.

— Ну как, — спросил Сережка у Риты, — все в порядке, познакомились?

— Очень славные девочки, — сказала Рита, — наше звено будет с ними переписываться.

Санечка вздрогнул, а Гусь на слова звеньевой не прореагировал, потому что нашел интересное решение и ничего уже не слышал.

— Я переписываться не буду, — заявил Генка.

— Это почему же? Все звено будет, а он не будет.

— Не мужское это дело. Поняла? Я вон даже с Серегой не переписываюсь. Дружба от бумаги не зависит.

— Анархист ты, вот кто. Только звено позоришь.

— Звено, звено, — вскипятился Генка. — А что ты сделала для звена? Одни протоколы и умеешь писать. Рита задыхнулась.

— Я? Я? — повторяла она.

— Заякала, — махнул рукой Генка.

— Да бросьте вы, ребята... Что вы... — попробовал остановить их Сережка, но не тут-то было.

От обиды на глазах у Риты выступили слезы.

— Я так стараюсь, — сказала она, — а он...

— Ну что ты сделала, скажи?

— Я с тобой не разговариваю. — Рита достала платочек и, аккуратно промокнув слезы, сказала Сережке: — Хочешь, у Векшина спроси.

— Да, — вымолвил на всякий случай Векшин, еще не понимая, чего от него хотят.

— Ты спроси, как я успеваемость в звене подтянула. Ты же знаешь, что у нас звенья соревнуются.

— Знаю, — кивнул Сережка.

— Ну вот, — Рита заговорила спокойно, — наше звено теперь подтянулось до уровня второго звена. Мы отвоевали у них одно очко.

— Подтянулось, — подтвердил Санечка.

Генка, ерзавший на табуретке, не выдержал.

— Не подтянулось, — вмешался он. — Это второе звено опустилось до нашего уровня. Говори правду, Кайгунова.

— Я что-то не пойму, — признался Сережка.

— Да чего понимать-то, — снова загорячился Генка. — Было у нас два неуспевающих — Чикин и Сапу-

нов. Сапуна перевели во второе звено. Теперь и там и там по одному. Вот и все дела. Правда, Санечка?

— Правда, — снова подтвердил Санечка.

— А уровень успеваемости один? — Рита чувствовала себя уверенно.

— Что уровень! Очковтирательница ты, Кайгунова.

— А подарки! — воскликнула она. — Кто собрал больше всех? Чье звено?

— Да ну тебя. Заладила: «кто» да «чье».

— Какие подарки? — спросил Сережка.

— Для вьетнамских детей. — Рита взяла себя в руки, и голос ее вновь зазвучал спокойно. — Мы собираем подарки и тоже соревнуемся, чье звено больше соберет. Пока что у нас больше всех, а отсылаем через два дня, нас уже никому не догнать. Понимаешь, как здорово!

— А ты здесь при чем? — сказал Генка.

— То есть как!

— А так. Это все Ленька Фроловский. Вернее, его отец.

— Почему отец? — поинтересовался Сережка.

— Потому что на фабрике игрушек работает. Ленька захотел — и целый чемодан приволок, он знает... Но Рита его перебила:

— Ты наговоришь, что люди подумают, будто игрушки украденные. А он свои принес. Из дому.

— Не свои, а отцовские.

— Ничего не понимаю, — сказал Сережка. — Почему отцовские?

— Все очень просто, — отчеканила Рита, — отец у него изобретает игрушки.

— Изобретает?

— Ну, придумывает новые. Потом их уже делает фабрика. А модели остаются дома.

— Дома у Фроловского, — уточнил Генка и опять повторил: — А ты здесь при чем?

— Как это при чем? В чьем звене Фроловский?

— Ну в твоём, а сама ты что принесла?

— Принесла, не беспокойся, я...

Сережка подскочил. Сел в кровати, позабыв про свою рубашку с разными пуговицами.

— Ребята, — сказал он, — я вам сейчас дам...

— Тебе сидеть можно? — строго спросила Рита.

— Можно. — Он перегнулся и вынул из тумбочки свою картину. — Вот, возьмите тоже для вьетнамцев.

На этой картине был луг, стога сена, а наверху клинышек улетающих журавлей.

Картина всем понравилась. Особенно удачными были стога, для которых Сережка подобрал светло-коричневые с разводами шпоны из ореха.

— Здорово! — сказал Генка. — Где взял?

— Прелесты! — отозвалась Рита.

— Угу, — кивнул Санечка.

Борька Гусев промолчал, так как у картины не было ничего общего с математикой.

— Откуда? — опять спросил Генка.

— Сам сделал, — постарался как можно равнодушнее произнести Сережка.

Все, даже Санечка, недоверчиво на него взглянули.

А Генка так и проговорил:

— Не врешь?

Пришлось Сережке и шпоны показывать, и рассказывать, как они режутся и склеиваются.

— Овсянников, ты гений, — сказала Рита, забирая картину. — Только подпиши ее на обратной стороне. Все пометь, школу, класс, звено, ну и, конечно, свою фамилию.

Сережка написал. Рита проверила и сказала:

— Число поставь.

Сережка поставил и число.

— Молодец, Овсянников. Мы поговорим о твоём поступке на сборе звена.

— Не нужно, — попросил Сережка. — Я ведь так... — Он не нашелся, что сказать, но Генка договорил за него:

— Он не ради твоего «поступка» делал, а для вьетнамских детей.

— А тебя, Горовой, это не касается.

— Сережка мой друг. Значит, касается.

— А в чём он звене?

Спор начинал разгораться, как сухой хворост.

И тут вдруг заговорил Колька.

— Ребята, — сказал он, — у меня тоже возьмите, а?

— Что взять? — повернулись к нему.

Колька отложил сеть для верши, которую плел уже три недели («Рыбы у нас в прудах, — хвастал он, — жуткое количество»), и произнес:

— А картину.

— Зачем? — удивилась Рита.

— Как зачем? — Он взглянул на нее с обидой. —
Во Вьетнам.

И сразу же раздалось несколько голосов:

— И у меня возьмите.

— И у меня.

— И мою.

— Ребя! — восторженно воскликнул Генка. — Вы молотки! Давайте сюда.

Он встал, чтобы собрать картины.

«Девяткинцы» засияли от Генкиной похвалы и полезли в тумбочки.

— Нет, — повелительно произнесла Кайгунова. — Так нельзя. Не обижайтесь, ребята, но вы не из нашего звена.

— При чем тут звено? Вьетнамцам-то какая разница? — выкрикнул Генка.

— А соревнование! Потом будешь первый очковтратительницей обзывать.

— И бюрократкой.

— Ну вот, пожалуйста. Так я и знала.

Сережка уже не желал, как прежде: «Пусть будет спор, пусть будет перепалка». Ему было досаднее всех. Он-то и знал, и видел, как делались эти картины. Особенно трудно было тем, кто, как Шалва, мог лежать лишь на спине. Только начнешь резать шпону — устают руки. Поэтому Шалва и возится со своей картиной уже две недели. Сережка предлагал ему: давай помогу. Шалва упрямый — хочет сам. И все так. Зато как легко, как приятно, когда сделаешь. А Кайгунова со своими штучками: «наше звено», «не наше». Действительно, какая разница — получать подарок от первого звена, второго или третьего? Было бы побольше подарков. «А если... — мелькнула у Сережки счастливая мысль, — ну конечно...»

— Генка, собирай картины! — крикнул он.

— Овсянников, и ты туда же, — сверкнула глазами Рита.

— Послушай, я вот о чем...

— К тебе приехали, как к дисциплинированному члену звена, а ты...

— Когда он был дисциплинированным? — заерепенился Генка.

— Помолчи, не с тобой говорят. С тобой поговорим после.

— А я после не хочу.

— Захочешь!

Сереежа задохнулся от ярости.

— Стойте вы, черти! — закричал он.

— Мальчик, — сказал кто-то из взрослых посетителей. — Ругаться нехорошо.

— А что же они...

— Они не ругаются.

Сереежа в изнеможении упал на подушку.

— Что с тобой? Плохо? — наклонилась к нему Кайгунова.

— Плохо.

Рита забеспокоиась.

— Может, сестру позвать?

— Не нужно.

— А что нужно?

— Дай мне слово, — попросил Сереежа.

— Слово?

— Ну да. Хочу взять слово. Заявляю тебе, как нашей звеньевой.

Это было сказано по всей форме. Кайгуновой понравилось.

— Говори, Овсянников.

Сереежа сказал, что звено звеном. Пусть звено свои подарки отправляет. А ребята из «девятки» от себя вьетнамцам пошлют, от своего имени. Только нужно сейчас забрать картины: из больницы-то сложнее посылать, да и не знают они, как быть с адресом.

— Пожалуй, это мысль, — прикинула Рита. — Вот видишь, Горовой. Стоит хорошенько подумать — и всегда придет правильное решение.

Сереежа ухватил Генку за локоть: не спорь, мол, очень тебя прошу.

Картины собрали, и все «девяткинцы» были очень довольны. И Кайгунова тоже была довольна. Она поблагодарила всех от имени звена, и особенно Колю, потому что от него «пошла инициатива».

Когда Сереежкины гости стали прощаться, Шалва, который все время молчал, спросил:

— Значит, через два дня посылаете?

— Да, — сказала Рита, — через два дня состоится подсчет итогов и отсылаем, а что?

Шалва вздохнул.

— Я тоже хотел послать.

— Похвально, — вежливо сказала Рита. — Давай свою картину. — И подошла к Шалве.

— Сейчас нет.
— Как нет?
— Он не закончил, понимаешь? — поспешил объяснить Сережка. — Но скоро закончит.
— Когда? — спросила Рита.
— Не знаю, — признался Шалва. — Как закончу.
— Мы ждать не можем.
— Зачем ждать, — сказал Генка. — Пошлем ее дополнительно после всех.

— Интересно, куда же? — проговорила Рита.
— В адрес комитета дружбы.
Рита задумалась. Брови ее чуть сдвинулись, лицо сосредоточилось. Кайгунова не любила, чтобы последнее слово было не за ней. Но вот лицо звеньевой прояснилось.

— Ну что ж, — произнесла она торжественно, — пошлем в виде исключения.

Шалва заулыбался.
— Правду говоришь?
— Кайгунова шутить не любит, — заверила Рита.
— Это точно сказано, — вставил Генка.
— Угу, — подтвердил на всякий случай Санечка.
— Спасибо, — сказал Шалва. — Правильно говоришь. В виде исключения. Спасибо тебе.

Рита кивнула головой и скромно улыбнулась.
Гости пожелали всем скорейшего выздоровления, простились и ушли.

— Большой человек будет, — заметил Шалва, едва лишь закрылась за ними дверь.

— Это Гусь, что ли? — спросил Сережка. — Математик?

— Зачем математик? Кайгунова.
— Кайгунова?! — от удивления Сережка не мог произнести ни слова, но когда пришел в себя и собрался было сказать о Кайгуновой все, что думал, то увидел, как Шалва еще продолжал глупо улыбаться. «Неужели ему Ритка понравилась? Надо же!» — Ах, Кайгунова? — переспросил он и, не дожидаясь ответа, проговорил: — Ясное дело!

Шалва заулыбался еще шире.
«Может, она и вправду толковая, — размышлял Сережка. — Приехала, навела порядок, несмотря на все свои закидоны... Тьфу! Что за порядок!.. Прав Генка — одна бюрократия в ней. Неужели Шалва сам не видит. Нужно вот рассказать ему». Но потом Сережка стал

думать, что раз человек улыбается, значит, ему хорошо. А Шалва улыбался редко.

И еще Сережка был доволен, что Генка не сказал ни слова о фехтовальной секции. Случайно ли так получилось, или Генка сам сумел догадаться и не стал говорить на эту тему — неважно, но Сережка был благодарен ему, хотя очень бы хотелось узнать, как его, Генкины, успехи, что сейчас отрабатывает, и начались ли соревнования. На Сережку и Генку тренер надеялся. Он не то чтобы хвалил их больше, чем других, но в них он поверил, радовался за них и огорчался. «Ничего, ребята, — говорил он им, — мы с вами еще повоюем». Повуюем... Один уже, кажется, навоевался. «А вообще-то не всем же быть чемпионами», — попытался утешить себя Сережка. Только утешение было хрупким, как утренний ледок на весенних лужах.

* * *

После отбоя Сережка опять не мог долго уснуть. Он думал о Саше Круговой. Она о нем помнит! Хотела узнать адрес. Генка, Генка, что же ты натворил! Друг, называется. Нет, Генка не виноват. Разве знал он, что...

Сережка смотрел на звезды. В феврале они стали чище и свет их острее. А в небе густая-густая синева. Звезды дрожат в ней, и небо звенит. Только нужно очень прислушаться. До боли в ушах.

Может быть, и Саша смотрит сейчас на звезды. Сделала уроки. Легла и смотрит в окно. В городе звезды бледнее, но если захочешь, тоже сможешь разглядывать. А может, Саша и он сейчас смотрят на одни и те же звезды...

Сережка разволновался, и звезды в небе еще пуше задрожали, засверкали еще ярче. Он слушал, как звенело небо, и захотелось ему написать стихи.

Светят звезды... —

начал Сережка и задумался. Что дальше? Он смотрел, смотрел на них, словно они могли ему что-то подсказать.

Светят звезды, —

шептал он, не отрывая от них взгляда, и они, верно, подсказали:

...и свет их колющий

Что? Что этот свет?

Мне опять обжигает глаза,

Нет, колючий не обжигает. Нужно не так. А как?

...и свет их... морозный.

Правильно, ну, конечно, морозный. А дальше, дальше что, торопил себя Сережка. Но дальше про звезды не получалось, сколько он ни смотрел на них. Ветер шевелил ветви сосен, и они, надвигаясь на звезды, то прятали их во тьму, то открывали вновь. Сережка вспомнил, как он подарил сосны там, на краю оврага, и как Саша запрокинула голову и стала смотреть на них.

За окном расшумелись сосны...

Сквозь путаницу слов пробилась еще одна фраза. И вслед за ней возникла новая:

Словно что-то хотят рассказать.

Нет, нет. «Расшумелись» — нехорошо звучит. Лучше — «расшумелись».

Вы о чем расшумелись так,
сосны...

Тогда и слово «хотят» не подходит. «Вы» — значит, в стих нужно вставить слово «хотите». Сосны уже что-то рассказывают. Только — что? Такой и должна быть эта строчка:

Что хотите
мне рассказать?

Сережка достал карандаш, схватил с тумбочки тетрадку и — скорей, скорей, пусть почти ничего не видно в темноте — написал:

Светят звезды.
И свет их морозный
Мне опять обжигает глаза.
Вы о чем расшумелись так, сосны?
Что хотите
мне рассказать?

Он откинулся на подушку. Легко-легко стало ему. Так легко, словно и не ссорился с Сашей.

Словно!.. Это маленькое утешение. И ненадолго. Все равно ведь поссорились.

Поссорились...

Как же все было?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

о том, как поссорились Сережка Овсянников с Сашей Круговой

Сережка перекинул коньки через плечо так, чтобы один из них болтался спереди, а другой сзади, и выбежал на улицу.

Густели предвечерние тени, и самая яркая звезда уже появилась в небе.

Сережка шел к Саше Круговой. Он не договаривался с ней заранее, но думал, что она тут же соберется и они пойдут на каток. Ну, может, и не совсем сразу она соберется, покрутится перед зеркалом. Но это уж у девчонок в крови, что поделаешь.

В кармане у Сережки были белые капроновые шнуры. Он нес их Саше. В прошлый раз шнурок у нее порвался. Вот Сережка и решил достать для Саши нервушиеся капроновые.

Когда он приблизился к ее дому, на улице зажглись фонари. Их ртутные лампы вначале красновато затлеели, потом стали голубеть, а когда Сережка подошел к Сашиному подъезду, из фонарных змеиних головок уже всюю бил ровный нежно-зеленый свет.

Взлетев по лестнице на четвертый этаж, Сережка чуть отдышался и нажал на белую кнопку звонка.

В коридоре послышались шаги. Но это были не Сашины шаги, которые он узнавал, а более спокойные, сдержанные. «Наверное, отец!» — подумал Сережка.

Дверь открылась, и он увидел перед собой высокого мальчика в темно-сером костюме, под белым воротничком рубашки ровненько сидел бордовый галстук с неширокой полосой. Из Сашиной комнаты приглушенно лилась музыка. «Значит, с магнитофоном все в порядке», — мелькнуло в голове у Сережи. «Мастер-ломастер, — шутливо спросила его Саша в прошлый раз, — а не отнести ли нам эту машину в настоящую мастерскую?» — «Починка с гарантией, — в тон ей ответил тогда Сережка. — Фирма за все отвечает». «И вот, пожалуйста, не сломался», — отметил про себя Сережка.

— Вы к кому? — спросил высокий мальчик.

«Сосед», — подумал Сережка и сказал:

— К Саше Круговой.

— Пожалуйста, — пригласил высокий мальчик, задержавшись взглядом на Сережкиных коньках, — проходите.

Вежливый такой мальчик. Но Сережке он не понравился: была в нем какая-то приглаженность, да и смотрел он как-то снисходительно. «Павлин», — подумал Сережка, направляясь к Сашиной комнате.

Он заглянул в полуоткрытую дверь, но Саши там не было.

— Она на кухне, — сказал высокий мальчик. — Моет посуду. Вы подождите.

«Сами знаем, что делать». — Сережка повесил шапку и куртку, положил внизу под вешалкой коньки и прошел на кухню.

— Сережа, здравствуй! — шагнула ему навстречу Саша. Она мыла чашку, другая — уже вымытая — стояла на столе. — А мы только что кончили чай пить. Ты хочешь чаю?

— Спасибо, — сказал Сережка, — я не хочу.

— С клубничным вареньем.

— Да нет же, спасибо. Слушай, что это за тип у вас ходит?

— Где?

— Дверь мне открывал. Как павлин вырядился.

— Да это... — начала Саша и, взглянув на дверь, осеклась: на пороге стоял высокий мальчик.

Сережка тоже увидел его и покраснел. Но тут же постарался внушить себе, что «павлин» ничего не слышал, а если даже и слышал, то подумаешь — велика беда, драться, что ли, полезет, да хотя бы и полез, перья так и полетели бы, даром что длинный.

Мальчик драться не полез. Может, он и верно не слышал Сережкиных слов. Как бы там ни было, но Сережка почувствовал себя увереннее.

— Познакомьтесь, — сказала Саша. — Это Сережа, мы учимся с ним в одной школе, а это Павлик («Павлин!» — подумал Сережка и улыбнулся) — мой друг.

«Он — друг, а я — в одной школе». — Сережкина улыбка исчезла.

Все же он назвал длинному свое имя. Они пожали руки. У Павлика рука оказалась холодной и вялой.

— Ну, рассказывай дальше, — обратилась Саша к Павлику, а Сережке пояснила: — Он такой фильм видел, называется «Один из нас». В твоём духе: про шпионов. Рассказывай, Павлик.

Сережке показалось, что Саша подчеркнула слова «в

твоем духе», и от этого настроение его совсем испортилось.

— Что в моем духе, — сказал он мрачно, — я как-нибудь сам разберусь.

— Ой, обиделся, — всплеснула руками Саша, — извини, пожалуйста. Ну пусть он будет в моем духе. Что здесь такого? Рассказывай. — Последние слова уже относились к длинному.

— Зачем же, — проговорил вежливый Павлик, — без начала ему будет неинтересно слушать.

— Повтори начало.

— Как хочешь, — сухо согласился Павлик.

— Не нужно, — сказал Сережка. — У меня времени нет. Я на каток шел. Проходил мимо, подумал, может, ты тоже захочешь. — Он взглянул на Сашу. А вдруг и в самом деле она скажет: «Подожди, Сережка, я сейчас».

Но она сказала:

— Времени нет? Ты же на каток идешь, не в школу торопишься. А на коньках я бы с удовольствием, но мы уходим в театр. Павлик вот билеты принес.

— Ну что ж, — попытался беспечно произнести Сережка, — я пойду.

— Посиди еще немного. Что на каток спешить? — попросила Саша.

И опять Сережке показалось, что сказала она это не искренне, а так, из приличия.

— Мне вечером еще в секцию, — соврал Сережка.

— В какую? — вежливо поинтересовался Павлик.

— В фехтовальную, — ответила за Сережку Саша.

— Это интересно, — заметил Павлик.

— Очень, — отозвалась Саша. Она была рада, что нашлась общая тема для разговора. — И преподаватель у них такой интересный человек.

— Тренер, — поправил Сережка.

— Ну тренер. Расскажи, Сереж.

И тут Сережка увидел, что он может сделать, как говорят у фехтовальщиков, отличный «укол»:

— Нет уж, я пойду. Пусть рассказывает «Один из нас». — Кивнул Павлику и двинулся к двери.

— Сережа, чудак, стой, — бросилась вслед Саша.

Но он надел шапку, подхватил куртку, коньки и вышел.

— Сережа!

— До свиданья, — сказал он, шагнув на лестницу. В кармане случайно нащупал шнурки. Остановился. — Совсем забыл. Я шнурки тебе принес. Возьми.

— Не нужно мне ничего. — Саша хлопнула дверью.

На каток он не пошел, а вернулся домой. Вечер тянулся долго и нудно.

Несколько дней они с Сашей не разговаривали. Лишь здоровались, кивали друг другу, если случайно встречались где-нибудь в школе.

Настроение у Сережки было паршивое. Уроки в голу не шли, делать ничего не хотелось.

Однажды он решил подождать ее у школьных ворот после занятий. Но Саша вышла не одна, а с двумя девочками. Сережке пришлось приотстать и идти на некотором расстоянии сзади, дожидаясь, пока Саша будет одна.

Девчонки, как назло, останавливались у витрин, читали какие-то афиши, потом застряли на углу и долго стояли там, болтая и посмеиваясь.

Сережка злился и хотел бросить свою затею, но всякий раз ему становилось досадно: столько уже времени потерял, может, девчонки закончат вот-вот эту трепотню и разойдутся. Наконец одна из них ушла в переулок налево, вторая тут же на углу нырнула в подъезд, а Саша пошла прямо.

— Саша, — догнал он ее, — давай поговорим, Саша.

— О чем? — Она, казалось, даже не удивилась, что он вдруг появился рядом.

— Сама знаешь о чем. — Назвать тему их разговора он не решился.

— Ты глупо себя вел, — четко проговорила Саша. — И должен извиниться.

— Я?

— Не я же.

Сережке сделалось обидно.

— Послушай, у тебя торчит этот Павлин, а я должен...

— Почему ты даешь моим друзьям дурацкие клички? — перебила его Саша. — Что за манера!

— Другьям? Откуда он взялся такой?

— Он мой старый друг. Раньше мы были с ним соседями. И вот, порядочный человек приходит в гости, а ты наскакиваешь на него, как... как...

Сережка не дал ей подобрать нужное слово.
— Ну и дружи со своим порядочным человеком, — быстро проговорил он и зашагал прочь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

рассказывающая о нескольких событиях, происшедших
в «девятке» в один день

— Сережка!.. Будь здоров... Поскорее поправляйся. — Гарик пожимал ему руку и говорил те же слова, что и каждому, лежащему в палате номер девять.

— И ты будь здоров, — отвечал немного взволнованный Сережка. — Не попадай больше сюда. — И это были примерно такие же слова, какими провожали Гарика все «девяткинцы».

Гарик уезжал домой. На нем вместо привычной зеленой пижамы в полоску были пестрый свитер и коричневые брюки. Да и сам по себе Гарик был уже не тот, не прежний, незаметный и тихий, Гарик, который никогда не мог быть в центре внимания, а какой-то незнакомый, открыто радующийся своему превосходству над всеми остальными. И никто не осуждал его за это. Все понимали, что есть у Гарика на это право: Гарик вылечился, он уезжает из больницы.

Его не очень-то любили, но никто не взглянул на Гарика холодно или косо.

Ему пожимали руки и улыбались, а ушел он — и каждому стало грустно: вспомнились дом, и мать, и отец, и другая, совсем другая жизнь.

Но тут Володька Диков притащил в палату гармонь, рванул во всю мочь и заорал:

С деревьев листья опада-а-ают,
Пришла осенняя пора-а-а.
Ребят всех в армию забра-а-ли,
В селе остался только я-а-а.

Сказал:

— Ексель-моксель!

И запел второй куплет.

Все заворочались, заулыбались, потому что пел Диков, подвывая и строя уморительные гримасы. Прибежала Евдокия Никитична, стала у дверей и восхищенно закачала головой:

— Артист!

Вместо уехавшего Гарика в девятой палате появился новый мальчишка. Он был остронос и в очках и чем-то вначале напоминал Гарика, хотя Гарик очки не носил.

— Тебя как зовут? — спросили его.

— Володя.

— Владимир Третий, значит, — сказал Диков.

— Почему? — робко спросил новенький.

— Потому что я — Первый, в углу вон Второй лежит, — Диков показал на Монахова, — а ты Третьим будешь.

— Угу, — кротно кивнул Владимир Третий.

— Ишь ты! — заметил Колька. — Диков-то наш считал и не ошибся. Математик!

Все засмеялись, скромно улынулся и новенький. Диков тоже посмеялся, мотнул головой.

— Значит, так, — сказал он Владимиру Третьему. — Ты им палец в рот не клади, откусят. Привыкай в общем.

— Угу.

— У нас гармонь есть. — Диков показал на гармонь, лежащую на его кровати. — Не играешь?

— Нет.

— Также хорошо, — сказал Диков, — нам и одного гармониста вот как хватает. А поставим тебя лучше вон туда, между Сережкой и Колькой. Веселее будет. Не против?

— Нет.

— И лады, — заключил Диков. — А мужик ты веселый.

— Почему?

— Кино у нас сегодня. Мы его ждали-ждали. А ты приехал, и сразу тебе кино.

Он взялся за кровать новенького и повез ее к Сережке.

— Здорово! — подмигнул Сережка Владимиру Третьему.

— Здравствуй.

— Как ногу-то сломал? — спросил Колька.

Новенький не ответил.

— Как, спрашиваю, ногу сломал? — повторил Колька, решив, что новенький не расслышал.

— В люк провалился.

— Зачем вниз не смотрел? — спросил Шалва.

— Я не мог.

— Почему не мог? — спросил Сережка.

— Мороженое ел, — тихо проговорил новенький.

В палате засмеялись, а Владимир Третий всхлипнул.
— Ну чего ржете? — загремел Диков, хотя сам только что улыбался и понимал, что ребята не злорадствуют, а просто уж очень нелеп этот случай.

И чтобы ободрить новенького, он сказал:

— Ничего, у нас подлечат. Колеса у тебя хороши, возить на перевязки легко.

Новенький снова всхлипнул. То, что кровать легко передвигалась, его, видимо, не успокоило.

— Ну что ты сырость разводишь? — не вытерпел Диков. — Владимир Третий, смотри, как звучит.

Новенький молчал.

— Фамилия как?

— Моя? — не сразу проговорил новенький.

— Ну да. Владимир Третий... а дальше?

— Третьяков, — сообщил новенький.

Грянул смех. Смеялись все. Даже новенький опять улыбнулся.

— Ну, Третий, ты даешь, — сказал Сережка.

И с этой минуты новенького стали звать Третьим.

— А что ты любишь на третье? — спросил Колька, и снова загрохотала палата. На этот раз засмеялся и Третий.

* * *

Едва все успокоились, в палату вошла дежурная сестра.

— Ребята, — сказала она, — к Шалве Бадурашвили приехали гости. Сейчас они придут вместе с Валентином Ивановичем. Приберитесь немного, ребятки. А то у вас прямо базар какой-то. Диков, сними гармонь с кровати.

— Кто приехал? — спросил Шалва.

— Три гостя к тебе. Отец, брат и еще какой-то мужчина.

«Девяткинцы» были удивлены. Во-первых, день не посетительский, а тут на тебе — сразу троих пропускают. Во-вторых, чтобы лечащий врач сопровождал посетителей — такого тоже никогда не было. И в-третьих, про какой это базар сказала сестра? В палате свободный час. Кто что хочет, то и делает. Одни занимались картинами, тут уж не обойтись без шпон, а где придется вырезать, там и обрезки, само собой, бывают.

Другие играли в шашки. От шашек мусора, как известно, нет. Колька плел сеть для верши — тоже занятие уважаемое. Что касается Дикова, то гармонь его все время на кровати валяется. И вдруг — «базар»!

Через несколько минут дверь отворилась, и в палату нерешительно один за другим прошли трое мужчин.

В первый момент Сережке показалось, что они очень похожи друг на друга. У всех бронзовые, загорелые лица, что особенно бросалось в глаза: начинался март. Все трое — с усиками. На шее — одинаковые новые галстуки. В руках — хозяйственные сумки.

— Пожалуйста, пожалуйста, — говорил им шедший сзади Валентин Иванович.

И опять было удивительно, почему такой почет этим троим.

Поздоровались они по-разному.

Первый, который был старше всех, сказал по-грузински:

— Гамарджобат! *

— Добрый день, — проговорил другой.

Последний, самый младший, произнес:

— Здравствуйте.

Голоса у них оказались тоже разные. У первого — глухой и хриловатый, у второго — почище, у третьего голос был нежный — произнес, словно пропел.

Сережка думал, что старший и есть отец Шалвы, потому что он первый подошел и поцеловал Шалву.

— Здравствуй, дядя Арчил! — сказал Шалва и поправился, перешел на грузинский: — Гамарджобат, бидзия Арчил.

Дядя Арчил сел на табуретку, а к Шалве приблизился второй.

— Отец! — сказал Шалва, и они поцеловались несколько раз, после чего отец сел с дядей Арчилом.

Потом настал черед третьего. Он тоже поцеловал Шалву, и Шалва сказал:

— Здравствуй, Зураб.

Это был старший брат Шалвы. Ему тоже пододвинули табуретку, и он сел у Шалвы в ногах.

Теперь Сережка мог хорошо рассмотреть гостей. Старшему было лет пятьдесят — пятьдесят пять. У него уже много было седых волос, и в усах тоже вкрапились сединки. Отец Шалвы был моложе лет на десять, усики

* Г а м а р д ж о б а т ! — Здравствуйте!

у него были поаккуратнее, потоньше, что ли. Зурабу, наверное, исполнилось лет двадцать. Он был очень красив, черные волосы отливали синевой, усы тонким шнурочком легли по краю верхней губы.

Валентин Иванович вдруг протянул Шалве руку и проговорил:

— Поздравляю тебя, Шалва!

«День рождения!» — подумал Сережка, а кто-то так и шепнул громко:

— Ребя, у Шалвы день рождения.

Но Шалва удивленно пожал руку, даже «спасибо» забыл сказать. По всему было видно, что он ничего не понимал. Тогда Валентин Иванович сказал:

— Ребята, у Шалвы Бадурашвили большой праздник...

«Так и есть. Про свой день рождения забыл», — улыбнулся Сережка.

Валентин Иванович взглянул в плотный лист бумаги, который держал в руке вместе с газетой.

— Республиканский совет пионерской организации Грузии награждает Шалву Бадурашвили Почетной грамотой...

Все притихли, посмотрели на Шалву, а потом — снова на Валентина Ивановича.

Врач продолжал:

— В Почетной грамоте сказано так: за мужество и находчивость, проявленные при спасении детей. — Он повернул грамоту лицом к ребятам и показал ее, сделав круговое движение рукой. — А вот газета. К сожалению, я не смогу прочитать вам, что здесь написано о Шалве: газета на грузинском языке. Но вот статья, вот портрет нашего Шалвы. Его брат Зураб перевел мне эту статью.

Валентин Иванович начал пересказывать то, что было написано о Шалве в грузинской газете. Сережка слушал, и его воображение в подробностях рисовало ему все случившееся...

Сережка видел Хидистави — небольшой поселок среди гор. Внизу на склонах раскинулись виноградники, а еще ниже бежит быстрый поток, из которого, как спины живых существ, торчат гладкие валуны. Он даже услышал, как шумит эта неширокая речка, потому что все заполнила в горах нетронутая тишина.

Но вот к шуму реки стал примешиваться звук мотора. Это шофер Арчил привез в лавку новые товары.

Грузовик Арчила ждали многие. Седой, согнувшейся старухе — бабушке Даро были обещаны спицы, потому что уже целую неделю проискала бабушка одну из своих спиц, но так и не нашла: может, в щель провалилась проклятая спица, а как вязать без нее! Бригадир Георгий нужна была белая нейлоновая рубашка сорок третьего размера: у него свадьба через две недели. А у Шалвы Бадурашвили кончились тетради в клетку, а где их взять — у других ребят они тоже кончились. В общем, машину с товаром ждали многие жители поселка. Но ждали вчера. Да она не пришла. Что-то там сломалось по дороге. Арчил заночевал в пути. И вот лишь сегодня добрался он до Хидистави.

Это был час обеденного перерыва. Продавца Андроника в лавке не оказалось. А уж если Андроник уйдет обедать — все знают: одним часом дело не обойдется. Сколько нужно съесть тарелок харчо, сколько поглотить хинкали*, чтобы набить такой живот, как у дядюшки Андроника! А когда живот набит, попробуй-ка быстро встань да пойдешь на работу. Вот поспать часок — это гораздо легче.

Увидев, что лавка на замке, Арчил не стал дожидаться, пока Андроник вернется с обеда. Он сам поехал к продавцу. И правильно сделал, потому что Андроник уже пообедал, вышел в сад, бросил наземь овечью шкуру и подставил свой живот под лучи нежаркого октябрьского солнышка. Налюбовавшись плодами айвы, которые висели вокруг и ярко светились, словно кусочки солнца, Андроник закрыл глаза. И сразу же ему не повезло: стало сниться, что приехал Арчил и стоит над ним, и трясет, и велит подниматься и идти в лавку. Чтобы избавиться от этого неприятного сна, Андроник потряхнул головой, приоткрыл на миг глаза и увидел перед собой Арчила.

— Вставай, вставай, — говорил Арчил. — У меня нет времени.

Шалва первый узнал, что приехала машина, потому что его дом был по соседству с домом дядюшки Андроника, и, узнав это, он тут же отправился к лавке. Вскоре туда пришли и другие покупатели. Собралась и малышня. Прибежал Реваз — шестилетний сын Арчила — со своим приятелем Гиви. И даже правнук бабушки Даро, которому было четыре года, но которого все уже

* Хинкали — грузинское блюдо, разновидность пельменей.

звали красивым и звучным именем Автандил, тоже вертелся возле лавки.

Машину разгрузили быстро. Все зашли в лавку, но Андроник пока никому еще не отпускал: вместе с шофером он смотрел в какие-то бумажки и проверял, сколько чего завезли.

— Арчил, — спрашивал кто-то, — камни для зажигалок привез?

— Привез.

— А чулки?

— Есть чулки.

— Без шва?

— Тише! Тише! — закричал Андроник, оторвавшись от бумаг. — Работать не даете.

Все смолкли, но ненадолго.

А тем временем Реваз, сын Арчила, влез в кабину машины и сказал своему приятелю Гиви:

— Садись, подвезу.

Гиви сел рядом.

— Поехали, — сказал Реваз и взялся за руль. — Включаем первую скорость.

На самом деле он ничего не включал, так как отец строго-настрого запретил ему чего-либо касаться. Разве лишь на руль можно положить руки и то не крутить. Реваз это хорошо помнил. С отцом шутки плохи.

Игра продолжалась.

— Мне до Телави, — сказал Гиви. Он хоть и не был там ни разу, но слышал, что Телави — большой город, намного больше, чем их поселок.

— Хорошо, — отозвался Реваз, — через два часа будем.

— Меня возьми. Я хочу ехать, — услышали они тут голос Автандила.

Как он остался на улице без бабушки Даро, было непонятно. С Автандилом всегда что-то случалось: то гуси зашиплют, то на заборе повиснет, то еще что-либо, и поэтому бабушка Даро старалась не отпускать от себя Автандила ни на шаг. Но тут, видимо, бабушке уж очень не терпелось узнать, привез ли Арчил спицы, вот и упустила она своего правнука.

— Ладно, — сказал Реваз, — возьмем, пусть садится.

Автандил примостился с краю и захлопнул за собой дверцу.

— Поехали, — произнес Реваз. — Включаем первую скорость. — И опять, конечно, не включил.

Но Автандил не хотел чувствовать себя просто попутчиком в этой машине. Он сразу же решил, что именно он — шофер, а не кто другой. И Автандил с силой, на какую только был способен, схватился за торчащий слева от него рычаг.

Это оказался ручной тормоз. Машина, стоявшая на некрутом уклоне, плавно двинулась вниз.

В магазине к этому времени обстановка накалялась. Покупатели понемногу снова стали спрашивать у Арчила:

— Слушай, транзистор привез?

— Привез.

— А батарейки?

— Батареек нет.

— Слушай, когда батарейки будут?

— Не знаю.

Шалва тоже спросил:

— Дядя Арчил, а тетрадки привезли?

— Привез.

— В клетку?

— Замолчите вы или нет? — закричал Андроник. — Сейчас всех выгоню к чертовой матери...

Снова все примолкли, а Шалва решил выйти: что толку стоять за спинами у взрослых, к прилавку все равно пока не пробьешься.

Он вышел на крыльцо. Потянулся, расправил плечи.

И вдруг увидел, как машина Арчила сама по себе, с выключенным мотором тронулась с места.

Шалва протер глаза. Машина катилась под уклон, постепенно набирая скорость.

— Эй! — крикнул Шалва и заметил, как из кабины с его стороны показалась и вновь исчезла голова Реваза. — Эй, что делаешь! Стой! — крикнул опять Шалва, но Реваз больше не показывался.

Машина уже сошла с дороги, покатилась по ровной площадке. Шалва похолодел, площадка заканчивалась обрывом. Там, по его дну, бежал среди валунов ручей.

Шалва кинулся вслед за грузовиком. Задыхаясь, он вскочил на подножку, распахнул дверь.

Первым, кого он увидел, был Реваз. Мальчишка держался за руль и испуганно смотрел вперед.

— Прыгай! — заорал ему Шалва, но тот лишь смог отпустить руль, а с места не двинулся.

Тогда Шалва схватил его за пояс и вышвырнул из кабины. Потом он вытолкнул и Гиви.

Оставался Автандил.

— Иди, иди сюда! — кричал Шалва и дергал его к себе.

Автандил от страха был ни жив ни мертв. Он вцепился в край дверцы, которая была с его стороны, и Шалва никак не мог оторвать его.

Тогда Шалва, забравшись в кабину, с силой распахнул ту, вторую дверцу, и Автандил вылетел из машины прочь.

Почти в то же мгновение грузовик ухнул вниз. Выпрыгнуть Шалва не успел.

Первым пришел в себя Реваз. Утирая разбитый нос, он встал, взглянул на то место, где только что был отцовский грузовик, и побежал к лавке. Вслед за ним с плачем и воплями бросились Гиви и Автандил.

Через минуту в лавке никого не осталось.

Лишь бабушка Даро, у которой сразу же подкосились ноги, сидела на ступеньках крыльца, прижимала к себе плачущего Автандила, покачивала его, словно младенца, и шептала:

— Господи... господи...

Когда Шалву доставили в больницу, выяснилось, что у него серьезно поврежден позвоночник.

...Голос Валентина Ивановича смолк. В палате было тихо. Никто ни о чем не спрашивал.

Сережке казалось, что он все еще находится там, в далеком грузинском поселке. Смирно стоят седые горы. Зреет на деревьях желтая айва. Не спеша бредут по улице гуси. Тишина вокруг разлилась, тишина.

И как взрыв, как гром, грянул голос: «Прыгай!.. Прыгай!..»

— Первая операция не принесла результатов, — заговорил Валентин Иванович.

Седые горы подернулись дымкой. Исчез поселок Хидистави. Замерло эхо.

Сережка увидел стены и потолок своей палаты. Лампу под колпаком. Гнутые спинки белых кроватей.

— Потом Шалва поступил в нашу больницу, и вы знаете, что здесь ему сделали вторую операцию. Последние рентгеновские снимки нас радуют. Думаю, что к осени Шалва встанет на ноги.

Приехавшие гости молча сидели на табуретках, смотрели, как и все, на Валентина Ивановича, а когда врач

кончил говорить, отец Шалвы встал, слегка поклонился и сказал:

— Спасибо, доктор.

— Нам, конечно, было известно, — продолжал Валентин Иванович, — что Шалва с машиной упал в овраг. Но мы не знали, при каких обстоятельствах случилась авария. То, что сделал Шалва Бадурашвили, — это подвиг. Настоящий подвиг.

— Правильно говоришь, сынок, — произнес Арчил, кивнув головой. — Сцореа*.

Сережка подумал, что Валентин Иванович, хоть и молодой человек, все же смутился или рассердился, что к нему обратились при всех на «ты», но врач улыбнулся, подошел к кровати Шалвы и передал ему грамоту.

— Еще раз поздравляем тебя. — И он опять пожал Шалве руку.

— Спасибо, — сказал Шалва и покраснел.

Все тогда закричали: «Поздравляем, Шалва!» — хлопали, забили в ладоши.

В дверь заглянула Евдокия Никитична.

— Никак артисты приехали? — спросила она, вглядываясь в гостей и переступая порог.

— Нет, — сказали ей, — это к Шалве.

Евдокия Никитична удалилась. Следом за ней вышел и Валентин Иванович.

Шалва немного подержал грамоту в руках и хотел было убрать ее, но Колька попросил:

— Покажи.

И грамота пошла по ряду.

Зураб что-то тихо сказал отцу, и тот, проговорив: «Совсем забыл», полез в карман. Он вынул и протянул Шалве маленькую коробочку.

— Возьми. Это тебе от поселкового Совета.

В коробочке оказались часы.

— Могцонс? ** — спросил шофер.

— Нравятся, дядя Арчил. Мадлобт***.

После того как были вручены часы, гости стали выкладывать перед Шалвой целую гору подарков.

— Мать шлет тебе сладости, — сказал Зураб и вынул из сумки большой сверток. — Здесь чурчхела и го-зинаки. Еще она думает, что ты соскучился по ее хачапури. — И выложил целлофановый пакет с лепешка-

* Сцореа — правильно.

** Могцонс? — Нравится?

*** Мадлобт. — Спасибо.

ми. — А в этой банке сациви. Ну что испугался? Ты ведь давно не ел сациви.

— Давно, — проговорил Шалва, — но зачем так много? Это же не банка, а ведро.

— Друзья помогут. — Зураб кивнул на ребят.

И дядюшка Арчил сказал по-русски:

— Канэчно, помогут. Такой вкусный сациви.

Сумка Зураба опустела. Шалва облегченно вздохнул, но теперь полез в свою сумку отец.

— Вот, — сказал он, и в его руках тоже появился пакет. — Бабушка Даро шлет тебе мчади. Говорит, ты их съешь и быстро поправишься. А еще она связала тебе носки. Говорит, станешь на ноги в ее носках, и легко тебе ходить будет.

— А это что? — с ужасом спросил Шалва, увидев в руках отца еще одну здоровенную банку.

— Продавец Андроник шлет. Ты знаешь, у него самая лучшая айва.

— Знаю. Ну и что?

— Жена его Мзия сварила тебе варенье.

— Зачем? — взмолился Шалва.

— Чай пить, — пожал плечами Зураб, — зачем же.

— Не возьму, — попробовал отказаться Шалва.

— Назад не повезем, — проговорил отец. — Андроник обидится.

Шалва вздохнул.

Потом из сумки Арчила появились груши от бригадира Георгия, орехи от почтальона Сандро и яблоки от тетушки Нателы.

— Зачем столько? — замахал руками Шалва. — Вся палата столько не съест.

— Постараетесь — съедите, — успокоил его Зураб.

Но вот на свет были извлечены последние гостинцы. И тогда с самого дна сумки гости достали еще два подарка.

Один из них — старинный кинжал — был прислан дедушкой Отаром. Он приходился прадедом Гиви, которого Шалва вытолкнул из кабины грузовика.

— Отар его очень берег, — сказал отец, передавая кинжал Шалве. — И ты береги. Ему двести лет.

Снова в палате наступила тишина. Все смотрели, как Шалва дрожащей от волнения рукой вынул кинжал и опять вложил его в ножны. Никто не решился попросить Шалву показать этот кинжал.

— Отвезите его домой, — проговорил Шалва. — Я буду беречь его, скажите дедушке Отару.

Вторым подарком оказался бинокль. Это была тоже не новая вещь. Краска на его корпусе кое-где облезла, и было видно, что бинокль немало послужил кому-то в свое время.

— Аиге, шени икос. Ес Ванос биноклиа *, — глухо сказал Арчил.

Лицо его посуровело, резче обозначились морщины.

Что он сказал? Из его слов Сережка разобрал только два: «Ванос биноклиа». Наверное, этот бинокль принадлежит Вану. Кто такой Ван? И почему так изменился Арчил? А Шалва? Он как-то торжественно притих. Бинокль он не рассматривал с таким любопытством и так нетерпеливо, как кинжал. Он лишь коснулся его ладонью и попросил положить в тумбочку. Может, нет больше Ван?

Сережка задумался.

А пока он размышлял, Зураб принялся разносить гостинцы. Ребята стеснялись, пробовали отказываться, как-никак человек-то посторонний угощает, но Зураб и слышать ничего не хотел.

— Бери, слушай. Почему не берешь? — Улыбался и смотрел прямо в глаза.

На тумбочках появлялись яблоки и груши, орехи и хачапури, чурчхела и мчади.

Зураб попросил Дикова, и тот принес из буфета тарелки и вилки.

— Будем кушать сациви, — объявил Зураб. Он брал из большой банки кусочки курятины, поливал их соусом из маленькой банки и вкусно причмокивал. По палате поплыл ароматно-пряный запах.

Ребята переглядывались и весело смеялись. Уже от одного этого запаха у Сережки потекли слюнки, а тут еще такое незнакомое звучное название — «сациви» да эти причмокивания.

Когда тарелки были розданы, Колька сказал:

— Диков, принеси хлеба.

— Зачем хлеба? — подскочил Зураб. — Сегодня вы в Грузии. Берите мчади... Нет, нет, — сказал он Кольке. — Это хачапури.

— Вот эту колбаску, что ли?

* Аиге, шени икос. Ес Ванос биноклиа. — Возьми его себе. Это бинокль Вану.

— Вах! — воскликнул Зураб. — Это же чурчхела! Сладкое.

Шалва засмеялся: ну как мчади можно перепутать с чурчхела? И все смеялись тоже, но по другой причине: действительно, с виду ни дать ни взять охотничья колбаска (даже нитка торчит из хвостика), а оказывается — сладкое.

Пришлось Зурабу показывать каждому, где хачапури — плоские пирожки с начинкой из сыра, где мчади — кукурузные лепешки, испеченные бабушкой Даро, где чурчхела — скорее уж не колбаска, а конфета, приготовленная из орехов, нанизанных на нитку, и густой вишнеградской патоки.

«Девяткинцы» повторили за Зурабом все эти слова, потом, когда он отходил от кровати, начинали вспоминать, что к чему относится, ошибались, спорили друг с другом.

Прибежавшая на шум Евдокия Никитична заглянула в палату и сказала:

— Праздник! Как на Новом годе!

— Как в Грузии, — поправили ее ребята.

— Не знаю, не бывала.

Ей тоже дали яблок и груш.

— Скоро ужин. Небось есть не будете, — добродушно проворчала она.

— Не будем.

— Вот я вам! — проговорила Евдокия Никитична и ушла.

Сациви всем очень понравилось, особенно соус, — это от него и исходил удивительный пряный запах. Вкус этого соуса был совершенно ни на что не похож. Из чего он был сделан, Сережка понять не мог. Разве лишь измельченный грецкий орех сумел различить.

Гости тоже закусили. А еще они достали банку гранатового сока. Зураб открыл крышку и налил вначале дядюшке Арчилу.

Арчил, обращаясь ко всем, заговорил по-грузински. Голос его звучал глухо, во фразах был какой-то ритм. Казалось, будто Арчил читает стихи. Закончив, он обвел взглядом палату и выпил.

Зураб стал переводить.

— У нас в горах много солнца. Солнечным зовут наш край. Но, бывает, приходит черная туча и закрывает солнце, закрывает небо. Землю хлещет град. Он ломает побеги и губит плоды. А уйдет туча, и берет че-

ловек лопату — опять копает землю, опять сажает. Знает человек: редко приходит черная туча. Нужно верить в свои силы, тогда солнце человеку поможет. — Зураб посмотрел на Арчила: — Ме според влапаракоб? *

— Хо **, — кивнул Арчил.

— Черная туча, под которой вы оказались, уходит. А вам нужно верить в себя. Скоро появится солнце. За ваше здоровье, дорогие. Генацвале, гагимарджот! ***

«Ну и тост!» — подумал Сережка. Ему приходилось бывать за праздничным столом, но там говорили коротко: «С праздником», или «С Новым годом!», или еще что-нибудь короткое. А здесь что-то вроде песни или сказки. Может, он поэт, дядюшка Арчил?

Зураб снова взял банку и налил отцу. Тот сказал по-русски:

— Мой товарищ, мой друг Арчил, вспоминал солнце. А я вспомнил горы. У нас есть пословица: «Вершины гор покрыты снегами, голова человека — заботами». Я хочу выпить за тех людей, которые здесь заботятся о вас, — за ваших врачей, сестер и нянечек.

После отца выпил Зураб. Он произнес:

— За то, чтобы вы сами увидели и солнце наше и горы. Будьте здоровы и приезжайте в Грузию.

Сережка услышал, как Шалва что-то тихо сказал своему брату, и Зураб заулыбался, но покачал головой: нет, мол, нет. Тогда Шалва сказал громко:

— Зураб хочет спеть, ребята. Никто не против?

Зураб сердито взглянул на него, но отец сказал:

— Правильно. Пусть послушают наши песни.

И Арчил тоже закивал головой.

Зураб начал петь. Песня была протяжная и грустная и вначале не очень понравилась Сережке, но вот к Зурабу присоединился отец, а потом и дядюшка Арчил, и песня полилась веселее. Снова Зураб остался один, и снова вступили отец с Арчилом. Так было несколько раз. «Наверное, припевы поют вместе», — подумал Сережка и вдруг заметил, что песня захватила и его, и он уже хочет, чтобы она не кончалась, а пусть бы дальше лилась и лилась. Она была как горный ручей, эта песня. Где-то он протекал спокойно и чуть журчал, а где-то его сдавливали камни, и тогда он поднимал голос, прорываясь сквозь них.

* Ме според влапаракоб? — Я правильно говорю?

** Хо. — Да.

*** Генацвале, гагимарджот! — За ваше здоровье, дорогие!

Сережка посмотрел на Шалву и увидел, что тот закрыл глаза. «Он сейчас у себя дома», — догадался Сережка.

Песня умолкла. Все захлопали, а Сережка сердито закричал: «Тише! Тише, вы! Перестаньте!» Но было уже поздно. Ребята нечаянно разбили своими хлопками все то, что изображала песня, — Шалва открыл глаза.

— Теперь «Мгзаврули», — попросил он.

И опять первым запел Зураб, а двое мужчин ему подпевали. Песня эта тоже оказалась очень приятной, и, когда она кончилась, Сережка спросил у Зураба:

— А «Сулико» вы знаете?

И все закричали: «Сулико!» «Сулико!»

Спели и эту песню.

Снова захлопали ребята, а когда успокоились, заметили вдруг Евдокию Никитичну. Она вытерла глаза и проговорила с укоризной:

— А сказали — не артисты. Эх, вы!

Так мальчишки из девятой палаты побывали в этот день в Грузии.

Перед ужином гости стали прощаться.

— Мале пехзе менахе амдгари, Шалико! * — поцеловал Арчил Шалву.

Затем отец коснулся усами щек Шалвы и сказал:

— Значит, осенью дома будешь.

— Как раз на ртвели ** попадешь, — добавил Зураб и тоже поцеловал брата.

После этого гости обошли палату и с каждым попрощались за руку.

— Гамоджамртелди, генацвале! ***

— Доброго здоровья!

— До свиданья! Нахвамдис! ***

И «девяткинцы» кричали им:

— Спасибо.

— До свидания.

— Приезжайте еще.

А Колька крикнул:

— Нахвамдис!

Гости ушли. Когда закрылась за ними дверь, Вовка Монахов сказал:

* Мале пехзе менахе амдгари, Шалико! — Скорее становись на ноги, Шалико!

** Ртвели — время уборки винограда.

*** Гаморджамртелди, генацвале. — Выздоровливай, дорогой.

**** Нахвамдис. — До свидания.

— Вот ты какой, Шалва! А помалкивал.
— Потому что не трепач, как некоторые, — вступился за Шалву Диков.
— Ты про меня, что ли? — откликнулся Колька.
— Хотя бы. У одних находчивость и мужество, а у других — треп.
— Скажешь, у меня нет находчивости? Я бы на тормоз нажал — и готово. Небось не знал, где тормоз, а? — спросил он у Шалвы.
— Знал.
— Чего ж не надавил?
— Растерялся, — ответил Шалва.
Колька недоуменно пожал плечами:
— А грамоту дали за находчивость.
— Правильно. И еще за мужество, — добавил Диков.

* * *

И последнее событие было после ужина: в больнице показывали кино.

Случалось это раз в две недели, а иногда и реже. Такой день был как праздник. Его ждали, о нем спрашивали по нескольку раз у воспитателей: «Вера Семеновна, а кино сегодня будет?» — «Будет, я же вам говорила». — «В прошлый раз тоже говорили, а не было». — «У механика проектор сломался». — «Он починил его?» — «Починил, починил». — «Вера Семеновна, а какая будет картина?» — «Какую привезут», — сердилась воспитательница.

Она знала, что лежащие больные будут рады любой картине. Даже плохой. И это было верно, потому что не только посмотреть кино можно было в такой день.

Фильм крутили в широком и длинном коридоре. Кровати со зрителями свозили туда из разных палат. Здесь были вместе мальчики и девочки. Здесь встречались знакомые и незнакомые. Здесь можно было обменяться книгами, узнать какие-то новости, да и вообще мало ли о чем можно поговорить со «свежим» человеком.

В тот день, когда должны были показывать кино, девочки с особой тщательностью поправляли прически, а мальчики, если сильно обрастали к тому времени, просили пригласить парикмахера Нахал Нахалыча.

Вообще-то парикмахера звали Михал Михалыч, но это был человек недобрый и насмешливый, за что и по-

лучил свое прозвище. Длинный, с маленькой лысой головой, он появлялся в дверях, упирал одну руку в бок (в другой был чемоданчик) и спрашивал: «Кто во мне нуждается?» Подстригал он весьма плохо, но всегда находил оправдания: «У тебя голова словно кочан капусты. Что тут сделаешь?» — или: «Ты все время вертелся, как флюгер, а Михал Михалыч виноват», или «У тебя, братец, волосы как проволока. Их нужно кусачками стричь». Иногда Нахал Нахалыч приходил с фотоаппаратом и с лампами большой мощности. Фотографировал он не лучше, чем подстригал. И опять оправдания у него были. Чаше других в этом случае употреблялось: «Нечего на зеркало пенять, сам знаешь». При этом он улыбался и пожимал узкими плечами. Фотокарточки он никогда не переделывал, а деньги брал вперед.

Зная все это, Сережка не пользовался услугами Нахал Нахалыча, хотя успел за три месяца основательно обрасти. Сегодня он тоже стричься не стал: привезли, как выяснилось, картину «Король-олень», а он ее уже видел два раза, вот и решил остаться в палате.

Была у Сережки и другая причина, о которой он никому не сказал. Он торопился закончить и отослать к Восьмому марта новую картину. На картине этой был олененок, нарисовал его по Сережкиной просьбе Диков, а Сережка подбирал шпоны, резал их и клеил. Предназначался олененок Саше Круговой.

Кроме Сережки, не пожелаали поехать в коридор Шалва и Третий. Шалве не хотелось никакого кино. После того как посидели с ним отец, брат и Арчил, ему и так было хорошо. Он лежал и мурлыкал какую-то грузинскую песенку.

Владимир Третий не поехал потому, что именно «Король-олень» был тем самым фильмом, после которого он угодил в открытый люк. Угодил, несмотря на то, что перед люком стояла на трехлапой проволоочной распорке надпись «Осторожно». Конечно, идти (то есть теперь уже ехать на кровати) смотреть еще раз эту картину на месте Третьего никто бы не захотел.

— Ты что же, не любишь кино? — спросил у него Сережка, после того как Диков вывез в коридор всех желающих.

— Люблю.

— А что же не поехал? Ты не стесняйся. Я сейчас позову сестру или Дикова, тебя вывезут.

— Не нужно, — проговорил Третий, снял очки и стал их протирать.

Вид у него был жалкий, и Сережка подумал, что Третий просто загрустил, попал в новую обстановку, да еще в больницу, и загрустил. С Сережкой поначалу так тоже случалось. Он отложил в сторону нож и шпоны, которые начал было резать, и сказал Третьему:

— Сыграем в шашки?

— Давай, — равнодушно отозвался новенький.

Они сыграли, и Сережка увидел, что Третий в шашках сущий слабак. Сережке пришлось несколько раз «зевнуть», чтобы партия закончилась вничью. «Нет, — подумал он, — так его не развеселишь, да и картину нужно делать».

— А хочешь, — предложил Сережка, — почитать про шпионов?

— Давай.

Сережка дал ему книгу, что привез Женька, «Записки майора Зорина», и Третий тут же уткнулся в нее — страницы так и зашелестели.

Шалва все напевал свою песенку, а потом попросил, чтобы Сережка вынул из тумбочки бинокль, и стал его осторожно рассматривать.

Сережка вспомнил, как посуровело лицо Арчила, когда он передавал этот бинокль Шалве.

— Шалва, покажи бинокль, — попросил Сережка.

— Бери, — не сразу ответил Шалва. — Только не урони.

— Можешь не давать, — обиделся Сережка.

Шалва его понял. Он сказал:

— Мне не жалко, не думай. — И добавил: — Это бинокль Ваню. Он был пограничником.

Сережка взял бинокль в руки.

— А кто этот Ваню?

— Старший сын Арчила. Он несколько лет служил на восточной границе, а потом...

— Что потом?

Шалва рассказал, что Ваню был смертельно ранен в ночном бою с нарушителями. «Сын ваш, — говорилось в письме Арчилу с заставы, — погиб геройски. Он отстреливался до последнего дыхания, но не пропустил врага». Арчил ездил хоронить сына. Домой он вернулся поседевший, привез орден и бинокль.

— Ты знал Ваню? — спросил Сережка.

— Конечно. — Шалва немного помолчал. — Он был добрый. Я помню, бежал мимо их дома, а там слива над забором растет. Очень вкусная слива, понимаешь?

— Понимаю.

— Я оглянулся: никого нет. Стал на забор лезть — сорвался. Вдруг кто-то — раз! — схватил меня. Я повернул голову — Ваню держит. Пропал, думаю. Он поднял меня вверх. «Рви», — говорит. Я не рву: боюсь. «Рви, — кричит, — не бойся. А надо будет, еще приходи».

— Добрый, — согласился Сережка. — А как же ты на забор не смог залезть?

— Сколько мне было, знаешь? Шесть лет. Теперь я бы сам не полез. Давно это было. А своего маленького брата Ваню и не видел.

— Реваза? — спросил Сережка.

Шалва кивнул.

— Все хотел приехать, посмотреть. Не получилось.

Сережка осторожно передал бинокль Шалве и опять стал резать шпоны для своего олененка.

В коридоре шел фильм, и сквозь двери долетали то чьи-то слова, то музыка, то сухой треск повидавшего виды динамика.

Так заканчивался этот больничный день.

— Знаешь, — сказал Шалве Сережка, — когда я сюда ехал, думал, помру с тоски.

— И я думал: все лежат тихо, как в могиле.

— И кругом тоже тишина, как на пустынном острове, — добавил Сережка.

— И от нас все далеко-далеко, — сказал Шалва.

— Не слышно шума городского.

И они засмеялись.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

о двух телеграммах

Сережка отправил свою картину по адресу Генки. Вместе с картиной ему было послано и письмо, а точнее — инструкция, в которой разъяснялось, как нужно действовать.

«Генка!

Посылаю тебе эту картину. Вернее, не тебе, а Саше Круговой. Только ты не обижайся, потому что для тебя

я тоже сделаю. А эту отнеси Круговой. (Вначале Сережка написал «вручи», потом зачеркнул и поставил рядом «передай», но и второе слово пришлось в конце концов изменить.) Ты не подумай, что это хохма, и никому не рассказывай. Я бы не стал тебя впутывать, но без обратного адреса посылку не принимают, а я не хочу, чтобы Кругова знала, от кого эта картина.

Сделать нужно вот так. Седьмого марта сразу же после уроков дуй к дому Круговой. Этот дом я тебе как-то показывал. Квартира ее 37. Бегом нужно для того, чтобы попасть туда раньше Круговой. Занесешь картину, скажешь: «Просили передать Саше» — и все. Не говори, кто да что, а сразу же сматывайся. Скажи, извините, мол, дел полно, нужно бежать. Да, поздороваться, конечно, не забудь. Если у Саши никого не будет дома, передай соседям. Словом, сообрази сам.

Ну вот и все. Напиши мне тут же, как провел эту операцию.

Мои дела идут на поправку. Наш врач Валентин Иванович сказал, что если так будет продолжаться, то через месяц-другой меня поставят на ноги.

Что нового в школе? Всем привет.

Твой Сережка Овсянников».

Отослав посылку, Сережка стал ждать Генкиного письма.

Восьмого марта почтальон дядя Гриша принес в больницу целый ворох писем, открыток и телеграмм.

Почту всегда забирали и разносили ходячие. Но Диков в своей палате заявил:

— Сегодня все девчонкам достанется. Чего попусту ходить?

— Сходи, сходи, — шутливо сказал Колька, — может, и нас кто поздравит.

— А! — махнул рукой Диков. — Все равно делать нечего. — И пошел.

Вернулся он сияющий. В глазах сверкали голубые искры.

— Точно! — закричал он с порога. — Поздравляют нашего Сереженьку.

Он подошел к Сережке и спросил:

— Петь будешь?

Но Сережка на его удочку не клюнул.

— Пойщи других дураков, — сказал он, подумав,

что Генкино письмо дойти не успело бы: только вчера тот должен был передать картину. Родители? От них Сережка получил на днях и еще не ответил, а уговор был такой: письмо на письмо (чтоб Сережка не ленился), — да и приезжали они нередко.

— Как хочешь, — проговорил Диков, — я могу подождать. Тебя кто-то спешил поздравить, а не меня. Телеграмку отстучали.

— Телеграмма? — подскочил Сережка. — Врешь!

— А это что? — Диков вынул из кармана заклеенную телеграмму. — Споешь?

— Не мне телеграмма, — как-то чересчур спокойно заметил Сережка.

— На-ка, взгляни. — Диков поднес ее поближе, а Сережке это только и нужно было: с неожиданной быстротой он выкинул руку, и телеграмма, хоть и помятая, оказалась у него.

— Нечестно, — обиделся Диков.

— Я пою только хором, — сострил Сережка.

— Прочитал хотя бы.

— Отойди на пять шагов.

Диков удалился. Сережка вскрыл телеграмму, и в глазах у него потемнело.

— Что, — спросил Диков, — поздравляют?

— Поздравляют. — Сережка попробовал улыбнуться.

— С женским днем? — вмешался в разговор Колька.

— С женским.

— И мы тебя поздравляем, — сказал Диков.

— Спасибо. И вас также. А подарки где?

Телеграмма была от Генки: «Посылку передал встретился Сашей подробности письмом».

Встретился с Сашей! Нет, такого Сережка не ожидал. Ну какого дьявола нужно было встречаться?! Ведь яснее ясного написал: «Не хочу, чтобы Кругова знала».

А Генка! Вот простофиля!

Подробности письмом. Зачем теперь эти подробности?

Так все испортить! Надо же! Хороша телеграмма. Тут уж не только не запоешь, а скорее зубами заскрежешь от досады.

Он старался отвлечься и прийти в себя. Но ни о чем другом думать он не мог. И вдруг вспомнил еще про одну телеграмму, которая тоже доставила ему и Генке массу беспокойства.

Все было прекрасным в тот апрельский день прошлого года: и солнце в голубом небе, и новенький волейбольный мяч, которым обыграли соседей на большой перемене, и помощник режиссера, который вдруг появился на уроке истории и стал подыскивать мальчика с «грустным и задумчивым взглядом» на какую-то главную роль (нет, в классе такого не оказалось, зато урок был сорван, и Клавдия Сергеевна никого не успела спросить).

А как заливался последний звонок! Еще бы — он возвещал о том, что гулять три дня подряд — Первомайские праздники плюс воскресенье. Ах, звоночек, дорогой! Вот это музыка! Вот это сила! В одном порыве все сорвались с парт, кинулись было к двери, но...

— Спокойно, ребята. Спокойно. Сядем по местам. Я вас надолго не задержу. — В дверях стояла вожатая Нина. До чего же она старалась подражать завучу. «Спокойно... спокойно...» Даже оправу для очков достала такую же, как у завуча. — Понимаю, что вы спешите домой. Но встретить праздник славными делами будет вам еще радостнее. Итак, первое звено займется уборкой территории на пришкольном садовом участке.

— А грабли есть?

— Найдутся, Заворыкин. Сиди спокойно.

— А лопаты?

— Даже если б не было, я принесла бы их для тебя из дома. — Нина строго сверкнула стеклышками очков.

— А для меня? — спросил второгодник Кленов.

Но на него все зашумели. Хватит, мол, время терять. Скорей за работу — и по домам. Словом, первое звено дружно потопало за инвентарем, и все с завистью смотрели ему вслед: в саду-то в такой денек одно удовольствие поработать. Интересно, что ждет остальных?

— Второе звено будет грузить макулатуру. Со склада звонили, машина уже вышла. Вот-вот прибудет.

Это задание тоже ничего. Покидать в грузовик пачки с макулатурой — дело быстрое. Раз-два, и готово. Второе звено тотчас же двинуло из класса.

А что достанется последним?

— Третьему звену предстоит самая ответственная работа...

Все замерли.

— ...в эти предпраздничные дни очень нелегко приходится почтовым служащим: идет большой поток писем и телеграмм. Давайте поможем почте. Поработаем у них час-другой.

Сережка и Горовой переглянулись. «Ничего себе — час-другой!» — «Ладно, там видно будет. Может, через полчаса смотаемся».

Вожатая, словно прочитала все по их лицам.

— Чтобы облегчить вашу участь, — сказала она, — я тоже пойду на почту и тоже буду помогать.

— Спасибо, — вежливо произнес Генка, — мы уж как-нибудь сами справимся.

— Да что там особенного? — поддержал друга Сережка. — Сортировать письма — для нас все равно что семечки шелкать.

— Вот и отлично, — сказала Нина. — Поучите меня. Идемте.

Почта была рядом со школой, и минут через десять звено уже тонуло в ворохе писем, открыток и телеграмм.

Все они были с яркими цветными рисунками на конвертах и бланках. Сережке даже казалось, что они звучат, что они наполнены веселой музыкой и что от них пахнет цветами.

Нет, Нина — голова: толковое дело придумала.

И люди на почту тоже приходили оживленные, с блеском в глазах, с улыбками.

Два часа пролетели незаметно, и даже было удивительно, когда подошла вожатая и сказала:

— Молодцы, ребята. Хорошо поработали.

Почтовые работники благодарили, жали всем руки:

— Вот спасибо! Вы нас просто выручили.

А тут еще выяснилось, что начальник почты хочет угостить помощников чаем с конфетами. Ребята, конечно, стали для приличия отказываться: да что вы, мол, разве вы из-за конфет старались, это мы так по собственному желанию. Но все же их напоили чаем с конфетами. И это было очень здорово, а обычные карамельки показались вкуснее шоколада.

Когда звено вместе с Ниной вышло на улицу, Сережка вдруг заметил женщину, которая бежала к почте. Второпях она даже не застегнула легкий синий плащ, который накинула прямо на домашний халат. Наверное, она уловила Сережкин взгляд, потому что остановилась именно возле него.

— Послушай, — сказала она и протянула листок бумаги и два рубля, — нужно отправить срочную телеграмму. Ты сможешь? — А сама прямо всовывала ему бумажку и два рубля.

Он как-то растерялся, лишь заметил, что лицо у женщины осунувшееся, глаза красные и рука дрожит.

— У меня маленький мальчик заболел. Не с кем оставить его... Ну ты сможешь?

— Конечно, сможет, — вмешалась Нина. — Бери, Овсянников, деньги и мигом, а мы тебя подождем.

Сережка даже рассердился на Нину: разве он отказывается, вот раскомандовалась, он и без нее вернулся бы на почту, раз такое дело.

— Спасибо, — сказала женщина, взглянув на вожатую, и кинулась назад.

— Не за что! — ответил Сережка и побежал на почту.

Там он взял бланк и стал переписывать на него с бумажки: «Улица Чехова 5 квартира 14 Беловым. Срочно сообщите рецепт доктора Корабельникова. Заболел Алеша».

— Мальчик, — приемщица вернула ему бланк в окошко, — что ж ты не указал города?.. Ну куда отправлять телеграмму?

В самом деле — вот так история! Гёнка Горовой, наверное, сразу же, как только получил листок, все прочитал бы, обнаружил неточность в адресе, расспросил бы женщину и — полный порядок, телеграмма была бы отправлена. Генка расторопный, не то что...

— Написал? — спросила приемщица. — Давай.

Но Сережка лишь махнул рукой и побрел к двери.

Когда он подошел к ребятам, вожатая заметила:

— Вот видишь, Овсянников, и ты можешь все быстро сделать, если постараться.

Однако по его кислому виду она поняла, что что-то случилось.

— Да, -- произнесла Нина после того, как он рассказал о злополучном адресе, — тут уж ничего не поделаешь. Идите, ребята, домой.

Все пошли, но Сережку Горовой придержал.

— Послушай, каждое дело нужно доводить до конца.

— Открыл Америку! Да ты знаешь, в скольких городах есть улица Чехова? Куда ж ты телеграмму отправишь?

— Туда, куда нужно. Только вначале разыщем женщину.

— Обратного адреса она не оставила. — Сережка вынул листок и протянул его Горовому, но Генка даже смотреть не захотел.

— Она живет в том доме! — Он показал на высокий блочный дом, который стоял на противоположной стороне перед сквером.

— Ты откуда знаешь?

— Догадываюсь. Она бежала в том направлении.

— Ну и что?

— Ведь она торопилась, так?.. Значит, она живет поблизости. Сквер большой. Если бы она жила за сквером, то это по крайней мере через две остановки. Выгоднее подождать троллейбус, чем бежать.

— А почему именно в том доме?

— Тут уж совсем просто. Смотри, первый дом — кондитерская фабрика, второй — универмаг, третий — еще недостроен, значит, тоже там не живут. Остается последний дом перед сквером.

— Гениально! — вырвалось у Сережки.

— Ладно уж. — Горовой скромно посмотрел себе под ноги. — Побежали.

Возле подъезда они чуть перевели дух. Предстояли грандиозные поиски.

— Послушай, а почему ты всем не сказал? — спросил Сережка. — Мы бы все вместе скорее разыскали: смотри, дом-то какой здоровый.

— Да потому, что спорщики все большие. Попробуй каждому докажи. К тому же искать человека — дело тонкое. Ринемся гурьбой — только следы запутаем.

Ишь ты как выражается — «следы запутаем». Следопыт нашелся. Но вслух Сережка ничего такого, конечно, не сказал.

Двенадцатизэтажный дом они разделили поровну: шесть этажей Горовому, шесть — Сережке.

— Значит, так, — сказал Горовой, — действуем следующим образом. Звонишь, а как подойдет, спрашиваешь: «Здесь не живет женщина в синем плаще?» Если не подойдут — стучи в дверь кулаком. — В Генкином голосе зазвенел металл.

— Зачем же еще стучать?

— А вдруг звонок испортился или просто он тихо работает, и его почему-то не слышали. Допустим, стоял человек под душем, мылся. Все нужно предусмотреть.

Подозрительные квартиры запомни, а еще лучше запиши.

— Это какие же подозрительные? — спросил Сережка и сразу же пожалел: Горовой и так уже начинал важничать, вошел в роль Шерлока Холмса.

— Ну, в которых ответ будет почему-то неясным. Обсудим это на шестом этаже при встрече. Операция «Телеграмма» началась. — Он взглянул на часы, стал отсчитывать: — Пять... четыре... три... два... Пуск!.. — Генка нажал на кнопку, вызвал лифт. — Ты идешь к первой квартире, я поднимаюсь к последней.

Подошел лифт. Горовой открыл дверцу.

— Успеха! — Он протянул руку.

— Всего! — машинально ответил Сережка.

Встретились они не на шестом этаже, а на пятом.

— Я заодно и твой этаж прочесал, — произнес Генка снисходительно. — Не обижаешься?

— Сверху идти легче.

Горовой спорить не стал.

— Как результаты? — спросил он.

— Есть одна женщина в синем плаще. Не та. Живет в девятнадцатой квартире.

— Я тоже двух обнаружил, но... — Горовой развел руками. — Наша как сквозь землю провалилась. А что подозрительного?

Честно говоря, ничего подозрительного Сережка не заметил. В третьей квартире он, правда, на какого-то остряка, своего ровесника, наткнулся. Тот переспросил: «В плаще?» — «Ну, да!» — «В синем?» — «В синем!» — обрадовался Сережка. «А почему не в зеленом?» — засмеялся жилец дома. «Дурак! — Мальчишка замахнулся: — Вот как сейчас...» Но Сережка не двинулся с места. «От дурака слышу», — быстро проговорил остряк и захлопнул за собой дверь. Не рассказывать же об этом Горовому. Но кое-что у Сережки все же было записано на клочке бумаги.

— В трех квартирах не ответили, хотя там кто-то есть, — сказал Сережка и достал свои записи.

— Так, так. — Взгляд у Горового стал пронизательным.

— В пятой квартире тихий звонок. Наверное, не слышали, потому что шумел пылесос.

— Отпадает. Его бы не включили при больном ребенке.

Сережка тоже так думал, но сказал про пятую квар-

тиру лишь для того, чтобы Горовой видел: к своему делу Сережка отнесся внимательно, а не шалей-валяй.

— В одиннадцатой громко играла музыка...

— Какая?.. Не детские песенки? Ребенка могли развлекать.

— Нет. Пели: «Много женщин есть на свете...».

— «Сильва», — перебил Генка. — Не годится. Дальше.

— В шестнадцатой на звонок залаяла собака.

— Маленькая, большая?

— Не знаю. Мне через дверь не видно.

— По голосу можно определить. Как она гавкала?

— Громко.

Генка вздохнул:

— Не в том дело. Она могла отозваться солидным лаем, а могла и бестолково захлебываться.

— Она лаяла сердито, — сказал Сережка. — Но нам-то какая разница?

— Вот какая. Женщине, допустим, опять понадобилось выйти на улицу. Скажем, в аптеку. Умному солидному псу можно доверить ребенка, а дурной пустолайке — нет. Идем послушаем.

Сережка вновь позвонил в шестнадцатую квартиру. Собачий лай Горового не удовлетворил.

— Нет, — сказал он, — это глупая шавка. С такой ребенка не оставят.

Они помолчали. Нужно было что-то предпринимать, но Сережке в голову ничто не приходило.

— Какие будут предложения? — наконец не выдержал он.

Горовой не ответил. Он думал.

В это время на лестничной площадке остановился лифт, и из него вышла женщина с двумя сумками в руках. Она подошла к соседней семнадцатой квартире, принялась отпирать дверь ключом. Открыть не успела — дверь словно бы сама распахнулась.

— Саша! — воскликнули изнутри. — Наконец-то! Я тебя заждаюсь. Горчишники принесла?

— Принесла. Как Алешка?

Ответа расслышать было нельзя, потому что дверь захлопнулась.

Сережка с Горовым взглянули друг на друга. Нашли! Тут уж не могло быть никакого сомнения.

— Как же так? — проговорил Генка. — Ты здесь тоже спрашивал?

— Да. Спросил, не ходит ли она в синем плаще? Говорит — нет.

— Странно.

Горовой приблизился к двери, позвонил.

— Вы что, мальчики? — У порога стояла та, которую называли Сашей.

Наперебой они стали объяснять, но женщина не дослушала.

— Аня, — громко позвала она, — иди же сюда.

Ну, конечно, перед ними появилась та самая женщина.

Они опять начали свой рассказ, а Сережка достал бланк телеграммы. Но Аня тоже не дала им договорить.

— Голубчики... — кинулась она обнимать ребят, — разыскали... надо же! Не вы — так бы и ждала я напрасно. В Ленинград телеграмма-то.

— Теперь мы отошлем, не беспокойтесь, — сказал Горовой.

— Прямо сейчас. Вот и деньги ваши остались, — добавил Сережка.

— Да нет, нет, — говорила женщина, — теперь уж я сама, — и сняла с вешалки плащ.

Только он был не синий, а цвета кофе с молоком. Друзья опять переглянулись.

— У вас же был плащ синего цвета, — проговорил Горовой.

— Нет, — сказала она, — не было.

— А этот? — Генка так и подскочил к вешалке. — Вот же он висит.

— Это не мой. Сашин, моей сестры.

— Все ясно. — Горовой подтолкнул Сережку локтем. — Побежали на почту.

— Мальчики, мальчики... Я сама...

Но они уже мчались вниз по лестнице.

После того как телеграмму отправили, Сережка сказал:

— Генка, а все же нам повезло. Смотри, ну не встретили бы мы Сашу — и все, операция провалилась бы.

— Нет, — проговорил Горовой упрямо, — снова бы начали спрашивать.

— Да сколько можно спрашивать одно и то же?

— Зачем, — сказал Горовой, — теперь бы мы про телеграмму спрашивали. Я уже думал об этом, но тут как раз Саша появилась.

— Заводной ты, Генка!

— От заводного слышу.

Они рассмеялись.

А на ветру хлопали радостные флаги, и откуда-то летела радостная музыка, и друзьям тоже было радостно — очень, очень.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

в которой опять вспоминают про олеенка

И вот теперь снова история с телеграммой. Вернее — не с ней, а с Генкой.

Сережка хотел сразу написать своему другу ругательное письмо, но понемногу остыл, успокоился и решил ждать «подробности». Как-никак Генкино письмо должно прийти дня через два.

Однако «подробностей» Сережка не дождался. Не дождался потому, что... в больницу приехала Саша.

Она появилась на следующий день. Это было как раз воскресенье.

Саша вошла в палату, сказала:

— Здравствуйте!

И сразу же увидела Сережку.

Он растерялся и в первый момент подумал, что все у него в неприглядном виде — и одеяло как-то сбилось на одну сторону, и на тумбочке беспорядок. Но наводить красоту было поздно: Саша уже приближалась. В руке у нее была картонная коробка, перевязанная крест-накрест.

— Здравствуй! — проговорил он. — Как ты сюда попала?

Это было совсем не то, что он хотел спросить. Но что-то нужно было сказать, Сережка и сказал первое, что пришло в голову.

Саша правильно поняла.

— Как попала? Очень просто: вначале проехала на электричке, а потом немного на автобусе.

— Угу, — кивнул Сережка. — Ты садись. Бери вон табуретку.

Саша поставила коробку на тумбочку. А пока она ходила за табуреткой, он быстро поправил одеяло.

— Оброс как, — сказала она, вернувшись. — Или нарочно отрастил?

— Делать-то нечего.

— Ты не простужен? — Саша покосилась на широкую форточку.

«Что за вопрос? — подумал Сережка. — Тоже не знает, что сказать». И от этого почему-то почувствовал себя свободнее.

— Нет, не простужен.

— Я привезла тебе торт из мороженого. — Она улыбнулась и показала на коробку.

— Спасибо.

— А тебе спасибо за «Олененка». Может, его за окно положить?

— Что положить?

— Да торт.

— Нет, не нужно.

— Вон там к форточке как раз веревка привязана. Это не для такого случая?

— Нет. — Сережка тоже улыбнулся. — Мы веревкой форточку открываем.

— Интересно.

— Очень.

Они посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Саша спросила:

— А закрывается как?

— У нас Колька специалист по этому делу. Дернет веревку в одну сторону — форточка открывается, в другую — закроется.

— Изобретатели.

— А ты думала!

— Может, изобретете, чтобы торт не растаял? А то обидно...

— Проще простого: положить в холодильник — и все.

— У вас холодильник есть?

— Угу, в коридоре.

Саша встала с табуретки.

— Я схожу отнесу, — сказала она.

— Не нужно.

— Почему? Изобрел еще один способ?

— Конечно. Он тоже очень простой: съесть твой торт.

— Весь?

— Не справимся?! Народу-то вон сколько, — Сережка обвел взглядом палату.

— Верно, — обрадовалась Саша. — Где мне взять нож и блюда?

— Не беспокойся, — сказал Сережка и подозвал Дикова.

Через несколько минут «девяткинцы» пробовали и нахваливали Сашин торт.

Все шло хорошо. Даже слишком хорошо, если посмотреть со стороны. Но что могли знать со стороны?

«Неужели, — думал Сережка, — вот так поговорим о том о сем, поедим мороженого, пошутим — и до свидания?»

Ему очень хотелось спросить Сашу, почему она приехала, зачем. Но он не решался, да и случая подходящего пока не было. К тому же другие посетители еще не появились, и они с Сашей были сейчас как бы на виду у всех ребят.

Кроме торта, Саша привезла последний номер «Крокодила». В дороге она успела его посмотреть и теперь принялась показывать Сережке смешные рисунки. Он вежливо посмеивался, хотя не все казалось ему удачным и остроумным.

Но вот им попался рисунок с лыжной базой, на которой остались только одни сломанные лыжи. Под ним подпись: «В конце сезона».

Сережка спросил:

— На лыжах ходишь?

— Хожу.

Он почувствовал, как это «хожу» кольнуло его, словно иголка. Сережке представилась лесная просека, и солнце в голубом небе, и бегут на лыжах двое. Первая — Саша. Щеки ее покраснелись. Они пылают. Тронь их — и обожжешься. Только нет, не Сережка может коснуться этих щек. Вторым бежит тот «длинный», который бывает теперь с ней повсюду. И свитер на нем яркий-преяркий. И лыжи у него самые лучшие — финские. «Длинный» бежит неторопливо. Он легко может догнать Сашу: ноги-то вон какие. Но он догонит ее не здесь, не на просеке, а там, где лыжня повернет в синий еловый сумрак...

«Нужно у нее спросить о самом главном, — решил Сережка. — Будь что будет».

Он посмотрел на своих соседей: Шалва уткнулся в «Записки майора Зорина», Третий весело похихикивал,

повернувшись к Кольке. В очках его сверкали зайчики.

Сережка прислушался:

— Ну вот, — рассказывал Колька, — Маркеловна мне и говорит: «Колянущка, пособил бы мне, милый, с корзинками...»

Так и есть! Колька загибал новенькому про бабкины груши.

Значит, ближайшим соседям нет сейчас до Сережки никакого дела.

А в палату входили новые и новые посетители. У всех были сумки или свертки. И посетители, как всегда, наскоро чмокнув кого-то в щеку, почему-то торопились извлекать из своих сумок банки, коробки, бутылки, пакеты, будто ехали сюда ради всей этой ерунды. Шуршала бумага, хлопали дверцы тумбочек, позвякивало стекло.

«Самый раз поговорить», — подумал Сережка, но начал издалека.

— В марте на лыжах хорошо, — сказал он. — Солнышко припекает.

— Еще как! — отозвалась Саша. — У меня уже веснушки выступают.

— Разве это веснушки, — деликатно заметил Сережка. — Вот у нашего Санечки посмотрела бы. Ты на лыжах часто ходишь?

— Часто.

Вот когда нужно спросить. «Спрашивай же!» — приказал себе Сережка и выдал:

— С этим... с Павликом?

— Что ты! — рассмеялась Саша. — Он и стоять-то на лыжах не умеет.

— Правда? — обрадовался Сережка.

— Ну конечно! Ни на лыжах, ни на коньках.

— А вообще-то он парень... это... — Сережка стал подбирать слова, — ...культурный, — сказал он наконец и посмотрел на Сашу: как она отнесется к такой характеристике?

— Театрал, — проговорила Саша, — мы с Павликом все по театрам ходим. — И добавила: — Но с ним и в театре скучно.

«Скучно?»

Сережка от радости чуть не задохнулся: «Сашка! — хотелось крикнуть ему. — Ты молодец, Сашка!» Но он сказал:

— Что ж ты таких друзей выбираешь?

— Это наши родители друзья. А мы с ним... — она тоже подыскивала нужное слово, — постольку-поскольку.

«Черт возьми! Как же это здорово — «постольку-поскольку».

— А тогда сказала «мой друг», — постарался сухо произнести Сережка, но по глазам было видно, как он рад.

— Это когда я вас знакомила? По дурости сказала. Просто захотелось посмотреть, как ты будешь себя вести.

— И тогда, и потом. Помнишь, после школы. Назвала даже старым другом...

— Помню. Я же была на тебя так зла. И обидно мне было.

— И мне.

Она рассмеялась, затем, наклонившись к нему, шепнула:

— Сережка, знаешь что?

— Что?

— Дураки мы с тобой. — Она опять рассмеялась.

Даже это сообщение Сережку не огорчило. Он тоже захотел сказать что-то шепотом и попросил ее опять наклониться.

— Знаешь что? — сказал он.

— Что?

— Давай больше не будем дураками.

— Попробуем, — сказала Саша.

— Значит, мир?

— Мир.

Они незаметно для остальных пожали друг другу руки.

Как легко стало Сережке! Уже не нужно было спрашивать: почему ты сюда приехала?

— Хочешь, я тебя подстригу? — вдруг предложила Саша.

— А ты умеешь?

— Не бойся, ухо не отрежу. Чуть-чуть подровняла бы, и все. Хочешь?

Сережка достал ножницы.

Нет, он не боялся. Пусть она даже совсем не умеет подстригать. Но ведь это сделает она, Саша, а не кто-то другой, не Нахал Нахалыч.

— Ну вот, — сказала Саша, — и готово. — Она по-

ложила ножницы и сняла с Сережкиных плеч полотенце.

— Уже? — удивился он.

— Уже. И оба уха целы. Не знаешь, где можно встряхнуть полотенце?

— Нет, спроси у ходячих.

Саша вышла. Сережка взял у Кольки зеркальце, взглянул — все вроде в порядке: и волосы не свисают, и виски ровные.

Вернулась Саша с новым полотенцем.

— Ты где взяла? — спросил Сережка.

— Девочки дали.

— Какие девочки?

— Не знаю. Ходят на костылях по коридору. Я у них спросила, а они говорят: давай обменяем у сестры-хозяйки.

— Чудеса! — сказал Сережка. — У нас сестра-хозяйка неуловимая. Второй день прошу салфетку сменить.

— Ничего, скоро станешь на ноги, сразу уловимой сделается. Я так рада за тебя.

— Скоро? Ты слушай больше Генку! Он еще и не то скажет. Я написал ему, что через месяц.

— При чем тут Генка? Я у твоей мамы узнала.

— Разве тебе не Генка передал картину? — Сережкины брови удивленно взметнулись. «Ну что он еще на творил, этот Генка! Неужели отнес картину матери, а та уже, в свою очередь...»

— Генка, — ответила Саша. — Только не передал, а сунул в руки и выскочил как ошпаренный. Мог бы поздороваться, между прочим. Я открыла дверь, а он стоит, глазами хлопает, словно привидение увидел. Я говорю: «Заходи, Гена». Он порог переступил — и ни слова. Я говорю: «Ты ко мне, Гена?» А его уже нет. Испарился.

«Генка! Мой верный Генка!» — подумал Сережка и спросил:

— Когда же он заходил, вечером?

— Нет. Сразу после школы. Я в тот день пришла домой пораньше. Нас с последнего урока Илья Васильевич отпустил. Девчонок, конечно. Поздравил и отпустил. Идите, говорит, помогайте мамам. А мальчишки остались решать примеры.

«Значит, вот как все получилось. Вот, значит, какие подробности».

— Я сразу догадалась, что картина от тебя.

— Почему?

— В школе была выставка, и на ней показывали подарки для вьетнамских детей. Я видела твою картину. Там были стога и журавли. А здесь — олененок. Наш олененок из зоопарка. Бэмби.

«Наш, — мысленно повторил Сережка. — Как это хорошо — «наш». Это значит — мой и Сашин. Наша тайна. Наш Бэмби. С него-то все и началось». И еще он подумал, что попади он тогда в кино, и не было бы никакого олененка, не было бы Саши. Как странно. И тот старичок в выгоревшей шляпе. Каким несчастным чувствовал себя Сережка из-за этого старичка! А как все обернулось. И вот теперь Саша рядом.

Сережка смотрел на ее лицо, и все ему в ней нравилось. Он вдруг понял это, и это показалось удивительным. Тогда, в зоопарке, ему понравился ее смех. Потом, уже позже, он поймал себя на том, что часто смотрит на ее челку, и ему нравилось, как волосы ее — русые с совсем светлыми прядками — падают наискосок, и как она поправляет их рукой. Еще позже он увидел, что у нее красивые губы и нос. А сейчас ему нравятся все: и маленькая родинка слева на подбородке, и разлетающиеся брови и веснушки, которых он раньше не замечал. И в то же время он понимал, что есть и другие красивые девчонки. Даже у него в классе. Хотя бы взять Инку Вишневскую. Все считают ее красавицей. А не нравится она Сережке. Ничуть.

Почему же на Сашу он может смотреть и смотреть? Может быть, дело и не в том, какие у нее волосы, нос и губы? В чем же тогда? Вот она смеется как-то по-особенному. Но почему же другие не замечают этого?

Что же еще? Она веселая. Но не всегда. Бывает и задумчивой, грустной.

Нет, не объяснить. Не понять Сережке самого себя.

Сережка подумал, что с Сашей он может молчать — и ему все равно хорошо. Ничуть не скучно. А разве могло быть так с другими?

Саша вдруг сказала:

— Пропали мои лыжи.

«Что это она о лыжах ни с того ни с сего?» — подумал он и спросил:

— Как пропали? В электричке?

— Нет, в другом смысле пропали. Не буду больше кататься.

— Почему?

— Много веснушек появится, — сказала она, и глаза ее весело блеснули.

— Подумаешь! Это не страшно.

Сашины глаза снова стали серьезными.

— Буду к тебе приезжать.

В палату вошла медсестра и объявила:

— Товарищи посетители, заканчивайте.

Саша встала, взглянула в окно.

— У вас парк. Это замечательно. Когда ты встанешь, мы будем там гулять, да?

— Угу. А еще мы потом сходим к олененку, правда?

Она опять села на табуретку.

— Да. И покормим его бубликом.

«Нет, не олененок моя тайна. Моя тайна ты... Самая главная...» — подумал Сережка, но сказал совсем о другом:

— Смотри, у нас под окном три сосны. Две тонкие и одна большая.

Саша не удивилась, почему он об этом заговорил.

— Это мать и две дочки, — сказала она.

«Верно», — подумал Сережка и спросил:

— А помнишь, я подарил тебе сосны?

— Помню.

— Все-все помнишь?

— Да, — сказала она и отвела глаза. Потом добавила: — А я подарила тебе речку.

Но Сережка понял ее: нет, не только о речке она вспомнила.

— Хорошо было, а? — спросил он.

— Хорошо.

Опять появилась сестра.

— Товарищи посетители, я прошу вас... Прощайтесь. — На этот раз она не ушла, а осталась в дверях. Выжидающе посматривала.

Посетители неохотно стали подниматься, брать свои опустевшие сумки.

— Еще рано! — крикнул Вовка Монахов. — Шалва, сколько на твоих?

Но все один за другим двинулись к двери.

— Поскорее выздоравливай, — сказала Саша и протянула Сережке руку.

А потом она ушла.

Снова скрипнула дверь. «Саша?» — мелькнуло в голове у Сережки.

Но это была нянечка Евдокия Никитична. В руках она держала таз и кувшин с водой.

— Ребятки, ребятки, — проговорила она, звякнув тазом. — Давайте обслуживаться. Обед стынет.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

вместо эпилога

И было лето. И на деревьях шумела листва.

В зоопарке, нигде не задерживаясь, они сразу пошли к олененку.

— Смотри, как он вырос, — сказал Сережка. — Уже большой. Почти взрослый олень.

— Ну и пусть, — отозвалась Саша. — Все равно мы знаем, что он — олененок. Правда? — Она полезла в карман за бубликом. — Мы будем часто к нему приходить.

— И приносить бублик, — сказал Сережка.

«Я люблю ее, — подумал Сережка, — может быть, потому, что она добрая».

— Ешь, миленький, не бойся, — говорила Саша, просовывая руку к Бэмби.

«Но и другие есть добрые, — думал Сережка. — Тогда — почему?.. Не знаю. Неважно почему. Какая разница! Все равно я люблю ее».

Олененок ел бублик.

ЗЕЛЕНОЕ ОКНО

Повесть





СТАРИК И ЕГО ВНУЧКА — РУСАЛКА БЕЗ ХВОСТА

Трудно сказать, с чего все началось.

С того ли случая, когда я впервые встретил Таню. Или нет, наверное, позже — с того дня, когда я увидел ее на сцене. А может быть, начало всему было намного раньше.

Пожалуй, нужно начинать со старика. Да, конечно, с него.

Старик выходил из своего подъезда почти всегда в одно и то же время и не спеша шел через весь двор к воротам.

На нас, вечно снующих по двору мальчишек, он, казалось, внимания не обращал, и его красивая седая голова никогда в нашу сторону не поворачивалась, словно бы нас не существовало.

Нам было обидно, и мы старались чем-нибудь досадить старику, показать ему, что, как бы он там ни важничал, нам-то на него наплевать. Подумаешь, нашелся какой индюк!

— Загоняла!.. — кричали мы. — Загоняла!..

Старик вначале пропускал это мимо ушей. Видимо, не понимал, что мы кричим ему. Но потом он стал вздрагивать при каждом выкрике, прибавлял шаг, степенная походка его ломалась, а мы, обрадованные этим, еще пуще орали:

— Загоняла!.. Загоняла!..

Однажды старик остановился и сделал шаг в нашу сторону, но мы тут же припустили, и потом уже он не пытался что-либо предпринимать.

Старик этот был особенный.

А может, и не особенный, а самый обыкновенный старикан. Просто мы долго ничего о нем не знали. Знали только, что он работает в театре и живет в пятой квартире. Вечерами окно его комнаты почти всегда было темным, потому что старик не бывал дома в это время. Но иногда, если он не уходил в театр, его окно светилось мягким бледно-зеленым пятном. Вот и все.

Но в театре работали многие из нашего дома. И ребята, что жили в соседних домах, даже звали наш двор

«оперным». «Балетным» почему-то не звали, хотя дом наш принадлежал театру, который назывался Уярским областным театром оперы и балета.

Старик не был ни артистом, ни музыкантом, потому что жил тихо и не тревожил никого никакими звуками. Само собой, не плясал он на сцене: не тот возраст. Он мог бы сойти за директора: уж больно у него был солидный вид, когда он отправлялся на работу! Но директор, ясное дело, разъезжал бы на машине, блестящей, как новенькая галоша, а не ходил по утрам в булочную или в гастроном на углу.

Мы знали, что он не освещает сцену, потому что в одиннадцатой квартире на третьем этаже жил осветитель — длинный и сутулый дядя Вася, от которого всегда пахло водкой. И, конечно, старик не проверял билеты, потому что у входа — мы сами видели — всегда стояли женщины. Одна из них, Ивановна, тоже жила в нашем доме.

Что же еще делают в театре?

Как-то у нас зашел об этом разговор.

Вернее, начали мы говорить про трубача Силина, который недавно переехал в наш дом и уже всем порядком надоел. Его труба издавала звуки колкие и режущие. Этими звуками он протыкал нас, как шпагой. Обычно вначале шли всякие упражнения, а потом звучало что-то быстрое и ритмичное. Мне даже нравилось. (Лишь спустя некоторое время я узнал от Верки Ряшенцевой, моей соседки, что называется это «Неаполитанской песенкой» из балета «Лебединое озеро» Чайковского.)

Так вот, ругали мы, значит, Силина за его трубу, и вдруг Виталька вспомнил:

— А я читал, что в одном итальянском зале от трубы стекла полопались. Негр какой-то выступал.

— Подумаешь, — сказал я, — а когда Силин в театре играет, декорации шатаются.

— Врешь!

Я только плечами пожал:

— Мне уж сколько раз об этом говорили.

— Кто?

— Да говорили вот... люди, — начал темнить я.

Зачем я такую чушь загнул, сам не знаю. Бывает вот так у меня: ляпнешь что-то, а потом отступить поздно, держись, хоть и держаться-то не за что.

Диман ни с того ни с сего вдруг сказал:

— А я знаю, что старик делает. Он декорации таскает.

Но мы подняли Димана на смех.

— Что он, больной, что ли, — сказали мы, — чтобы на старости лет надрываться?

Про Силина мы сразу же забыли. Стоит ли о нем говорить, если тут дело яснее ясного: его трубу за несколько кварталов услышишь.

Но старик... Что же все-таки делает старик? Не возится же он со щеткой и ведром?

А что же тогда?

— Может, воду с бутербродами продает в буфете? — предположил кто-то.

Нет, невозможно представить, чтобы этот высокий седой старик суетился с бутылками и стаканами.

В общем, насчет буфета тоже вопрос отпадал.

И вот тут-то Леха, младший брат Витальки, сказал:

— Ребя, а может, он звонки дает?

Все было прыснуло, а потом подумали, прикинули — и верно, работа строгая: кто опоздал после третьего звонка, дуй на галерку, даже если в первом ряду должен сидеть, возле сцены. Почему бы старику не давать эти грозные звонки, а?

Так мы и решили: старик руководит звонками.

Но вскоре выяснилось (Ивановна нам сказала, та, что надрывает билеты): старик дежурит на втором этаже, правая сторона, возле лож.

Значит, вот кто он: загоняет публику в логи. Загоняльщик. Загоняла. И стали мы его звать Загонялой.

Та-та-та-та-та-та...

За стеной играли гаммы. Бесконечно. Настойчиво. Въедливо.

Сами по себе гаммы — полбеда. Их можно не замечать, как все равно не замечаешь тиканья часов, если нарочно не прислушиваешься. Но когда ты знаешь, что их играет вредный человек, даже очень вредный, — а Верка Ряшенцева была именно таким человеком, — то терпение твое ломается, и ты становишься «психом ненормальным», по словам той же Верки.

А тут еще задачка не выходила по алгебре. Словом, я себе места не находил от этого самого «та-та-та-та...». Заладила одно и то же. Чему только учат ее в музыкальной школе! Вон Чикиряй вообще ни в какой

школе не учится, а возьмет в руки гитару — и пожалуйста: «Все ребята уважали очень Ленку Королева...», или еще какую-нибудь песенку выдаст — закачаешься.

Та-та-та-та...

С ума сойти. Я подбежал к стене и трахнул по ней несколько раз кулаком. Гаммы оборвались, стало тихо. Подозрительно тихо. В прошлый раз, когда я так же колотил в стенку, пришла Веркина мать. Она пожаловалась моей матери, и мне здорово влетело. «Подумаешь, — сказал я, — музыкантша какая нашлась! Та-та-та-та... — и все. Толку-то!..» — «Помолчи, — сказала мама, — стыдно мне за тебя. Девочка учится, а ты такую чепуху говоришь... Пусть Вера не обращает на него внимания, — посоветовала она Веркиной матери. — А он пусть стучит в стенку, пока кулаки не отобьет».

И вот теперь Верка вдруг притихла. Я-то думал, что она сейчас еще пуще затарабанит свое «та-та-та...». Но за стеной ни звука. Странно. Стукнуть еще, что ли? И я стукнул несколько раз.

За стеной заиграли. Только уже не гаммы, а что-то очень веселое и озорное. Что же это? Такое звонкое, такое...

Черт побери! Да ведь это же... Ну конечно! За стеной играли всем известную песенку из «Трех поросят»:

Нам не страшен
Серый волк, серый волк, серый волк...

Я не ожидал от Верки такой прыти. Надо же! Придумала ведь. Да еще так здорово наяривает! Я прямо взбесился от злости. Подскочил к стенке и кулаком со всей силы — бум, бум, бум!..

И тогда за стеной торжественно зазвучала другая песня:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Я даже ушам своим не поверил. Это что же получается? Верка играет революционную песню, а я, выходит, словно жандарм, словно какой-то усатый полицейский... Ну погоди!

Я выскочил на лестничную площадку и, как тигр, прыгнул к двери Ряшенцевых. На кнопку звонка я нажал с такой силой, будто хотел раздавить его.

Дверь открылась.

— Знаешь что, Ряшка!.. — крикнул и осекся.

Передо мной стояла незнакомая девчонка и строго смотрела на меня. Через плечо у нее был перекинут «конский хвостик» — кажется, так называется эта прическа.

— Вам кого? — спросила она.

Я хотел было сказать: «Тебе-то какое дело! Пустяки», — но все слова будто прилипли к языку, и я стоял молча и смотрел на девчонку. Ничего особенного в ней не было. И глядела она уже не строго, а скорее с любопытством, и уголки губ ее чуть-чуть растянулись.

— Вы, кажется, ошиблись? — произнесла она.

Конечно, девчонка издевалась надо мной. Оттолкнуть бы ее в сторону и пройти в квартиру, а я стоял дурак дураком и не двигался. Я чувствовал, что девчонка вот-вот расхохочется.

— Понимаю, — сказала она, — вы ищете больницу, да?

— Какую больницу? — растерялся я.

— А для этих, которые... — Она приставила к виску палец и покрутила им.

Я только замахнулся, чтобы дать ей как следует по шее, но девчонка успела захлопнуть дверь.

Так произошла моя первая встреча с Таней — внучкой Загонялы.

О том, что она его внучка, я узнал позже. А вначале мне лишь было известно, что она живет в пятой квартире и ходит к моей соседке Верке играть на пианино.

Я никак не мог простить ей «больницу» и поэтому несколько раз подкарауливал ее, но безуспешно. Просто мне не везло. Или она долго не появлялась, или мне надоедало ждать.

Но вот однажды, когда я поднимался к себе по лестнице и был в отличном настроении (только что посмотрел «Фантомаса»), я вдруг нос к носу столкнулся с ней. Она как раз спускалась сверху.

От неожиданности мы замерли.

— Попалась, — сказал я не двигаясь.

Меня наполняло торжество. Уж теперь-то ей никуда не уйти! Я чувствовал себя комиссаром Жювом, которому очень повезло: он поймал неуловимого Фантома-

са. В моей голове даже возникли красивые слова: «Спускайтесь, мадам, спускайтесь. Мне очень жаль, но в конце пути придется рассчитаться».

Я ждал, что она повернется и бросится бежать, а я в один прыжок настигну ее, и вот тут-то причесочка «конский хвостик» весьма пригодится. Я схвачу ее за волосы левой, правую сожму в кулак и поднесу к самому ее носу. «Морда, морда! — скажу. — Я кулак. Иду на сближение». А она задержается, будет всхлипывать: «Пусти, я твоей матери скажу...»

Только девчонка не повернулась и не побежала, а так и стояла на своей ступеньке. Тогда я сделал несколько шагов. Она все стояла. Я подошел вплотную.

— Ну!.. — сказал я и протянул руку к «конскому хвостику».

Она отвела голову назад. В глазах ее была тревога. Я видел, что девчонка боится меня, но также понимал, что она не отступит, не побежит.

Если бы она жалобно захныкала, тогда другое дело. Тогда бы я, конечно, дал ей разок по затылку, чтоб была ученой. Но девчонка молчала.

— Попадись мне еще! — проговорил я.

— Что тогда? — спросила она, и уголки губ ее чуть растянулись, как и в тот раз.

— Тогда узнаешь! — И я, не оглядываясь, потопал на свой этаж.

Чтобы показать, что она меня больше не интересует и что я даже позабыл про нее, я принялся насвистывать: «Все ребята уважали очень Леньку Королева...» А на душе было паршиво.

— Фальшивишь, — донеслось до меня снизу.

«В самом деле, поддать ей, что ли? — устало подумал я, но, махнув рукой, двинулся дальше. — Не стоит связываться. Хлопот потом не оберешься».

С тех пор мы старались не встречаться. Вернее, я просто переходил на другую сторону, если замечал, что она идет навстречу:

Несколько раз я видел ее из своего окна. Я отходил к занавеске, чтобы она, случайно взглянув на окно, не узнала, что я смотрю на нее. Ходила она плавно, легко. Я смотрел — и вся злость моя куда-то девалась.

Потом я видел ее несколько раз со стариком — с Загонялой. «Чего это она с ним?» — думал я. А они шли чинно, не спеша. Одним словом, прогуливались. Казалось бы, ну какое мне дело до всего этого? Пусть

прогуливаются! Но что-то удерживало меня у окна, пока они шли по двору.

Я спросил у Витальки, который всегда все знает: что это, мол, за девчонка какая-то со стариком ходит?

— А-а-а, — протянул Виталька, — это его внучка приехала. Теперь с ним живет. Ее Русалкой зовут.

— Как? — переспросил я.

— Вообще-то Танькой. Но мы ее со вчерашнего дня Русалкой прозвали.

— Почему?

— Потому что она на русалку учится.

— Ты что ерунду болтаешь? — сказал я.

Виталька рассмеялся и пояснил:

— Вчера она к нам подошла...

— Сама?

— Ну да. Ты слушай. Подошла, значит, и говорит: «Вы что моего деда Загонялой зовете?» А Леха ей: «Он же и есть загоняла. Самый натуральный. Он же публику на места загоняет». — «А ты, — говорит она, — дурак самый натуральный! Дедушка мой работает капельдинером». Леха обиделся, конечно, и в драку было полез. Но я говорю: «Отзынь!» И спрашиваю у нее: «Кем-кем работает?» — «Капельдинером. Помогает зрителям правильно занять свои места». А потом разговорились, и мы узнали, что она будет выступать в опере «Русалка».

— Петь будет?

— Нет. Просто будет читать стихи.

— Стихи!

— Ну да! «Русалку» же Пушкин написал стихами. А потом к ней кто-то музыку придумал, Танька говорила.

Я не мог понять:

— Ты же сам говоришь — музыку. Значит, она поет?

Виталька досадливо поморщился:

— Не поет, а читает. А кроме нее — все поют.

— Что же она читает? — допытывался я.

— Текст читает, — разозлился Виталька. — «Что» да «что»! Сходи, тогда сам узнаешь.

— А говоришь, она на русалку учится.

— Ну да, учится. Репетирует. — И вдруг он пристально посмотрел на меня: — А что ты так интересуешься?

— Ничего... Просто я...

— А покраснел-то, покраснел...

Я замахнулся:

— Как дам вот сейчас!

Мы еще о чем-то потрепались и разошлись.

А во дворе время от времени я стал слышать крики: «Русалка!», «Русалка!», «Русалка хвостом рыб отгоняет!» И я видел, как плавно и независимо шла Таня. На крики мальчишек она не обращала никакого внимания.

И снова я встретил ее на лестничной площадке, когда Таня возвращалась от Верки. Я хотел посторониться, чтобы она прошла, но Таня вдруг остановилась.

— Здравствуй, — сказала она.

— Здравствуй.

Она молчала, и я тоже не знал, что ей еще сказать. Было слышно, как Силин играл «Неаполитанскую песенку». Особенно мне нравились места, где мелодия вдруг обрывалась, а потом как бы вдогонку ей летела еще одна протяжная нота. Про себя я даже повторял за трубой.

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...ля,
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...ля...

Но что же сказать Тане? Не стоять же таким истуканом.

Наконец я бухнул:

— Ты... это... правда Русалку играешь?

— Правда, — сразу ответила она, — только не Русалку, а Русалочку.

— Русалочку?

— Да. Это дочь Русалки.

— Дочь?

Я и сам чувствовал, что вопросы мои идиотские. Но Таня не рассмеялась.

— Дочь ее и князя.

На этот раз я ничего не спросил, но Таня отлично поняла, что «Русалку» я не знаю, хотя и сказал:

— Ага!

— Хочешь, я тебе книгу дам, ты там обо всем прочитаешь? — И, не дожидаясь моего ответа, она предложила: — Пошли.

Только когда мы переступили порог ее комнаты, я

вспомнил про Загонялу. Но отступить было поздно. Старик шел нам навстречу.

— Познакомьтесь, — сказала Таня, — это мой девушка Иван Денисович.

— Эдик, — произнес я.

Я подумал: вот сейчас он начнет меня распекать! Сколько раз я вместе с другими кричал: «Загоняла!» Зачем кричал? Не знаю. Может, и те, другие, тоже не знают? Глупо как-то.

Но старик сказал:

— Присаживайтесь, молодые люди. А может, мы чаю выпьем?

— Спасибо. — Я поерзал на стуле. — Я на минутку зашел, за книгой.

— За какой, позвольте полюбопытствовать?

Я почувствовал, что начинаю краснеть. Что у меня за дурацкая привычка, нет, не привычка, а свойство: чуть что — я уже краснею! Просто не знаю, куда деться в такой момент.

Выручила Таня. Она сказала:

— Эдик хочет прочитать пушкинскую «Русалку».

— А! Это хорошо, — произнес Иван Денисович. — Это похвально.

«Вот еще! Нужна мне больно его похвала», — подумал я, но, конечно, промолчал. Я стал смотреть на полки с книгами, на картины и портреты. А на потолке висел голубовато-зеленый плафон — тот самый, от которого вечером струился мягкий, подводный свет.

Таня тем временем принесла чайник, расставила чашки, достала сахар и печенье. Она делала все это быстро, но как-то незаметно, без суеты. Лишь теперь я рассмотрел, что и глаза у нее были зеленоватые, как тот плафон.

Посидели, попили чай. Таня рассказывала, что скоро премьера, все очень волнуются, и она тоже волнуется, но режиссер похвалил ее и сказал, что все будет хорошо.

— А через неделю у нас генералка, — закончила Таня. — Вот!

— Ты бы и пригласила Эдика на генеральную репетицию, — вставил Иван Денисович, пока я раздумывал, что же это значит — генералка.

— Конечно. Только нам еще не дали приглашенных билетов.

Мы поговорили еще немного, а затем я взял книгу и ушел.

Во дворе я оглянулся на их окно. Оно, бледно-зеленое и прохладное, показалось мне кусочком морского дна. И вот в окне появилась Таня. «Русалка, — подумал я про нее. — Русалочка». А прическа «конский хвостик» ей идет. Если распустить его, волосы разметнутся по плечам, по спине — и Таня тогда, наверное, будет совсем как настоящая русалка.

Книга мне не очень-то понравилась. Князь полюбил дочь Мельника и хотел жениться на ней. А потом взял да и женился на другой. С горя Мельникова дочь утопилась и стала Русалкой. Мельник сошел с ума. Князю тоже, видно, несладко пришлось. А Русалка родила девочку в своем подводном царстве. И девочка выходила на берег и встречалась со своим сумасшедшим дедом. А однажды она встретилась с Князем. Он удивился и спросил: «Откуда ты, прелестное дитя?» Вот и все.

А я-то думал, что там что-нибудь страшное происходит, как, например, в кинокартине «Вий» у Гоголя.

Через несколько дней я книжку вернул.

Таня открыла мне дверь, и я сразу же заметил, что «конского хвостика» уже нет. У нее была теперь короткая, почти мальчишеская стрижка. Так ей тоже шло. Правда, вначале я как-то не мог привыкнуть к этому.

— Понравилась? — спросила Таня, взяв у меня книгу.

— Ага, — сказал я из приличия. — Здорово там это... Мельник Князя пугает... «Я ворон! — кричит. — Я ворон!»

Таня рассмеялась.

— Послезавтра дадут пригласительные. Посмотришь.

— Таня, — заметил Иван Денисович, — ты же знаешь, про оперы говорят: послушаешь.

— А иногда — посмотришь, — быстро ответила она, сверкнула своими зеленоватыми глазами и снова рассмеялась.

Почему она смеется, я не понимал. Но мне нравилась ее смех. От него становилось тепло и чуть тревожно. Во мне теперь что-то сладко вздрагивало, когда я слы-

шал, как она смеется. Смех ее был звонкий и очень короткий, словно всплеск на пустынной реке.

Я вдруг захотел, чтобы она что-нибудь для меня сделала. Что-то такое необходимое. Мне казалось, что и Тане будет приятно это сделать. Только я никак не мог придумать это необходимое.

Когда я уже прощался, я взглянул случайно на окно и...

— Таня, — сказал я, — ты вечером сможешь подойти к окну?

— Смогу, а зачем? — Уголки ее губ чуть приподнялись.

— Просто так. Подойди на две минуты, ладно?

— Ладно, а во сколько?

— Ну... ну ровно в десять.

— Угу, — кивнула она.

Ровно в десять, когда уже было темно, я стоял под деревом, что росло напротив ее окна.

Подойти она не забыла, и мне было очень приятно увидеть ее в зеленом «кусочке морского дна». Меня она вряд ли видела, хотя и смотрела какое-то время вниз на дерево.

Это повторилось и назавтра, хотя я не просил ее. Она опять посмотрела в сторону дерева. А может, Таня меня все же рассмотрела? Я весь вечер думал об этом, а потом долго не мог уснуть.

На следующий день, когда я стоял с ребятами около своего подъезда, вдруг появилась Таня.

Все взглянули на меня (во дворе, конечно, заметили, что я стал посматривать на ее окно), и я тут же почувствовал, как предательски краснеет мое лицо.

Таня направилась прямо к нам.

В руке у нее белел какой-то листок.

— Вот пригласительный, — сказала она, — начало сегодня в двенадцать.

Рука моя не поднималась, чтобы взять этот листок.

— Я не могу, — выдавил наконец я. — Мне нужно... это... к тетке. Она на дачу переезжает. В Малановку... правда.

Таня повернулась и пошла на улицу.

— А Русалка-то без хвоста, — сказал кто-то.

И другой добавил:

— Чем же она теперь рыб отгонять будет?

Все засмеялись, а Виталька спросил:

— Куда это она пригласительный давала?

— Да так, — сказал я, — на генеральскую репетицию.

— «На генеральскую»! — захохотал Виталька. — Ой, уморил!

— На генеральную, — поправился я, но все кругом валились от смеха.

В театр я все же попал. Пошел без билета. Крутился, крутился возле контролерш, а потом решил: была не была — и дерзко двинулся за кем-то следом. Никто меня не остановил.

Вначале от страха и радости я ног под собой не чувствовал. Все думал, сейчас кто-нибудь спросит: «Мальчик, а где твой билет?» Но потом успокоился. Смотрю, многие поднимаются наверх. И я пошел.

На втором этаже огляделся. Народу здесь меньше. Значит, в зал не пройти: у дверей тоже стоят, проверяют билеты. Я хотел было спуститься вниз, но тут кто-то окликнул меня по имени.

Я обернулся и увидел Ивана Денисовича.

— Эдик, иди сюда, — позвал он.

Иван Денисович был, как всегда, подтянут, держался ровно, с достоинством. Форма придавала ему еще больше строгости. «Вот теперь-то я пропал», — мелькнуло у меня в голове. Но старик проговорил:

— Проходи вот в эту ложу. — И показал на дверь.

Потом он усадил меня на какое-то место, и я стал ждать, когда же начнется спектакль.

Наконец в зале стало темнеть, разговоры стихли, заиграл оркестр, и через некоторое время распахнулся занавес.

Вначале было про то, как Мельник прорабатывает свою дочь. «Упрямы вы», — все повторял он. Послушались бы старших, так нет же, вы, мол, все живете своим умом. Обо всем вам нужно твердить по сто раз. Это было смешно: распекают ее, как все равно в школе или дома за невыученный урок. И не просто распекают, а поют.

Но потом пела дочь, пел Князь, еще кто-то пел. В общем, мне стало все надоедать, скучно сделалось.

В антракте Иван Денисович меня спросил:

— Ну как, нравится опера?

— Ага, — кивнул я. — Здорово поют. Громко. У меня даже в голове до сих пор звенит. — И для убедительности

тельности я потрогал свою голову, а потом спросил: — Иван Денисович, когда же Таня будет выступать?

— Еще не скоро, — ответил он. — Ее выход в самом конце.

— А-а... — сказал я и побежал к буфету пить лимонад.

После перерыва мне стало совсем неинтересно. Смешно было только раз, когда Мельник принялся взмахивать руками и кричать: «Я ворон! Я здешний ворон».

А потом я снова заскучал. Мне не терпелось поскорее увидеть Таню, а она все не выходила. «Ну когда же? Когда?» Даже на сцену смотреть не хотелось. Я стал поглядывать на зрителей, на оркестр, на проекторы.

И вдруг я услышал, что на сцене зазвучала обычная речь, а не пение, которое порядком уже надоело. Я взглянул на сцену и обомлел: там была Таня. И не просто Таня, а очень и очень красивая. Прямо как на картине в музее. Губы у нее были подкрашены, а глаза почему-то стали синие-синие.

Волосы... Мне бы никогда в жизни не понравились такие волосы: они были чуть зеленоватые. Но Тане необыкновенно подходил этот цвет. А оде́та она была в воздушно-легкое, голубое, почти прозрачное платье.

Неужели это та самая девочка, которая живет в нашем доме? И я мог с ней запросто разговаривать? И я был у нее в гостях и пил чай? Но в той девочке не было ничего удивительного, ничего особенного. Ведь тогда, в подъезде, я даже замахнулся, чтобы ударить ее! И ударил бы, конечно, — так я был зол, — если б она не захлопнула дверь.

Мне стало жарко. Я провел рукой по влажному лбу.

Ну, глаза, допустим, у нее не синие, а зеленые. Только какое это имеет значение!

Таня все еще не уходила со сцены. Она говорила, что искала на дне какие-то раковины для своего деда — Мельника. Но я не вникал в смысл того, что она говорила. Я только слушал, как нежно лился со сцены ее голос. И мне хотелось, чтобы он звучал и звучал без конца.

Но вот все захлопали. Занавес дернулся и поплыл, скрывая за собой артистов. Потом вновь распахнулся, и публика еще сильнее захлопала, а занавес тогда снова стал закрывать сцену.

Я тоже захлопал и даже хотел было крикнуть: «Бис!» Но, оглянувшись на Ивана Денисовича, вовремя сдержался. А в ушах моих, несмотря на шум, все еще стоял мягкий голос Тани.

Потом я, как во сне, медленно спустился со зрительями по широкой лестнице и прошел к выходу. Лишь на улице я словно бы проснулся. Передо мною мелькали прохожие, пронеслись машины. На перекрестке совиным желтым глазом мигал светофор.

Я решил ждать Таню возле театра. Из дверей еще густо валил народ. Потом поток людей стал редеть, потом вышли последние зрители, и в театре, кроме гардеробщиц, никого не осталось.

Постояв еще минут десять, я увидел, как кто-то стал запирать дверь изнутри. Тогда я пошел домой.

По дороге я смекнул, что в театре где-то был служебный выход, возле которого и нужно было ждать Таню. Но теперь она уже, конечно, ушла.

Во дворе все столпились возле Витальки: он вынес новенький фотоаппарат и показывал его ребятам. Подошел и я.

Все чувствовали себя специалистами: говорили о пленке, о выдержке, о диафрагме.

— Заряжен? — спросил я.

— Только что зарядили, — сказал Виталька. — Тридцать две единицы зарядили.

— Лучше б шестьдесят пять, — проговорил я.

— Знаю, — сказал Виталька, — в магазине только такая была.

— Сними меня, а? — протиснулся к нам шестилетний шкет Костик, который почему-то всегда прилипал к нашей компании.

— Откуда снять? — спросил Виталька, и все засмеялись.

Костик не знал, что ответить, и снова попросил:

— Ну сними.

— А ты что, на заборе повис?

Опять все рассмеялись.

— Из аппарата сними, — не отставал Костик.

Виталька отмахнулся:

— Да ну тебя! На что ты мне нужен? Я вон лучше Русалку сфотографирую.

Я обернулся и увидел Таню. Она шла от ворот к дому.

— Русалка! — крикнули ей.

— Русалка, стой! Мы тебя сфотографируем.

Таня молча поравнялась с нами, взглянула на меня — мне показалось в ее взгляде какое-то ожидание, будто я должен был что-то сделать, — но я отвел глаза, а не знал, что мне делать, и Таня прошла мимо.

— Русалка! Русалка без хвоста! — завопил Костик.

Таня, конечно, не оглянулась.

Вечером ровно в десять я стоял под деревом и смотрел на бледно-зеленое окно.

Я ждал, что она вот-вот появится в своем кусочке морского дна. «Русалка, — шептал я. — Русалочка».

Я ждал, ждал и ждал...

Таня не появилась.

ТАНЯ + ЭДИК = ?

Три или четыре дня я не видел Таню. Но все это время я думал о ней и считал, что стоит лишь нам встретиться, и все будет хорошо, снова Таня будет приветливой и будет улыбаться: иногда широко и открыто, а чаще чуть заметно, уголками губ.

И вот встреча произошла. Утром я прибежал в булочную, чтобы купить батон белого, и увидел Таню. Она отходила от кассы с чеками.

— Здравствуй, — сказал я и нелепо спросил: — Ты за хлебом?

— Здравствуй. Я пришла сюда за керосином. — Зеленые глаза ее так и вспыхнули.

Я пропустил это мимо ушей и сказал:

— Подожди, я быстренько... Мне лишь батон, — и подскочил к кассе, где было всего-то три человека.

— Нет, я очень тороплюсь, — сказала она и протянула щеки продавщице.

Когда я отошел от кассы, Тани в булочной уже не было.

От огорчения я сунул мимо сумки свой батон — он глухо шмякнулся на пол, и от этого настроение мое вконец испортилось.

Весь день меня одолевали тяжелые мысли. Получается, что с Таней мы рассорились...

Что же сделать, чтобы она вновь обратила на меня внимание?

И я придумал. Я подобрал кусок антрацита и, выждав момент, когда во дворе никого не было, принялся чертить на стене возле Таняного подъезда:

Таня + Эдик =

Рука у меня дрогнула. Я стал раздумывать: писать дальше или не писать? Для чего все это вообще? Я-то рассуждал так: Таня увидит надпись, расстроится, а как встретит меня, я ей тоже скажу: вот, мол, какие дураки... Давай не будем обращать на них внимание. И снова все будет хорошо: Иван Денисович предложит попить чаю, с Таней мы сходим в кино или на футбол... А если все будет наоборот? Если она рассердится?.. Значит, не писать? Есть над чем задуматься.

Это меня и погубило.

— Пиши, пиши, — услышал я за своей спиной, — чего сдрейфил?

Я подскочил как ошпаренный. Обернулся. Передо мною стоял Чикиряй. Он улыбался. В одной руке он держал сигаретку, другая была засунута в карман.

— Красиво пишешь, — сказал Чикиряй и сделал короткую затыжку.

Чикиряй когда-то жил в нашем доме. Это была тяжелая пора. Участковый милиционер целые дни проводил у нас во дворе. Чикиряй отнимал у маленьких деньги, поджигал газеты в почтовых ящиках, бил из рогатки фонари и лампы в подъездах. В общем, не сидел сложа руки.

Потом его отправили в воспитательно-трудовую колонию на два года. В это время родители Чикиряя переехали на новое место. И весь дом облегченно вздохнул.

Но в один прекрасный день (прекрасный — это так, к слову) Чикиряй появился вновь. «Исправленный» Чикиряй уже не хулиганил. Он честно играл с нами в расшибалочку, носил расклешенные брюки с блестящими цепочками внизу, а вместо кучерявого чубчика у него теперь была челка по самым глазам. К тому же он нередко приходил с гитарой, на которой была наклеена фотография длинноволосых парней. «Певцы битлы, — ткнув в фотографию пальцем, объяснял нам Чикиряй. — Не то немцы, не то французы, но отличные ребята».

Чикиряю было лет семнадцать, и его сверстники

уже или заканчивали школу, или работали — одним словом, они были заняты и не могли засиживаться с ним на лавочке. Поэтому Чикиряй стал держаться нас, ребят, которые были моложе его на три-четыре года.

Наши родители хорошо помнили прежнего Чикиряя и не верили в его исправление. Как только он появлялся, тут же из окон высовывались мамы, папы, дедушки и бабушки и кричали, чтобы мы шли домой: «Иди скорей обедать!», «Кто за тебя уроки будет делать?», «Куда ты задевал мои очки, я помню, положила их на пианино?»

Чикиряй улыбался, кивал в сторону окон головой и удовлетворенно говорил: «Ишь ты! Боятся!»

И вот этот самый Чикиряй теперь стоял передо мною и радостно поглядывал то на меня, то на мою надпись.

— Красиво пишешь, — повторил он, — я аж зачитался. Жду не дождусь продолжения. Продолжение будет?

Я молчал.

— Это называется сердечная болезнь, — сказал Чикиряй и вновь затынулся. — Эх, Эдя! Что с тобой Русалка наделала!..

Сжав кулаки, я бросился на Чикиряя, но тот ловко схватил меня за руку и вывернул ее.

— Ты смелый человек, Эдя. Только зачем портить нервы родителям? — Он отпустил руку.

Меня душили отчаяние и злость. Куда мне против Чикиряя! Что сделаешь этому лбу?

Но Чикиряй сказал:

— Я ничего не знаю и ничего не видел. — Он приложил палец к губам. — У тебя есть рубль?

Я порылся в карманах, наскреб сорок копеек.

— Ладно, — сказал Чикиряй, беря монетки, — я схожу попить пива. Ты не пьешь? Зря, полезный напиток. Силы прибавляет... Ты пока сбегай домой, принеси рубль.

Чикиряй сдержал слово. Никому не сказал. А надпись осталась. И все читали:

Таня + Эдик =

Каждый отнесся к этому по-своему.

Виталька отозвал меня в сторону и спросил, кивнув на стенку:

— Видел?

— Видел.

— Что скажешь?

Я пожал плечами.

— Знаю, кто это сделал, — сказал Виталька.

— Кто? — испугался я.

— Верка. Кто же еще? Пошли сотрем.

Я помялся.

— Неудобно при всех, — сказал я. — Давай потом.

Леха, Виталькин брат, равнодушно произнес:

— Шею наkostenять надо.

— Кому? — попробовал я уточнить.

— Не знаю, — признался Леха. — Кому-нибудь.

Костик тоже прочитал оба слова «Таня» и «Эдик», но при чем здесь знаки $+$ и $=$, понять не мог.

— Это что, про тебя написано? — подкатывался он ко мне несколько раз.

Когда встретила Верка, я невольно сжался: вот теперь поехидничает. Но Верка сказала именно то, что я ожидал услышать от Тани:

— Какой-то дурак написал. Не обращай, Эдик, внимания.

После того как я перестал замечать ее гаммы и колотить в стенку, Верка, видимо, переменялась. Но мне-то что от этого, мне все равно.

И наконец я увидел Таню. Она шла по двору к воротам. Я подождал немного и, когда она уже вышла на улицу, припустил следом. Догнав ее, я сказал, стараясь дышать ровнее:

— Здравствуй, Таня. А мне как раз в ту сторону идти.

— Здравствуй, — холодно проговорила она. — Разве ты знаешь, куда я иду? Может, я сверну сразу же за углом.

— Таня, я знаю... Ты из-за этой надписи... Ты не сердись... Подумаешь!

— Что мне сердиться! — вспыхнула Таня. — Ее написал какой-то злой человек.

— Почему... злой?

Таня не ответила. Лишь когда мы дошли до угла, она сказала:

— И все равно ведь там неверно написано. Чего сердиться?

— Да, — произнес я растерянно.

— Ну, пока, — сказала она и свернула направо.

Вначале мне захотелось пойти за нею, даже побежать. Но я сдержался. «В самом деле, что же получается, если написать: «Таня+Эдик»? Ничего не получается. Знак = здесь смешно выглядит. Нет, знак = ни при чем. Просто нельзя писать +. Ведь плюс что-то соединяет. А у нас?..»

Я вернулся во двор. Посмотрел, как ребята играли в футбол, потом тоже начал гонять со всеми мяч.

Через некоторое время вышел Виталька с аппаратом, сфотографировал несколько раз нашу игру. Но вскоре матч закончился, потому что толстый Диман забил мяч на крышу. Залезать туда можно было лишь с чердака. Ключ от чердачной двери был у дворника, а дворника не оказалось дома.

И тут мы услышали знакомую песню. Ну конечно, Чикиряй с гитарой.

Все ребята уважали очень Ленку Королева
И присвоили ему звание Короля...

Чикиряй сразу догадался, в чем дело.

— Эх вы, шустрики-мямлики, — сказал он. — В наше время в таком случае лазали по трубе.

— Врешь, Чикиряй, — сказали ему.

— Заливаешь.

— Болтай ногой.

— Ох, шантрапа! — закачал головой Чикиряй и улыбнулся. — Никакого уважения к старшим. Чему вас только в школе учат... Кто забил-то?

— Диман.

— Пусть лезет, — коротко заключил Чикиряй.

— Куда ему, — заговорили все разом. — Вон он какой толстый. Труба не выдержит.

— Труба даже меня выдержит, — сказал Чикиряй и сплюнул.

— Вот и полез бы.

— Я б вам доказал, только брюки жаль. — Он посмотрел на цепочки. — Сегодня в парке танцы.

— Вычистишь, — сказали ему.

Чикиряй рассердился:

— Что я вам, шестерка, что ли, на крыши лазить! Как хулиганить, так вы с удовольствием. На стенках писать — это вы умеете, а проявить героизм — нас тут не было! — И он мельком взглянул на меня.

Я представил себе, как я лезу по трубе на крышу. Все внизу стоят с раскрытыми ртами, затаили дыхание.

Дворник подошел, на себе волосы рвет: ну почему меня не было дома? А потом... потом появилась Таня. Она молча стала впереди всех, и опять глаза у нее синие-синие. Как тогда, в театре. «Эдик! — прошептала она. — Осторожнее, Эдик! Пожалуйста, осторожнее».

— Пустите, — сказал я и шагнул к трубе. Обхватив ее руками и ногами, я стал подтягиваться.

Нет, охи и ахи не раздались. Но и гробовой тишины тоже не было. Зато можно было предположить, будто все оставшиеся внизу всю свою жизнь только тем и занимались, что лазили по водосточным трубам. Посыпались десятки советов:

— Держись теперь правой рукой!

— Крепче прижимайся!

— Левую, левую поднимай!

— Хватайся за крюк!

Но желанный голос, который произнес бы: «Осторожнее, Эдик!» — так и не долетел до моих ушей.

Наконец я выбрался на крышу. Она дышала жаром и приятно хрустела под ногами.

— Кидай, кидай! — закричали мне снизу.

Я швырнул мяч, все к нему бросились, подхватили, и тут же матч возобновился.

Слезал я без советов и указаний. А слезать, известное дело, гораздо труднее, чем влезать. Но, видимо, в моих способностях уже никто не сомневался, и спуск мне доверили совершить одному. Возле трубы не было ни души.

Когда же я стал на землю двумя ногами и привел более или менее в порядок брюки и рубашку, матч уже закончился. В углу двора звенели биты: Чикиряй организовал игру в расшибалочку.

— А-а, — сказал Чикиряй, — верхолаз. Ставь на кон. По пятачку играем.

Играть мне не хотелось, да и в кармане-то был всего двугривенный.

— Я посмотрю! — сказал я.

Игра была в разгаре. Ребята столпились возле горки монет, позабыв обо всем на свете.

К ящикам у стенки прислонился чей-то велосипед, на его руле болтался Виталькин фотоаппарат, здесь же под колесами велосипеда лежал покинутый всеми футбольный мяч.

Чикиряй, наверное, выигрывал, потому что при каждом ударе биты слышались его восклицания: «Во да-

ет!», «Во колет!», «Ну разбойник!» Когда же Чикиряй бил сам, то лишь покрывал.

Я равнодушно смотрел, как под ударами бит перерачивались монетки.

Чикиряй вдруг притих. Все реже он бил, все больше в азарт входили другие. А Чикиряй стал мазать: ударит и выходит из кона до следующего раза. А возле монеток теснее и теснее сжимался круг ребят.

И тут я заметил, что Чикиряй, когда все склонились над монетками, снял с велосипеда Виталькин аппарат и быстро сунул его за ящики. Встретившись взглядом со мною, он понял, что я все видел. Тогда он прижал палец к губам и выразительно кивнул на ту стенку, где была моя надпись.

Снова Чикиряй стал выигрывать. Опять зазвучали: «Во дает!» и «Ну разбойник!».

Я стоял совершенно подавленный. Я не знал, как мне быть. Сказать Витальке про аппарат — тогда Чикиряй тут же выдаст меня с этой надписью. Не говорить? Да разве я...

— Ну, шустрики-мямлики, ставь по десять копеек! — кричал Чикиряй.

Смелчаков не нашлось: Чикиряй и так здорово всех ободрал. Мальчишки положили биты в карманы.

— Айда в футбол! — предложил Диман и откатил от велосипеда мяч.

Кто-то из ребят взял за руль велосипед.

— Стой, — сказал Виталька. — А мой аппарат?

— Какой?

— Да тут на руле висел.

— Нет никакого аппарата.

Виталька забеспокоился:

— Да я сам вешал.

Все смотрели на велосипед, на то место, где он стоял, пожимали плечами.

«Скажи... скажи... скажи...» — настойчиво забила в моей голове мысль. Но я попытался унять ее. «А как же надпись?» — спросил я. Но другая мысль вонзилась, как иглока: «Украли аппарат. Ты же сам видел. Молчать будешь, да?»

— А может, ты его дома оставил? — словно сквозь вату донесся до меня голос Чикиряя.

— Я же помню, как вешал...

«Значит, вот что получается, если пишешь «Таня

плюс Эдик». Получается трусость... да, трусость... ну нет...»

— Дико извиняюсь; — говорил Чикиряй, — что же, твой аппарат кто-то свистнул, да? Может, ты скажешь, это я сделал? — Он похлопал себя по карманам. — Обыщи! — приказал он Витальке.

— Зачем же! И так видно...

— Нет, ты обыщи! А то еще скажешь, что я вор! Я почувствовал, что задыхаюсь.

— Ты вор! — выдохнул я, и сразу стало легче.

— Что?! — надвинулся на меня Чикиряй. — А ну повтори!

— Ты вор! — Меня опять охватывало напряжение. Я уже почти ощущал удар Чикиряя на своем лице. — Ты положил его туда, за ящик. — Я показал рукой.

Виталька полез и сразу же нашел аппарат.

Я все стоял перед Чикиряем и чувствовал, как дрожат мои пальцы, сжатые в кулак.

Чикиряй вдруг расхохотался.

— Ма-ла-ца! — протянул он. — Возьми с полки пирожок с гвоздями. Я-то положил, думал, посмеемся. Виталька небось стал бы землю рыть, а ты... Тьфу!.. Все испортил.

— Врешь, — сказал Виталька.

— Я вру?! — Чикиряй скривился. — Это он все врёт. Спросите у него, как он стенку разукрасил. «Таня плюс Эдик». Сам выводил, старался, чтоб пожирнее было.

Какая-то непонятная сила кинула меня на Чикиряя. Я залепил ему один раз, но тут же ударом в челюсть был отброшен на ящики. Они загрохотали, посыпались.

Я снова устремился на Чикиряя. Я лез напролом, как танк. Мне нужно было одно: поскорее добраться до его ненавистой рожи. Я смутно видел, как к Чикиряю сразу метнулись Диман и Леха. Я стукнул своего врага еще несколько раз и опять отлетел к ящикам. Теперь уже сильнейший удар пришелся мне по носу. Я открыл глаза, вытер кровь.

Чикиряй, расшвыряв по сторонам Леху и Димана, уходил со двора. Виталька растерянно стоял, держа за ремешок аппарат.

Поднявшись, я пошел к своему подъезду. Под ноги попала Чикиряева цепочка от брюк. Я наподдал ее — она сверкнула на солнце золотистой змейкой.

Возле самого подъезда меня догнал Виталька.

— Слушай, — сказал он, — ты не думай про надпись. Он же врет, Чикиряй, я знаю...

— Ладно, — отмахнулся я. — Пойду умоюсь.

А в самом подъезде я столкнулся с Таней: она спускалась от Верки.

— Хорош, — сказала она. — Посмотри, на что рубашка похожа!

— По трубе лез, — объяснил я.

— При чем тут труба? Ну и выдумщик!

— Правда лез, — сказал я.

— Мы с Верой видели, как вы играли на деньги. А потом ты затеял драку с этим хулиганом. Иди умойся.

— Я и так иду. — И я зашагал дальше.

В этот день из дому я не выходил. Нос мой распух. Покажись с таким на улицу — все помрут от смеха.

Хорошо, что родители ушли в гости. А то бы мама разохалась: кто, да за что, да мыслимое ли это дело. Может быть, это дело и не очень-то мыслимое, но раз уж случилось, то никакими расспросами тут не поможешь. Только, наоборот, еще больше настроение испортить. Как этого не понять?

Я разогрел обед, быстренько поел, а потом достал книжку «Путешествие на «Кон-Тики» и включил радио. Вот-вот должен был начаться репортаж о футбольном матче между тбилисским «Динамо» и московским «Спартаком».

Конечно, можно было отложить книгу и только слушать репортаж, тем более что я болею за «Спартак». Но недавно я узнал, что Юлий Цезарь мог одновременно слушать, читать и говорить.

— Проще простого! — сказал я. — Подумаешь...

— А ты попробуй, — предложили мне.

И вот я решил попробовать. Книга интересная — так мне сказали в библиотеке, матч — и говорит нечего, поэтому нужно было пользоваться случаем.

Книгу я взял в руки вместе с первыми же звуками футбольного марша. Пока играли марш, прочитал почти страницу. Потом Николай Озеров стал говорить: «Внимание! Говорит Москва! Наш микрофон установлен...» Это все тоже вода. Я перевернул страницу. Озеров общал, что до конца матча осталось... Ага! Это важно.

«...двадцать две минуты...» Надо же, в самом конце подключили репортаж! «...А счет матча...» Ну-ка, ну-ка! «...так и не открыт. Ноль — ноль...» — «Мази-лы», — подумал я, а сам читаю — еще полстраницы прочитал.

Дело, значит, вот какое. Один ученый плывет по океану на деревянном плоту с попугаем и пятью спутниками. Это действительно интересно. А потом ученый спрашивает какого-то там бородача: «Можете вы объяснить мне, на кой черт мы тут очутились?» Но бородач отвечает: «На кой черт я очутился, вы сами лучше знаете. Это все ваша проклятая идея».

А Озеров что-то там говорит. Нет, я слушаю, конечно. «...и мяч опять прошел рядом со штангой. Удобный был момент, чтобы взять ворота, но атака не всегда заканчивается голом. Напряженная игра! Счет по-прежнему...» Слушаю и читаю. Вот, думаю, мази-лы. «...в пользу динамовцев».

Что?.. Я подскочил. Когда же забили «штуку»?! Кто? Я ведь все время слушал. Как же так?! Сбегать, что ли, к Витальке? Нет, с таким распухшим носом лучше не выходить. Я еще раз посмотрел в зеркало. Ну и носище!

Посижу-ка дома. Нужно только внимательно слушать. А читать? И читать тоже. Значит, виновата какая-то «проклятая идея».

Ага, прорвался Хусаинов! Обвел одного, второго. Ну бей! Бей же! Эх!.. Котрикадзе ловит мяч. Конечно, такому вратарю в самую «девятку» бить надо. Нет, не везет «Спартак»!

А до ближайших островов осталось три тысячи пятьсот миль. Попугай зачем-то хочет вцепиться в судовой журнал...

Мяч вбросили. Он у Нодия. Нодия хотел передать Метревели, но неточно пробил. Мяч у спартаковцев. Молоток Нодия. Продолжай в том же духе — кувалдой станешь...

Хусаинов уже в штрафной у тбилисцев. Ловкий финт! Обошел защитника... Навстречу ему еще двое. Не успевают... Он бьет параллельно воротам. И набежавший Логофет головой направляет мяч в сетку. Ура! Счет один — один. До конца матча две минуты.

Ну что ж! И такой счет достижение. Правда, впереди трудные встречи с «Торпедо» и ЦСКА. Не наклепа-

ли бы «Спартакчу». Вот и финальный свисток. Один — один. Порядочек!

Я читаю дальше: «Странно, — сказала жена, — но на том берегу острова никогда не бывает бурунов». Позвольте, какая жена? На плоту были только мужчины. И остров откуда-то взялся. А ведь читал все подряд, ни строки не пропустил. Придется все перечитывать.

Нет, далеко мне до Цезаря. Он же еще одновременно и говорил. Я представил себе: Цезарь сидит и читает, а приближенный, ну хотя бы Кассий, о чем-то ему докладывает, но в это же время Цезарь отдает какие-то распоряжения другому своему приближенному — Бруту. Да, в самом деле был великий человек. А Кассию и Бруту потом завидно стало, вот они его и убили. Страшная вещь — зависть. Я, правда, и сам завидую Ольману: ничего не учит, а только пятерки хватает. Осенью в седьмой класс пойдем. Неужели он и в седьмом так сможет?

За окном вдруг стало быстро темнеть. Я выбрался на подоконник, и тут как раз по черному небу полоснула молния. На какой-то миг она ослепила меня. А потом ударил гром. Он трахнул где-то над самой крышей, и мне показалось, что дом наш дрогнул.

Сделалось немного жутко и радостно. У меня всегда так, когда идет гроза. Я люблю и гром, и молнию, и шелестящую песню дождя. Только хорошо, если дождь ненадолго.

Опять сверкнула молния. Огромная. В полнеба.

А вот и дождь. Я уже слышу его. Он идет ко мне по крышам. Приближается, приближается...

Нахлынул.

«Дождик, дождик, пуще!..»

Улица сразу обезлюдела. Стены домов потемнели. По мостовой понеслись потоки.

Я смотрел на дождь, и мне было очень хорошо. Как будто он и с меня смывал что-то лишнее, что-то давнее.

И вдруг мне захотелось выскочить туда, на дождь. Так захотелось, что я спрыгнул с подоконника, на ходу скинул рубашку и ботинки и бросился к двери.

Дождь был теплый. Вернее, его первые удары все же были неожиданными и холодными. Но это лишь вначале. А потом он стал теплым.

Я пробежал до ворот и обратно.

У стены, где была моя надпись, я остановился. На мокрой, потемневшей стене надпись выделялась не так сильно. Я провел пальцем по букве «Т» и увидел, что она стирается. Тогда я стал тереть крепче, и буква почти совсем пропала. Под ногами я подобрал кусочек стекла, с его помощью работа пошла куда быстрее. Я соскоблил всю надпись, постоял еще немного под дождем и вернулся домой.

Переодевшись, я снова сел на подоконник. Дождь кончался.

Он уже не колотил яростно, а, израсходовав, видимо, все свои силы, продолжал накрапывать так лишь, из упрямства.

По проводам бежали капли. Они наталкивались одна на другую, бежали, срывались вниз, но их место занимали новые — и бежали, бежали, чтобы столкнуться и также упасть на землю.

Когда зажглись огни, улицы еще были мокры. Огни стражались на мостовых и тротуарах. Это было очень красиво. Я люблю, когда вечером блестят улицы.

И уже совсем поздно, когда пришли родители и отругали меня за распухший нос (сказал, что бежал по лестнице и споткнулся), раздался вдруг звонок. Я открыл дверь и увидел Витальку.

— Заходи.

— Нет, лучше ты выйди, — сказал он тихо и пома-
нил меня рукой.

Прикрыв дверь, я вышел на лестничную площадку.

— Ты что?

— Знаешь, — зашептал Виталька, — я ходил в га-
строном, уже после дождя, и встретил там Ру... Тань-
ку. Нам за маслом вместе пришлось стоять. — Он по-
молчал.

— Ну и что? — спросил я, тоже подождав.

— Так я ей, знаешь, рассказал, что ты с Чикиряем
из-за нее дрался.

«А она что?» — хотел я спросить, но утерпел.

— Вначале не поверила, — продолжал Виталька, —
а потом говорит: «Молодец какой! Так, — говорит, —
можешь ему и передать». Ну ладно, я побегу. Пока. —
И он ушел.

Вернувшись, я взялся было за «Кон-Тики». Но не
читалось. Я думал о Тане. Может, я зря стер надпись?
Может, Таня+Эдик все-таки что-то значит?

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нас часто стали видеть втроем: меня, Таню и Витальку. Во дворе уже не кричали: «Русалка, Русалка!»

Только маленький Костик еще досаждал нам. Завидев меня, он садился на корточки где-нибудь поближе к своему подъезду и начинал вопить:

— Тили-тили-тесто, тили-тили-тесто...

Потом он стал кричать это же Витальке, потому что заметил, как Виталька стоял и разговаривал с Таней.

Когда же он увидел нас сразу троих — мы как раз шли в кино, — он по привычке лишь крикнул: «Тили-тили!» — и запнулся. «Жених» уже никак не получался. Это сообразил даже Костик. От растерянности он забыл отбежать к своему подъезду, и тут-то мы его поймали.

— Значит, «тили-тили»? — спросил его Виталька. Костик молчал.

— А если по кумполу? — произнес я и слегка пово-рошил волосы на его голове.

Костик поморщился. По кумполу он не хотел.

Я, конечно, тоже не хотел воздействовать на Костика таким образом. Но что делать с этим шпингалетом, мы не знали. Отпустить? Он тут же отбежит к подъезду, сядет на корточки и заведет опять свое «тили-тили».

Костик, видимо, почувствовал нашу нерешительность. И если в первый момент он сжался, ожидая справедливого наказания, то теперь нагло посмотрел на нас и сказал:

— Сладили, да?

Мы рассмеялись, а потом Виталька так и спросил:

— Что же с ним делать?

— Может, мороженым накормить? — шепнул я Витальке.

— Зачем?

— Чтобы помалкивал.

— Вот еще! Потом от него не откупишься. Читал я где-то про такого типа.

Положение наше становилось все затруднительнее.

— А к нам в театр Бабу Ягу привезли, — неожиданно проговорила Таня. — Голодная сидит, два дня ничего не ела.

— Вот и хорошо, — подхватил Виталька. — Айда покормим. — И он принялся пристально рассматри-

вать Костика. — Жирку у него не очень, но ведь она голодная?

— Голодная, — подтвердила Таня. — А таких крикунов она особенно любит.

— Баба Яга только в сказках бывает, — неуверенно произнес Костик и попробовал дернуться, но я держал его крепко.

— А нам и привезли ее для сказки, — обрадовалась Таня. — В театре будут сказку ставить. Никак Бабу Ягу не могли найти.

И тут я почувствовал, как задрожал Костик. Мне стало жаль мальчугана.

— Беги, — сказал я и отпустил его. Повторять ему не пришлось. Костика как ветром сдуло.

— Что ж ты? — накинулся на меня Виталька. — Все испортил. Сейчас бы такую хохму разыграли!

— Да он и так больше не будет, — попробовал я оправдаться.

— «Не будет, не будет»! — бубнил Виталька. — Вот посмотришь. Или тебе это нравится?

— Что нравится?

— Как он кричит.

— Ты что, совсем? — разозлился я.

Таня молчала. Но я видел, что и она не на моей стороне. Мне это было неприятно, только я не стал больше оправдываться. Пусть думают, что хотят. И в кино мне тоже расхотелось идти...

— Ладно, — проговорил я, — вы идите, а я погуляю. У меня что-то голова болит.

— Ну что ты, носопыркин, — сказала мне Таня. — До кинотеатра пройдемся, и перестанет. — Она улыбнулась.

— Нет, — заупрямился я, — не перестанет.

Я вовсе не обиделся за «носопыркина»: она несколько раз так говорила, пока я ходил с распухшим носом, и у нее это получилось не зло, а как-то мягко. Мне самому смешно делалось, но все же лучше бы сейчас она назвала меня по имени.

— Хороший фильм, — сказала Таня. — «Мужчина и женщина». Идем.

— Нет.

— Цветной, французский, — добавил Виталька.

— Нет, — покачал я головой.

— Ну как хочешь, — сказал Виталька. — Покеда.

Я думал, что они еще поугovarивают меня, но они

повернулись и пошли. Я тоже пошел, только в другую сторону. Я все ждал, что они крикнут мне, и тогда бы я остановился, помедлил немного и пошел бы к ним.

Я задумал: вот сейчас пройду десять шагов, и они крикнут. «Раз, два, три...»

Ну, прибавлю еще восемь. «Раз, два, три...»

И еще пять. Я считал медленно: «Раз... два... три... четыре...»

Не крикнули.

Только насмешливое «покеда» будто застряло в ушах.

Костик и в самом деле перестал надрываться со своим «тили-тили». Мне, правда, от этого было не легче, потому что с Таней встречался Виталька... А не я.

Они по-прежнему звали меня с собой, только я придумывал разные предлоги, чтобы не пойти. Вот если бы рядом с Таней не было б Витальки, тогда другое дело! И что она в нем нашла? В футбол не лучше других играет. Не силач. Ну что еще? Брюки у него, правда, всегда выглажены. Так это чепуха. А может, он красивый? Не знаю. По-моему, ничего особенного: у него зачес, так и у меня зачес, и у Димана тоже. Разве лишь таскает Виталька в кармане гребенку и зеркальце. Смехота. Словно девчонка какая-то. Но может, как раз это и нравится Тане? Попробуй тут разберись. А еще у Витальки светлые волосы. Может, ей светловолосые нравятся, или, как их там называют, блондины?

Однажды ко мне вдруг подошел Иван Денисович.

— Здравствуй, Эдик. Что-то ты к нам не заходишь?

— Здравствуйте, — ответил я, помявшись. — Как-то все некогда.

Он посмотрел на меня внимательно и сказал:

— А я думал, у вас в каникулы больше времени.

— Времени-то больше, да...

— Что?

— Дела всякие, — проговорил я и покраснел.

— Дела, Эдик, у всех. И никогда они не кончатся.

А ты завтра вечером заходи к нам. Таня что-нибудь вкусного к чаю купит.

— Ну что вы! Не нужно, — поспешно проговорил я.

— Что — не нужно?

— Да покупать... Из-за меня.

— Не из-за тебя. У нее завтра день рождения.
— Правда? — вырвалось у меня, и я совсем смутился.

Но Иван Денисович, кажется, ничего не заметил. Он сказал:

— Таня сама хотела тебя пригласить, да ты все где-то скрываешься. Дела у тебя. Вот она и попросила меня это сделать. Придешь?

— Угу, — кивнул я.

— Мы тебя будем ждать. — И он не спеша зашагал к воротам.

А я остался стоять как вкопанный. «Значит, у Тани день рождения и мне нужно будет к ней пойти, — размышлял я. — А может, вовсе и не нужно? Что мне там делать? Но ведь она хочет, чтобы я был. Ну и что ж! Зато я не хочу!.. В самом деле не хочешь?» — спросил я сам себя. Но не ответил, а стал думать, что бы ей подарить. На дне рождения у девчонок я до сих пор не бывал, если не считать той поры, когда ходил в детсад.

Так ничего и не придумав, я решил посоветоваться с мамой. Начал издалека.

— Мам, ты не знаешь, что женщины любят? — спросил я как бы невзначай.

Мама вскинула брови, посмотрела на меня, а потом сказала:

— Женщины любят, чтобы мужчины хорошо вели себя. — Подумав, добавила: — И не только в день Восьмого марта.

— А из подарков?

— Ну, женщины, очень любят цветы.

Цветы, конечно, отпадали. Не явлюсь же я к Тане с букетом. Даже представить смешно. Я — и вдруг с букетом. Будто жених какой...

— А еще что? — спросил я.

— О, еще столько всякой всячины, что все невозможно и перечесты! Кому же ты хочешь сделать подарок? Мой день рождения, если ты помнишь, еще не скоро.

Говорить или не говорить? Пожалуй, лучше сказать. Хоть какой-то совет получу. Вообще советы, тем более родительские, я не очень-то люблю. Но тут случай особый. Ведь не с посторонней же тетей советоваться. Ой! Вот лопух! Как раз с посторонней-то и нужно было. Не стала бы расспрашивать. Но теперь ничего не поделаешь. Нужно говорить.

— Да у Тани день рождения, — сказал я небрежно.

— У какой Тани?

— Да тут одна. В пятой квартире живет.

— А-а, это которую вы Русалкой звали? Хорошая девочка. Вежливая такая.

Так и есть — я начинаю краснеть. И откуда мать все знает? Молчит, молчит, а самой, оказывается, все известно.

— Понимаешь, — заговорила опять мама, — я боюсь, что ничем помочь тебе не смогу. Ты сам решай. Только учти: дарить нужно то, что нравится тебе самому. Ну и, разумеется, нужно знать или предполагать вкус человека, которому делаешь подарок... На тебе деньги и учти, что дорогой подарок лучше не делать. Главное — чтобы он ей понравился.

Я взял деньги и пошел на улицу. В голове моей все смешалось. Значит, и мне должен нравиться подарок, и ей. Ну, что мне нравится, я знаю. А ей? Может, ей он и вовсе не понравится?

Во дворе было пусто. Лишь возле ворот стоял Костик, что-то строгал и на мотив уже навязшей в ушах «Неаполитанской песенки» напевал:

Дорогая моя баб...ка,
Поиграй ты мне на скрип...ке,
А за это тебе, баб...ка,
Подарю кусочек рыб...ки...

— Чего делаешь? — мрачно спросил я.

— Кинжал. — И он снова запел: «Дорогая моя баб...ка...»

— А по шее хочешь?

— За что? — Костик и ухом не повел. — «Поиграй ты мне на скрип...ке...»

— За то, что намусорил. — Я показал на стружки. — А ну собирай быстро!

— Сам собирай, — огрызнулся Костик и, отбежав на солидное расстояние, вновь принялся стругать. — «А за это тебе, баб...ка...»

— Ну погоди мне!

— «Подарю кусочек рыб...ки...»

Черт побери, не бегать же за ним сейчас! Погрозив ему кулаком, я пошел прочь.

Я ходил по магазинам, и положение мое все усложнялось. Мне ничто не нравилось.

В кондитерском магазине я увидел, как коробку с конфетами перевязывали розовой лентой. Навертели, навертели сверху этакий пышный бант, похожий на цветок. Глядеть противно, не то что нести. Я поскорее к выходу.

Ну и мама! Запутала меня совсем. Сказала бы: «Купи ей духи «Красная Москва» или «Купи ей шарфик синего цвета». Раз, два — денежки в кассу, сверток в карман. И полный порядок! А как теперь быть?

Впрочем, мама вначале сказала точно, без дураков: цветы. Только об этом лучше не думать, не терять время попусту.

Но мне все же вспомнился скверик, что был неподалеку от нашего дома. Там только на днях распустились пионы. Белые и розовые. Я-то не знал даже, что они так называются. Просто шел я сквериком, а две девочки остановились возле клумбы и принялись: «Ах, пионы!», «Ой, какие красивые!», «Какое загляденье!» Мне тогда от этих слов аж тошно стало.

А может, они и верно красивые? Пожалуй, красивые. А что? Цветы даже футболистам дарят. И футболисты берут, не морщатся. Но идти с букетом?! Нет уж. Это слишком!

После долгих хождений я купил в книжном магазине двухтомник Уэллса. Я, правда, читал у этого писателя только «Человека-невидимку». Но, может, и все остальное интересно?

Я успокоился. Мне подарок нравится. И нести приятно. Это не какая-нибудь коробка с бантом.

А за это тебе, баб...ка,
Подарю кусочек рыб...ки... —

завертелись в голове бестолковые слова. И никак я их не мог прогнать.

Но, проходя по скверу, я вновь вспомнил про пионы. На ветру они чуть покачивались в мою сторону, словно кивали мне. А у меня в руках были две толстые книжки в черных переплетах. Будет ли им рада Таня? Вот цветам бы таким она обрадовалась. В этом я не сомневался.

Как-то мы прогуливались с Таней и Виталькой, и Таня подошла вдруг к небольшой клумбе. Виталька мигом снял с плеча свой фотоаппарат и говорит: «Сфотографировать?» Таня улыбнулась. «Только поближе по-

дойди, — попросила она его, — чтобы цветы крупнее получились».

Вспомнил я это, и тут обожгла меня дерзкая мысль...

Цветы у Тани будут! И их вовсе не нужно будет вручать. Их не нужно нести, пряча букет за спиной. Нужно только... не проспать.

Ночью я встал, тихонько оделся и, прихватив ножницы и тесемку, что были спрятаны у меня под подушкой, вышел на улицу.

Я никогда не ходил по городу ночью. Было немного страшновато: а вдруг кто выскочит, на меня нападет? Я трогал в кармане ножницы и представлял, как буду защищаться ими.

Потом я стал стыдить себя: город-то наш областной, многолюдный, полмиллиона жителей, а я чего-то боюсь. И вдруг возле одного угла я увидел человека. Он стоял, прислонившись к водосточной трубе, и ждал меня. Он смотрел на меня, как питон на кролика, не сводил с меня глаз и не шевелился.

Я замер. Сердце мое бешено колотилось. В кармане я сжимал ножницы. Бежать было бесполезно: слишком поздно я заметил этого человека. Да и вообще, чего бежать? По-моему, хуже всего ждать удара в спину.

Вот человек шевельнулся, выставил вперед ногу, но не шагнул.

— Ква-а-асу! — изрек он с растяжкой. — Ква-а-асу! «Пьяный, — подумал я. — Фу ты, черт!»

Я хотел пройти мимо. Но он все повторял: «Квасу!» Вернее, не просто повторял, а умолял. Он держался одной рукой за водосточную трубу, а вторую протягивал ко мне. Всего его шатало, будто кто дергал в разные стороны.

И тут я подумал: «А может, ему плохо, может, человек погибает без воды?..»

Пришлось возвращаться домой. Осторожно открыл дверь, пробрался в кухню. Я хотел было взять стакан, но потом решил, что дядька-то не напьется, должно быть. Взял литровую банку.

Пьяный ждал возле той же трубы. Увидев меня, он закивал головой и протянул опять руку. Говорить он, наверное, уже не мог.

Я дал ему банку, и он сделал два глотка. Только

два глотка. А потом вернул банку. Даже «благодарю» сказал. Я-то думал, он высосет всю воду и шарахнет банку о тротуар, только стекла брызнут. А он — «благодарю».

— Пожалуйста, — сказал я. — Может, еще выпьете? Видно было, что ему стало легче.

— Нет, — покачал он головой, — воду не пью.

— Как — не пьете?! — проговорил я.

Он пошатнулся и сказал:

— Я п-пью все... кроме воды... и к-керосина...

Что ему на это ответить, я не знал.

— Я пойду, — проговорил я и поставил около него банку.

— Адью, — вымолвил он.

Я зашагал дальше, и мне — странное дело — уже не было боязно идти по ночному городу, а даже, наоборот, появлялось какое-то веселое настроение. Почему? Неужели из-за пьяного дядьки? Вот чудеса!..

В скверике было совсем тихо и пустынно. И все же я долго не решался ступить на газон и подойти к клумбе. Кое-где в сквере горели фонари, и на клумбу тоже падал свет, хотя и неяркий.

Я много раз осматривался по сторонам, ходил вокруг да около и никак не мог сделать первый шаг. Все равно как в холодную воду. Мне казалось, что только я начну срезать цветы, как тут же появится сторож или милиционер и схватит меня за шкуру.

В холодную воду нужно бросаться сразу.

Не оглядываясь, я побежал к клумбе. Пионов было много. При слабом освещении они мне понравились. Даже очень. А может, они мне понравились из-за того, что ради них я затеял эту ночную операцию? Где-нибудь в разведке ее бы закодировали: операция «Пион». Там любят красивые названия.

Я достал ножницы, срезал семь или восемь пионов и обвязал букет тесемкой.

Нести букет даже ночью было как-то неудобно. А если встретишь кого? Подумают: вот чудик идет. И еще этот пьяный неподалеку от дома стоит, просит квасу. Как ему про цветы объяснить?

Но пьяного на том месте не оказалось. Куда-то ушел. Возле водосточной трубы стояла моя банка. Аккуратно стояла. Не разбитая. С водой.

Мне опять стало весело. И уж совсем непонятно

для чего, я выдернул из букета один пион и сунул его в банку. И пошел.

Во дворе меня снова охватило беспокойство. Оставался самый важный момент операции: букет нужно было забросить в Танино окно. Второй этаж, третье слева от угла.

Кидаться я умел неплохо. Будь у меня в руке снежок, я б его не то что в окно — в форточку бы забросил. Но в руке-то у меня букет! А промахнусь раза два — получится веник. Да и вообще, если долго кидать, весь дом разбудишь.

Я попробовал прикинуть в уме оба случая: первый — если я попадаю в окно, и второй — если не попадаю. В первом случае я бегу в свой подъезд, во втором — бросаюсь ловить букет. Все как будто продумано, все учтено.

Размахнувшись, я с силой метнул букет. По броску я понял, что не попаду, и в какую-то долю секунды был уже под окном, чтобы ловить цветы.

Тут же раздался звон стекла, и я втянул голову в плечи, ожидая, что сейчас посыплются осколки. Но они не посыпались. Не упал и букет. Лишь тогда я сообразил, что кидал-то в распахнутое окно, значит, я все-таки попал туда... И не только попал, а... Перед глазами как бы мелькнула круглая, пузатенькая ваза, та, что стояла на серванте, а потом удлиненная, овальная, та, что красовалась на столе...

Вспоминать остальные предметы было некогда: нужно было давать деру.

С утра весь дом облетела удивительная весть: ночью у бабки Лукерьи прыгнула с буфета и разбилась кошка-копилка. Ну ладно бы просто прыгнула («Каких чудес не бывает на божьем свете!» — утверждала бабка Лукерья), а то ведь кошка взамен себя оставила на буфете цветы. Большой букет цветов. Красные и белые. Самые настоящие.

— Я, — рассказывала бабка, — спервоначалу думала, сон вижу, когда ночью-то все зазвенело. Вот, думаю, какой сон дурной. К чаму бы звон этот окаянный? Свет не зажигаю, ляжу. Кругом все тихо. Перекрестилась, опять уснула. А утром-то проснулась, стала тапок надевать, гляжу — батюшки, на полу черепки и деньги монетками рассыпаны! Глянула на буфет-

то, у меня аж тапок из рук: кошки нет, а на ейном месте цветы. Ну, думаю, совсем померла. Караул кричать не могу: силы нету. Рот раскрою, как рыба, а голос не идет. Крестным знаменьем осенила себя — полегшало. Вот ведь какая напасть вышла. И к чаму бы такое?..

Лукерье кто верил, кто не верил. Большинство, конечно, не верило. А вот к чему «такое», объяснить никто не мог.

Никто, кроме меня.

Будь «такое» не букетом, а чем-то иным, я бы, пожалуй, признался бабке, сказал бы, что сорвалась рука и что кидал я не в ее окно, а в соседнее. Но «такое» было букетом, поэтому я промолчал.

На день рождения к Тане я шел со странным настроением. Мне хотелось ее увидеть, но я не знал, как она меня встретит и что скажет.

Возле двери, вместо того чтобы позвонить, я задумался. Стоит ли вообще мне идти? Вдруг она обо всем догадалась? «А, — скажет, — букетошвырять! Привет тебе от бабки Лукерьи». И захлопнет дверь!

Пока я размышлял, подошел Виталька. В руке у него был маленький сверточек.

— Что, — спросил он, — не открывают? Может, дома нет.

— Звонок что-то не работает.

— Ну-ка, — сказал Виталька и нажал на кнопку. Дзынь! — зазвенел звонок.

— Видишь, — заявил Виталька, — у меня все работает. — И он поправил темный галстук.

Я никогда раньше не видел Витальку в галстук. А тут нате, вырядился! Проборчик, как на картинке в парикмахерской... Может, и мне нужно было попросить галстук у отца? Но тут же мне стало стыдно за свою минутную слабость. Что я, совсем, что ли, спятил?

Дверь открылась.

— А, мальчики! — У порога стояла Таня. — Входите, входите.

На ней было новое платье с крупными черными горошинами.

— Поздравляю тебя, — выпалил Виталька. — Желаю творческих успехов на сцене. — И он сунул ей свой сверточек.

— Поздравляю, — сказал я. — Желаю успехов... — И тут запнулся. Что сказать? Виталька, конечно, все

дома продумал. А я? Ну и дурак! Каких же успехов? Если про сцену, значит, повторить, как попугай. Нет уж. Тогда каких? В учебе? Не годится. Сейчас лето началось, зачем вспоминать про учебу? Нужно скорее хоть что-то сказать. Совсем неловко получается. Но что? — ...Больших успехов в личной жизни, — бухнул я и покраснел.

— Спасибо. Проходите, ребята, в комнату.

В комнате, где уже был накрыт стол, сидели на диване Иван Денисович и Верка Рященцева.

— Здравствуйте! — поднялся нам навстречу Иван Денисович. — Молодцы, что не опоздали. Теперь, кажется, все собрались. Да, Таня?

— Да, сейчас будем садиться.

И только тут я увидел, что все еще держу в левой руке две здоровенные книжищи Уэллса.

— Куда положить? — спросил я Таню.

— Уэллс, — прочитала она, склонив голову. — Это мне?

— Ага, — сказал я и протянул ей обе книги. — Здесь про человека-невидимку и еще всякая фантастика.

— Спасибо, — сказала Таня. — Я как раз хотела о нем прочитать. — И она унесла мои книги.

Потом она развернула Виталькин сверток.

— Духи!

— Покажи, — попросила Вера. — Ой, «Красная Москва»! — Она поднесла пузырек к носу. — А какой запах! — И протянула мне, как будто я просил ее. — На, посмотри.

Я взял коробочку с духами, посмотрел, понюхал.

— Здорово, — сказал, — пахнут.

Сказал я это просто так, чтобы не обидеть девченок. По-моему, одеколон лучше пахнет, сильнее. Я смотрел на коробочку, и мне казалось, что это та самая, которую я чуть было не купил в одном магазине. Даже царапинка слева на крышке та же. Запомнил я потому, что никак все не мог решиться — покупать их или нет? А потом подумал: ну их к аллаху! Что Танька, взрослая, что ли, такими духами душиться! Виталька еще после засмеет. И вот пожалуйста! Те же самые духи. Цирк!

Я улыбнулся и взглянул на Витальку. Он отвел глаза. Мне тогда захотелось поддразнить его.

— Виталька, — позвал я.

— Чего?

— Ты молоток, Виталька. Такие духи достал. Разбираешься.

Виталька не знал, что сказать. Он отошел к книжным полкам, стал рассматривать корешки книг. А я торжествовал. Я решил выдать ему за все.

— Наверное, в очереди долго стоял, а?

— Да нет, — промямлил Виталька, — не долго.

Я видел, что он готов был провалиться сквозь землю. Но жалость во мне даже не шевельнулась.

— Ой! — Я выронил из рук пузырек.

Девчонки вскрикнули, но я тут же у самого пола успел поймать его. Этот фокус у меня был давно отработан. Даже мама моя сохраняла спокойствие, когда я при гостях вот так же «ронял» ее любимую чашку. «Ловкость рук, — пояснял я изумленным гостям и нагло спрашивал: — Повторить?» Все говорили: «Нет, нет, разве можно, что за баловство!»

Сейчас тоже все были испуганы. Виталька поправлял галстук, жалко улыбаясь. Он, кажется, понял, что я их разыгрывал.

— Положи, Эдька, — сказала Верка. — Какое чудо, что поймал. А я-то думала, ну, всё...

Я поставил духи на подоконник.

— Подумаешь, чудо, — попытался как ни в чем не бывало сказать Виталька. — Вот у Лукерьи, говорят, было чудо? Это да!

Меня бросило в жар. Неужели знает?

— А что у Лукерьи? — спросила Верка.

— Не знаешь?

— Нет.

— И я не знаю, — сказала Таня.

— А я уж и подавно, — вставил Иван Денисович.

Оказалось, что Верка пекла большущий пирог с яблоками (это был ее подарок), а Таня и Иван Денисович тоже были очень заняты, вот и прошла мимо них сегодняшняя новость.

Виталька начал рассказывать про бабушку Лукерью, а я все ждал, когда же эта история коснется меня. Он рассказывал смешно, изображал в лицах и бабуку и тех, кто ее слушал. Все смеялись, а я так же, как только что Виталька, жалко улыбался. Я знал, что удар вот-вот будет нанесен. Отличный удар. Под дых. «Вот сейчас, — думал я, — сейчас...»

Когда Виталька стал заканчивать свой рассказ, я

вдруг почувствовал, что мне ничто не грозит. Нет, он ничего не знал про меня. Ничего! Он бы не так расписал этот случай. Он бы намекнул кое на что и кое на кого. А тут, я видел, все камушки летели в бабкин город!

— Господи, — уморительно повторял Виталька. — К чаму бы это... Ума не приложу. Никак, конец света наступает. О Господи!

Виталька разошелся вовсю. Он захотел и нас присоединить к неожиданно получившейся игре.

— К чаму бы такое, родненькая, скажи? — Он обратился к Верке.

Верка подумала, подумала — засмеялась.

— К дождичку в четверг, — сказала она.

Виталька подошел к Тане.

— А ты, имянинница, скажи ты.

— У нее день рождения, — вмешалась Верка. — Отстань ты от нее.

— Скажи, имянинница, — напирая на букву «я», повторил Виталька.

— Поживем — увидим, — уклончиво ответила Таня.

А Виталька уже взял меня за руку:

— Можат, ты, мил человек, знаешь, к чаму?

Меня как током дернуло. «Вот когда он отыграется. Дождлся случая».

— К чаму? — настаивал Виталька.

— Пусти. — Я вырвал руку.

— Нет, мил человек, скажи, к чаму?

И опять вдруг мне стало легче. «Ну конечно, не знает. Он не так бы себя вел, не так». Мне тоже сделалось весело.

— К чаму? — не отставал Виталька.

— К киселю, — попробовал я свалить «дурочку».

— Нет, к пирогу, — запрыгала Верка.

«Уж молчала бы, Ряха. Расхвасталась своим пирогом», — подумал я.

Виталька шагнул к Ивану Денисовичу.

— Батюшка, можат, ты знаешь, к чаму б чудо такое вышло?

Иван Денисович тоже посмеялся, а потом сказал:

— Нет, Лукерья, чуда-то никакого.

— Как же так нет? — удивился Виталька.

— Да очень просто. Сами цветы не могли свалиться на буфет.

Тут все удивились. Лукерьины рассказы никто всерьез не принимал, а Иван Денисович еще что-то объяснить пытается.

Виталька позабыл, что он Лукерья, и первый начал спорить.

— Цветов вообще не было, Иван Денисович.

— Нет, были, — сказал я. — Лукерья в комнату жильцов приводила, показывала. — Я чувствовал себя в полной безопасности, и мне даже интересно было слушать начавшийся спор.

Но в это время прозвенел звонок. Таня пошла открывать и вернулась с телеграммой.

— Вот, — сказала она и прочитала: «Поздравляем, целуем, обнимаем. Мама и папа».

— А где они? — спросил Виталька.

— В Сибири. Они у меня геологи. Сейчас в экспедиции.

— Здорово, — сказал я. — Вот, наверное, путешествуют!

— О, еще сколько! — И вдруг Таня всплеснула руками: — Ребята, что вам сейчас подарю!.. — Она весело взглянула на деда и выбежала в коридор.

Вернулась она с небольшим мешком. Но не показала, что в нем лежит.

— Запускайте руки. Ну, кто смелый?

— Пустите меня, пустите меня! — закричала Верка, подпрыгивая на месте.

Она сунула руку в мешок и, взвизгнув, тут же выдернула.

— Ой, что-то колючее! Покажи...

— Неужели нет смелых? — сказала Таня.

Мы с Виталькой кинулись к мешку, и в руках у нас оказалось по большущей круглой шишке.

— Это кедровые, — пояснила Таня, — с орехами. Вера, возьми и ты. Не бойся. Она не кусается.

Шишка мне понравилась. Она была раскрыта, во все стороны торчали как бы скрюченные пальцы с когтями, а в щелках под этими пальцами виднелись орешки.

— Откуда такие шишки? — спросил я.

— Папа прислал с одним геологом.

Я посмотрел на шишку и представил себе, как она висела на кедре где-то далеко-далеко, в безлюдной тайге. Может, рядом с ней на ветке кедра пряталась громадная дикая кошка — рысь. Шишка видела, как пробирается по лесу медведь. А может, и он залезал на этот кедр.

— Люблю путешествия, — сказал я ни с того ни с сего.

— Правда? — спросил Виталька.

— Ага. — Я не заметил вовремя подвоха.

— В книжках? — уточнил Виталька.

— Да нет... — замаялся я и тут же понял, что сейчас Виталька спросит, где я бывал.

А я был только раз у тетки в Рязани и в Ялту ездил с родителями. Вот и все. Правда, в пионерском лагере у нас были походы. И мне очень понравилось топать с рюкзаком, разводить костры и печь картошку. Но Виталька ведь засмеет, если те походы назовешь путешествиями.

— А мы всегда уезжали на субботу и воскресенье, — выручила меня Таня.

— Кто это «мы»? — спросил Виталька.

— Папа, мама и я. Брали с собой палатку, иногда байдарку сборную и уезжали.

— Куда? — спросил я.

— В разные места. Недалеко, километров за пятьдесят, за семьдесят. У нас всегда карта была.

И оказалось, что все любят путешествовать — и Виталька, и Верка, и Иван Денисович сказал, что в молодости много походил по России.

— А давайте, — сказал я, — как-нибудь соберемся и махнем в поход.

— Идея! — воскликнул Виталька.

Все зашумели: правильно, мол, как хорошо.

— Еще бы байдарки сборные достать, — произнес я.

— Гигант мысли, — отозвался Виталька.

Ну для чего ему нужно все портить? Или же сегодня мы так настроены один против другого? Вычитал где-то: «Гигант мысли!»

— Говорун-говорунок, — сказал я, — подлижи пойдитворог.

— Я бы пошел, да ты уже все вылизал.

Не Иван бы Денисович, я б, конечно, не стерпел.

— Петухи, — сказал Иван Денисович, — давайте-ка садиться за стол.

Веркин пирог, я должен признаться, действительно был красив. От него вкусно пахло, по краям он был подрумянен, а в серединке разместились не то какие-то вензеля, не то узоры, присыпанные сахарной пудрой. Пирог походил на старинный герб. Я подумал, что Верке будет жаль смотреть, как начнут его резать.

Но Верка сама протянула мне нож.

— Поработай на пользу общества, — сказала она.

— Подожди, — остановил меня Иван Денисович.

С книжной полки он взял небольшую коробочку. Из нее вынул коротенькие свечки с острыми наконечниками внизу. Он воткнул в пирог четырнадцать свечек, и мы принялись зажигать их.

Потом мы немного посидели при свете свечей и выпили за Таню по рюмке кагора.

Иван Денисович сказал:

— Чуть-чуть можно ради такого случая.

Никогда я не думал, что так приятно сидеть за столом перед вздрагивающими огоньками. Я вообще люблю смотреть на огонь. Маленьким меня как-то привозили в деревню. В памяти остались русская печь, ухваты, чугуны. От печи я не отходил. Хозяйка вначале боялась, что я буду кидать туда щепки. Но потом успокоилась, поняла, что мне нужно было только смотреть на огонь. А смотреть я мог часами. Он был живой, он был непонятный, он грел.

Пока горели свечки, я как-то даже не слушал, о чем говорили за столом. Я лишь видел мерцающие желтоватые огоньки. И в глазах у ребят тоже светились эти огоньки. Особенно у Тани. Это потому, что она сидела напротив меня и ее мне лучше было видно.

Казалось, что мы находимся в замке или во дворце, да и сами мы какие-то необыкновенные, может, волшебники, и сейчас будем колдовать.

Но вот включили свет, свечи задули, все стало обыкновенным — комната, стол, мы.

Мы пили чай, ели пирог, хвалили Верку (я-то не хвалил), а Верка сидела важная и довольная и говорила, что нет, мол, пирог не очень удался, чуть подсох, а вот в следующий раз... Тьфу ты! Даже есть расхотелось. Ну что она со своим пирогом носится! Пирог как пирог. Съедобный — и ладно.

— Эдик, что же ты не берешь пирога? — спросил Иван Денисович. — Не хочешь? Бери яблоки, конфеты... И даму свою угощай. — Он посмотрел на Верку, которая сидела рядом со мной.

От таких слов меня даже скособочило. Это Ряха-то дама?! Да еще моя?! Пусть сама берет, если лопать хочет. Руки есть.

А Виталька, смотрю, взял коробку с конфетами

и протянул ее Тане. Она выбрала одну конфетку и улыбнулась.

— Спасибо!

— Пожалуйста. — Он поправил гастучек.

Верка вдруг тоже поставила передо мною вазу с яблоками:

— Бери, Эдик, не стесняйся.

Я тогда схватил самое большое яблоко. Сказал:

— Кто стесняется? — И начал его так грызть, что в ушах затрещало. Уж очень мне не хотелось походить на аккуратненького, гладенького Витальку.

Наверное, я ел яблоко слишком свирепо, потому что Верка сказала:

— У тебя, Эдик, плохое настроение. Сейчас мы тебя развеселим. — И спросила Таню: — У вас есть пластинки?

— Есть хорошая коллекция Шляпина, — сказал Иван Денисович.

— Я сейчас приду, — вскочила Верка и убежала. Вернулась она с пластинками.

— Вот. Будем танцевать. — И она включила проигрыватель.

Через минуту она отплясывала шейк. У нее хорошо получалось. Лихо. Она притопывала, подскакивала — только платье возле колен дергалось то в одну, то в другую сторону:

— Где так научилась? — спросил я, когда Верка, раскрасневшаяся и возбужденная, села рядом со мною на диван.

— В лагере... еще прошлым летом. — Она сразу не могла отдышаться. — У нас все вожатые... из музыкального училища были... Такие пляски устраивали!..

А потом вышли на середину комнаты Таня и Виталька. Затем опять отплясывала одна Верка. Но чаще всего они танцевали втроем.

Таня не так ловко притопывала, хотя все же у нее получалось здорово. «В порядке», — отметил я про себя. Зато Виталька танцевал неважно, движения у него были скованные, а лицо — вот смех-то! — лицо было таким серьезным и сосредоточенным, будто он в уме решал и никак не мог решить задачку по алгебре.

Но все же он танцевал, а я...

— Эдик, иди к нам, — услышал я голос Тани.

— Не хочу, — сказал я.

— Почему? — спросила Верка.

— У нас в лагере не было вожатых из музыкального училища. — И я опять стал рассматривать кедровую шишку.

После танца ко мне подсел Виталька.

— Что не танцуешь?

— Не умею, — сказал я.

— Ерунда! Притопывай под музыку, и все. Вон у меня как получается.

— Блеск! — сказал я.

— Видишь, — снисходительно проговорил Виталька. — Притопывай, и все дела.

— Боюсь, твои духи свалятся. — Я кивнул на подоконник.

Виталька на миг смутился, а потом сказал:

— Научись. Топать тоже нужно уметь. Вон на второй полке слева учебник танцев лежит. Желтый корешок. Почитай.

Когда вновь заиграла пластинка, я от нечего делать подошел к книжным полкам. Я скользнул взглядом по корешкам книг, остановился на желтом. «Герберт Уэллс, — было написано на нем. — Человек-невидимка».

Я взглянул на две свои книжищи — они так и лежали на подоконнике, Таня их даже не раскрывала.

Кончилась музыка, остановилась пластинка.

— Я пойду, — сказал я Тане.

— Куда ж ты? — удивилась она.

— Домой.

— Посиди, еще и десяти нет.

— Нет, я пойду. До свидания. — Я взял свою шишку и пошел.

Таня проводила меня до дверей.

— Ты заходи, — сказала она. — Хорошо?

— Ага. Спасибо. — Я закрыл дверь.

Пошел я не домой, а к воротам: решил прогуляться по улице.

Я взглянул наверх. Танино окно зеленовато светилось. Оттуда неслась музыка: что-то веселое наябивал джаз.

«Кусочек морского дна» сегодня не был тихим и малящим. Почему-то я раньше считал, что он мой, этот кусочек, что о нем никто не знает. Только я и Таня. А теперь там появились ненужные, посторонние люди. Они вели себя шумно и дерзко. Они все перевернули и взбаламутили.

Таня, ты все дальше и дальше от меня. Что мне

сделать, чтобы ты вернулась? Может, набить Витальке морду?.. А потом что? Нет, это, конечно, глупо. Мне нужно ее забыть. Или, как я прочитал в одной взрослой книжке, «вырвать ее из сердца». Вырвать! До чего же это правильно сказано. Вырвать — и все дела. Жаль, что не с кем мне посоветоваться. Был бы у меня настоящий друг, я бы все ему рассказал. Только нет у меня настоящего друга. Знакомых ребят полно, а друга почему-то нет.

Как же он мне нужен!

«МУСТАНГ» ВИШНЕВОГО ЦВЕТА И ДЯДЯ ВАСЯ

Я не знаю, как у других, а у меня настроение часто зависит от погоды.

Если я просыпаюсь и в окно бьет солнце, то день начинается хорошо, меня наполняет какое-то неугомонное чувство, и мне хочется смеяться, и бегать, и заговаривать со всеми.

А если небо затянуто серыми тучами и моросит дождь, то меня одолевает лень, и я не знаю, чем заняться, и никого мне не хочется видеть, и вспоминается все неприятное.

Сегодня с утра светило солнце. А еще на мне были новые сандалии из светло-коричневых ремешков. Поэтому мне шагалось легко-легко, словно кто-то подталкивал меня в спину.

Но торопиться было некуда. Хотя в руке моей и болталась хозяйственная сумка — меня послали в овощной магазин, — я знал, что сегодня обед у нас будет поздний, потому что воскресенье, и не спешил наполнять эту сумку картошкой.

Возле гостиницы «Интурист» я остановился. Народ облепил какую-то легковую машину. Мне ее плохо было видно за людьми, я только мог различить, что она вишневого цвета. Перед входом в гостиницу, где жили иностранцы, всегда останавливались какие-нибудь интересные автомобили. Их сразу же окружали и мальчишки, и взрослые, поглядывали на спидометр, говорили о мощности, постукивали ногой по шинам. То же самое было и сейчас.

Я протиснулся вперед, и мне открылась приземистая спортивная машина. «Мустанг», — прочитал я под капотом. Это был отличный автомобиль! И форма красивая, и весь он сверкал, как вылизанная тарелка, а в колпаки

на колесах можно было смотреться, как в зеркало. («Хоть брейся», — заметил один дядька.)

— Сила! — сказал я и слегка толкнул мальчишку в тубетейке, который стоял рядом со мной; он был, наверное, чуть постарше меня и повыше ростом.

— Двести кэмэ в час запросто выжимает, — проговорил в ответ мальчишка.

— Ну да?!

— Вон хозяин рассказывал.

Только теперь я обратил внимание на невысокого человека в замшевой куртке. У него было красное лицо, редкие желтые волосы и почти бесцветные глаза.

Я надавил с краю на багажник, машина легко осела, качнулась и, отпружинив, вернулась в прежнее положение.

— Эй, — закричали на меня, — чего балуешь?

— Приличные рессоры, — сказал я.

— Иди, иди отсюда!

Но тут вступился владелец машины.

— Пусть будет смотреть, — сказал он. — Мальчик поймает тольк.

Мне стало неудобно, и я чуть отступил, а краснолицый продолжал что-то говорить на ломаном русском языке. Я рассматривал разноцветные наклейки, которыми пестрело заднее окно, немножко прислушивался к разговору.

— А какой двигатель? — спрашивал кто-то.

— Мощность?.. Сто тридцать... э-э-э... лёшадь силъ.

Наклейки были красивые. На одних изображались гербы, на других — замки, памятники, всякие звери.

— «Брно, Прага, Карловы Вары, — разбирали мы с мальчишкой, — Краков, Варшава...»

— А вот наши, смотри, — сказал он. — «Смоленск, Минск...»

— Вы приехали из Берлина? — спрашивали иностранца.

— О нет! Я живу в другой город... в Мюнхен... Да, да... турист... я люблю русский старина... Церковь... кремли...

— Наш город интересный, старинный. И кремль есть, и соборы. Много посмотрите, — сказали ему.

— Да, да... Я здесь бываль.

— Ученый, — проговорил кто-то.

— Историк.

Я сказал мальчишке:

- Много поездил, да?
- Будь спок! — отозвался он.
- Что?
- Будь спок, говорю.

«Будь спокоен», — догадался я. — Это как все равно «будь здоров» или «будь здоровчик», если что-то хвалят. А в нашем дворе говорят по-другому: «в порядке» или «в большом порядке». Везде свое.

«Будь спок», — произнес я про себя. Выражение мне понравилось: короткое, звучное. Все равно что шелчок по пустой банке.

Потом мы пошли с мальчишкой вместе.

Лицо у него было узкое, вытянутое, а когда он улыбался, показывались крупные, крепкие зубы.

«Лошадиная голова, — подумал я. — С такими зубами боксом заниматься: нипочем не выбьют. Уши, правда, здоровые. По ушам будет много попадать. Нет, в самом деле лошадиная голова».

И все же мне почему-то не захотелось сразу расставаться с мальчишкой.

— Тебя как зовут? — спросил я.

— Глеб.

«Глеб! Ну и имя...» Я-то думал, лет сто так никого не называют. По крайней мере, у нас в школе нет ни одного. Зато Вовок — как муравьев в муравейнике.

— Чудно? — сказал он. — Это всем так сначала. Можешь звать меня Глебкой.

«Глебка, — прикинул я в уме, — это совсем не то».

— Нет, уж лучше будь Глебом.

И мы засмеялись.

Оказалось, что Глеб знает многие марки машин. «Шевроле», «форд», «мерседес», «фиат», «опель», «школа», «паккард» — названия так и сыпались.

— А к нам во двор тоже приезжала одна спортивная машина. Похожа на эту, — сказал я.

— Голубая? — спросил он.

— Ага!

— «Феррари».

— Точно! — удивился я.

— Я видел. Она тоже у «Интуриста» стояла. А к вам она зачем приезжала?

— Она приезжала к Шинкареву. Он городским прокурором работает.

— Ну?! А что он сделал?

— Кто?

— Иностранец.

— Он ничего не сделал. Он к Шинкареву в гости приезжал.

— Почему в гости?

И тогда я рассказал, что на «феррари» приезжал к Шинкареву итальянский коммунист, который во время войны командовал партизанским отрядом.

— Ты-то откуда знаешь? — спросил Глеб.

— Мне Виталька, сын Шинкарева, говорил. Итальянец еще прокатил нас по разику.

— Здорово жали? — Глеб даже дыхание затаил.

— Нет, на обычной скорости. Довез до угла улицы — и назад. Я ему вперед показываю, чтоб еще немного проехал, а он: «Баста! Баста!» Хватит, значит, — и во двор.

— А почему он в гости-то приезжал? — снова спросил Глеб.

— Так они же в одном отряде воевали. У Шинкарева даже итальянская медаль есть. А в отряд он бежал из концлагеря. Лучшим пулеметчиком у партизан был.

— Ух ты! Расскажи, а? — попросил Глеб.

Но я больше ничего не знал.

— Приходи к нам во двор, может, Виталька еще что расскажет.

— А где ты живешь?

Я объяснил.

Глеб кивнул своей лошадиной головой, сказал:

— Я все пол. Про «оперный» двор я слышал.

«Я все понял», — перевел я мысленно. — Во дает!»

— Значит, придешь?.. В футбол погоняем...

— Ага, — сказал он.

Возле овощного магазина мы расстались.

Бывает же так: только что познакомишься с человеком, а кажется, что ты знаешь его давно. И тебе легко с ним, и можешь ты с ним о чем угодно разговаривать.

Вот так вот легко мне было сейчас с Глебом. Правда, мы поговорили с ним лишь о машинах, но еще бы немного, и я, пожалуй, смог бы рассказать ему про Таню. Нет, наверное, не смог бы.

Я вспомнил о ней, и уже не шагало мне легко, будто бы и не было у меня новых сандалий из светло-коричневых ремешков, да и картошка, которую я только что купил, стала вдруг очень тяжелой.

Вечером в нашем дворе только и было слышно про осветителя дядю Васю. Поверить в то, что говорили, было невозможно. Дядя Вася набросился на человека. Дядю Васю забрали в милицию.

На какого человека? За что? Никто не знал. Но говорили, что дядя Вася в отделении. А в нашем дворе зря говорить не любят.

Нужно сказать, что в последнее время жизнь нашего двора перестала меня волновать. Все его обитатели как-то стерлись, стали безликими, неинтересными. Все... кроме Тани.

В той самой «взрослой» книжке легко было написать красивые слова — «вырвать из сердца». И мне тоже легко было подумать: «Таню нужно забыть». Но одно дело подумать и совсем другое — сделать. Забыть Таню я не мог. Чем бы я ни занимался — шел ли по улице, читал ли книгу, говорил ли с кем, — все равно вспоминал Таню.

И вот произошло такое событие, что двор наш как бы вновь открылся для меня. Все, чем он жил и дышал, снова приблизилось ко мне, стало моим, и я опять почувствовал себя частичкой своего двора.

Дядя Вася в милиции!

На какого человека он набросился? За что?

От дяди Васи частенько, можно сказать всегда, пахивало водкой. Однако при всем этом он ходил ровно, не шатался, не заводил пустых разговоров с прохожими и тем более никого не задевал.

Несколько раз я примечал его среди доминошников. Но «забивать козлика» любили многие в нашем доме. Для того в углу двора и был врыт в землю стол, чтобы «козлятники» отводили там душу. Стучал костяшками дядя Вася не громче других, а может быть, и тише.

Дяде Васе было лет сорок или пятьдесят, я не умею угадывать. Жил он один. Я слышал, что семья его погибла во время войны.

А еще дядя Вася хорошо рисовал. Я много раз видел его с этюдником и с небольшим станочком под мышкой. Станочек походил на штатив, которым пользуются фотографы. Когда дядя Вася шагал по двору в таком вооружении, его длинная сутулая фигура напоминала перечеркнутый вопросительный знак.

Дядя Вася уходил в разные места. Как-то я его встретил на Стрелецкой улице. Он поставил свой штатив (или «ноги», как называл станочек дядя Вася) прямо

на углу перекрестка. Он рисовал не широкую Стрелецкую улицу, а поперечную ей, ту, что спускалась к реке. Я взглянул на полотно: невысокие дома ступеньками уходили к самому берегу, старенькая церквушка, лодки на приколе.

— Здравствуйте, дядь Вася, — сказал я. — Рисуете?

— Рисуем. — Он смешивал на дощечке белую краску с синей.

— Похоже, — сказал я, подумав.

— Ну?.. Вот обрадовал.

Я не понял, действительно он обрадовался или нет, посмотрел еще немного и заметил:

— Дядь Вася, а вот тут вы знак забыли нарисовать.

— Какой знак? — стал вглядываться дядя Вася.

— Да вот на проводе висит. «Проезд грузовому транспорту воспрещен!»

— Ах, этот!

— Ну да. Провод нарисовали, а знак забыли.

Дядя Вася посмотрел несколько раз на знак и сказал:

— Нет, все же обойдемся без знака.

— Почему?

— Да не ложится сюда твой знак. Цвет плохой, понимаешь?

— А-а, — сказал я.

Но понять не смог. Как это «не ложится»? И как это «цвет плохой»? Красное и желтое. Отличный цвет. «Наверное, красок таких не захватил», — подумал я и ушел.

В следующий раз я встретил дядю Васю в городском парке. Опять к станку была прикреплена небольшая рамка с натянутым на нее полотном.

Я стал позади дяди Васи и заглянул сбоку. На полотне была аллея: густые вязы как бы срослись макушками и тянулись далеко-далеко вдоль дороги, и не видно даже, где они кончались.

Дядя Вася словно почувствовал, что сзади кто-то стоит, обернулся.

— Это ты? — сказал он и, помолчав, спросил: — Ну как, похоже?

— Похоже, — проговорил я и, чтобы похвалить его, добавил: — Как на фотографии, все точно.

— Разве? — Дядя Вася чуть усмехнулся и больше ничего не сказал.

А я стал сравнивать картинку и то место, куда все поглядывал дядя Вася.

Нет, на картине тени были погуше, да и вся аллея казалась таинственной и даже тревожной. «Как же это? — не понимал я. — Нарисовано все в точности». И в то же время на картине был свой мир. Аллея, куда поглядывал дядя Вася, была хорошо знакома мне, сколько раз я по ней бегал, а на картине я видел ту же аллею, но в ней уже было что-то новое, что-то неожиданное... И вот теперь дядю Васю забрали. Дядя Вася в милиции. Невероятно!

Подробности о случившемся рассказал Диман. Он все видел своими глазами, потому что стоял рядом с дядей Васей и смотрел, как тот рисовал колокольню.

Как всегда, возле дяди Васи останавливались прохожие. Одни молча заглядывали, другие о чем-нибудь спрашивали или даже пытались что-то советовать. Дядя Вася скупко отвечал.

Диман уже думал уходить домой, как подъехала темно-красная спортивная машина («Вишневый «мустанг», — перебил я Димана, на меня все зашикали: не мешай, мол).

Из машины вылез человек в коричневой куртке («Так и есть!»), направил на колокольню фотоаппарат и несколько раз щелкнул. Он хотел было вновь сесть в свою машину, но увидел художника и подошел к нему.

Дядя Вася не обратил на это внимания. Он рисовал.

А человек в куртке вдруг заговорил:

— Ваш картин есть отчень хороший... Я хотель покупайт этот картин.

— Не продается, — сказал дядя Вася и обернулся.

— Хороший картин... — повторил иностранец и замер, потому что дядя Вася впился в него глазами и побледнел.

Диман увидел, как задрожала рука у дяди Васи. Трясущиеся пальцы выронили кисть. Диман поднял ее.

— Возьмите, дядя Вася.

Но дядя Вася словно не слышал и не видел Димана.

— Кёрнер... обер-лейтенант Кёрнер... — вырвался глухой полусшепот изо рта дяди Васи.

Иностранец вздрогнул и попятился.

— Попался, гадина! — вдруг срывающимся голосом

закричал дядя Вася и кинулся на человека в куртке. — Пес фашистский...

Иностранец хотел было ударить дядю Васю в живот ногой, но тот успел поймать ее и так дернул вверх, что иностранец рухнул на землю. Сам же дядя Вася тоже не удержался и упал рядом с ним.

Прохожие подбежали к ним, растащили в разные стороны.

— Пустите! — кричал дядя Вася. — Это же фашист... Сволочь...

Кто-то побежал звонить в милицию.

Подъехал мотоцикл. Дядю Васю посадили в коляску. Туда же сунули этюдник, штатив и рамку с холстом.

В красную машину к иностранцу сел милиционер.

Мотоцикл и машина уехали.

Народ долго не расходился. Кто-то говорил, что пойдет свидетелем: немец, мол, первый пытался ногой ударить.

Диман подобрал несколько тюбиков с красками и пошел к дому.

Вот какую историю мы узнали у Димана.

— Ребя! — подскочил на месте Виталька. — То-то отца из дому вызвали, позвонили по телефону из милиции. Вначале отец нахмурился, спрашивает, когда это и где произошло. «Да, — говорит, — сейчас выезжаю...» А потом еще послушал что-то и говорит: «Все правильно, я тоже его знаю... Ну как же, в нашем доме живет, работает осветителем сцены... бывший партизан... А насчет Кёрнера срочно запрос в Москву... Уже связались?.. Ну хорошо. Я еду». Скинул пижаму, раз, два — оделся и готово — ушел.

Мы наперебой стали говорить Витальке:

— Слушай, ты узнай у отца про все, ладно?

— Скажи, чтоб дядю Васю отпустили.

— Про Кёрнера спроси.

Виталька замотал руками:

— «Спроси, спроси!»! Так он и скажет.

Мы приуныли: действительно, для чего ему все выкладывать-то?

— А ты не сразу спрашивай. Осторожно. То да се, а там он, может, сам проговорится, — посоветовал Диман.

— Умник! — сказали мы ему. — Вперед кто другой проговорится, только не он. Может, он для того прокурором работает, чтобы тайны выбалтывать, да?

Наутро мы не могли дожидаться, когда же Виталька выйдет во двор.

Попробовали было сыграть в футбол, но то и дело поглядывали на Виталькин подъезд, за мячом следили плохо, игра не клеилась.

— Пойду позвоню по телефону, — не выдержал Диман.

Я тоже увязался с ним.

Телефонная будка стояла на самом солнцепеке, и в ней было жарко, как в парилке.

— Откроем дверь, — предложил я.

В будку сразу ворвался городской шум, протарахтел мотоцикл, прожужжала тележка на шарикоподшипниках, которую везла мороженщица. А тут еще Силин заиграл на трубе свою проклятую песенку.

Диман набрал номер.

— Алло! Виталика можно? Виталика... — и со злостью повесил трубку. — Ничего не слышат, нет, говорят, не аптека.

— Кто подходил?

— Кажется, Леха. Есть монетка?

Мы закрыли дверь и опять покрутили диск.

— Алло! Алло! — закричал Диман. — Леха, Витальку попроси... Нужно, вот зачем... Только повесь попробуй, тогда во двор не выходи... Не слышу. Кто заболел? Ты заболел? Болей себе на здоровье, мне не ты нужен, а Виталька... Почему не может? Плохо слышно... Где засел? — Диман онемел от ярости.

Я понял, что Леха будет еще долго его дурачить. Диман хоть и был самый сильный у нас, но над ним любили посмеяться. А в будке уже невозможно было стоять. Пот лил с нас ручьями. Я выхватил трубку и закричал:

— Леха, мы насчет дяди Васи, понимаешь? Зови скорее Витальку или скажи, что мы его ждем. — И я бросил трубку.

На улице, немного остыв, я подумал, что раз Леха хохмит, то, наверное, с дядей Васей все уладилось.

Едва Виталька появился во дворе, как его тут же обступили.

— Ну как? — спросил Диман.

— Что — как? — захотел немного поломаться Виталька.

— Про дядю Васю узнал? — вмешался я.

— А, про дядю Васю...

Никак не могу понять: ну зачем тянуть, когда все только и смотрят тебе в рот и ждут, что же ты скажешь? Если б не дядя Вася, плюнул бы да ушел. Но Виталька знал, что делает: сейчас он был хозяином положения.

Виталька нам сообщил, что с дядей Васей ничего страшного не случится. Его отпустят, только оштрафуют. Он сказал еще, что за дядю Васю вступился весь театр и что во всем этом деле никакой тайны нет. Немец был в городе во время войны, работал в жандармерии и даже допрашивал дядю Васю. Сведений о том, что дядя Вася связан с партизанами, у немцев не имелось, были только подозрения. Его пытались запугать, ударили несколько раз, но дядя Вася все отрицал, и тогда его решили отправить на работы в Германию. Эшелон, в котором его везли, перехватили партизаны. И дядя Вася опять стал сражаться с фашистами. А Кёрнер был потом взят в плен. У него и документы об этом есть, и из Москвы подтвердили. Живет он в Западной Германии. Владелец аптеки. Сейчас путешествует, хочет посмотреть на города, в которых был двадцать лет тому назад. Из милиции его уже отпустили.

— Сволочь! — процедил Диман. — Кирпичиной бы ему.

— Отец говорит, он свое получил по заслугам, — сказал Виталька.

Кругом зашумели:

— А ногой хотел ударить.

— Прямо в живот...

— Еще штрафуют из-за него.

Я молчал. Значит, я видел живого фашиста. Бывшего, правда, но фашиста. И когда-то он бил наших людей, бил дядю Васю. Значит, теперь вот они какие — ходят в замшевых курточках, разъезжают в красивых машинах. А мы-то, дураки, пялили глаза на их автомобили. Нет, машины ни при чем. «Мустанг» действительно хорош. Да и не Кёрнер его сделал. Он лишь купил, его, гад мордастый! Рожу-то прямо как свеклой вымазал... Я ведь сам видел в газетах фотоснимки: собираются всякие недобитые с гитлеровскими орденами, флаги вывешивают, песни горланят, снова воевать хотят. «Кирпичиной бы...» — вспомнил я слова Димана и вздрогнул. А если вправду? Залепить разок-второй, чтобы помнил. Только нужно по-умному. Напротив «Интуриста» высокий дом. Войти в подъезд и с третьего или четвертого этажа шарах-шарах по машине. И домой. А на ули-

не паника. Фашист развопится... Жаль, конечно, «мустанг». Да ладно, ничего не поделаешь.

Эта мысль жгла все сильнее и сильнее. И я видел, что никуда мне теперь не деться. У меня так бывает: втемяшится что-то в голову, и все, не выбьешь это нипочем. Я понимал: раз Кёрнера выпустили, значит, его проверили. Все в порядке. Может продолжать свое путешествие. Может спокойно продавать в своем Мюнхене микстуры и клизмы. А дядя Вася? Как же все в порядке, если он допрашивал дядю Васю? Он, этот самый Кёрнер, а не кто-то другой. Нет, я по этому поводу думаю иначе. Уж если я могу что-то сделать для дяди Васи своими руками, то...

Отозвав Димана в сторонку, я сказал:

— Послушай, давай вместе, идет?

— Что?

— Кирпичиной.

— Что? — опять спросил Диман.

— Влепим по разику — и будь спок, — сказал я.

Диман ничего не понимал. А может, притворяется.

— Трепло! — сказал я.

— Постой, постой! — догадался наконец Диман. — Я не трепло, ты же знаешь. — И он взял меня за руку: — Айда.

Я помедлил, потом предложил:

— Прихватим Витальку.

— Давай, только...

— Что?

— Он не захочет.

Виталька весь просиял, когда узнал о нашем плане.

— Молодчаги, — похвалил он нас, — не берите только большие камни.

— Знаем-понимаем, — сказали мы, — айда.

— Ребя, — помялся Виталька, — мне нельзя. От отца влетит. Он же...

— Удерем. Никто нас не увидит, — заверил Диман.

— А если?

— Если бы да кабы... — проговорил я. — Идем. Сначала попадет, а потом простят.

— Нет, ребя. Мне нельзя, — повторил Виталька.

Мы с Диманом пошли к воротам.

Конечно, втроем было бы веселее. Нет, я не боялся. Я уже знал, что не отступлю. Но все же втроем шагало бы как-то увереннее. Я подумал, что Таня, будь она мальчишкой, пошла бы с нами. Что же из того, что

она дружит с Виталькой? Все равно она человек справедливый и сильный. Так мне почему-то кажется.

Хорошо, что рядом Диман. На турнике он подтягивается одиннадцать раз, а мы с Виталькой лишь по пяти. Но дело не в этом. Я знаю, что Диман никогда не подведет. С ним можно в огонь и в воду. Мы могли бы стать друзьями, только мне с ним как-то не очень интересно.

Виталька говорит, что Диман — лопух: что ни скажешь, всему верит. Но Виталька может еще и не так наплевисти.

Диман отличный парень. Но ведь не сделаешь своими друзьями всех отличных ребят. Настоящий друг — это, по-моему, большая редкость. Это не просто приятель и не только «свой в доску кореш», а что-то особенное.

Мы говорили с Диманом о том, где лучше набрать камней, как вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся. Передо мною стоял Глеб.

— Привет, — сказал он.

— Здравствуй! Вот знакомься. — Я показал на Димана. Они пожали руки.

— Как делишки? — спросил Глеб.

— Нормально. А у тебя?

— Оч хор!

Я улыбнулся. Ну и уморительный парень этот Глеб. Я вдруг подумал, что фамилия у него должна быть непременно двойной, из коротких слов, что-нибудь вроде: Тип-Топ, или Чик-Чик, или Шур-Мур.

— Слушай, — сказал я, — как твоя фамилия?

— Моя?

— Ну да!

— Зачем? — подозрительно взглянул он.

— Просто так...

— Ну Травушкин, а что?

— Травушкин?.. — Я не сдержался и прыснул. «Глеб-ка... лошадиная голова... Травушкин», — завертелся в моей голове веселый хоровод.

— Заболел, да? — обиделся Глеб.

Я никак не мог остановиться. Только взгляну на его голову и уши — и все, приступ смеха.

— Извини... — говорю я и смеюсь. — Я не хотел, — говорю и падаю от смеха.

И Диман вдруг рассмеялся. Он-то с чего? Ведь не знает. За компанию, видно.

И тут заржал сам Глеб. Именно заржал.

Со мной истерика: «Травушкин... Муравушкин... Ло-

шадушкин... Кобылкин...» Ой, не могу! Лошадиная голова. Лошадиная фамилия. Лошадиный смех.

Наконец мы успокоились.

— Вы куда шли? — спросил Глеб.

Мы с Диманом переглянулись. Шли рассчитаться с гадом, и вдруг на тебе — смех до коликов.

— Глеб, — сказал я, — ты помнишь того, в курточке, возле «мустанга»?

— Хозяина?

— Ну да, краснолицый такой...

— Конечно, помню.

— Он фашист, — сказал Диман.

— Как? — растерялся Глеб.

— Самый настоящий. Об этом уже все знают.

— Кто сказал?

Мне не хотелось сразу все выкладывать, и я ответил коротко:

— Вот сказали.

— О бэ эс? — проговорил Глеб и улыбнулся.

— Не понял, — сказал я. — Ты про кого?

— По буквам: одна бабка сказала. Теперь пол?

На этот раз шуточка мне не понравилась.

— Можешь не верить, но он фашист.

Глеб остановился.

— Расскажи, — потребовал он.

И я рассказал обо всем: о допросе, о партизанах, о встрече возле колокольни, о милиции, о Виталькином отце, который все уладил.

Потом я спросил Глеба:

— У тебя время есть?

— Вагон и маленькая тележка, — ответил Глеб. —

А что?

Тогда я рассказал ему о нашем плане.

— Дураки! — разволновался Глеб. — Вы что, зла ему желаете?

— Желаем! — с вызовом сказал Диман.

— Я про дядю Васю, — пояснил Глеб. — Историю замяли, а вы опять?

— При чем здесь дядя Вася? — удивился Диман.

— Мы ж будем бросать, а не он, — поддержал я.

— При том... Мозгами нужно шевелить. Какой шум поднимется, понимаете? Вашему дяде Васе тогда не поздоровится.

Я понимал, что есть в словах Глеба что-то справедливое. Но так не хотелось отступить!

А тут еще Диман пошевелил плечами:

— Без тебя справимся. Топай отсюда, пока не наломали.

— Да что вы, ребята? — грустно усмехнулся Глеб. — Хуже ведь будет.

— Отваливай, — сказал я. — А то не досчитаешься своих лошадиных зубов.

— Не ходите, ребята. — Он схватил меня за руку. — Я вас не пушу.

— А ну-ка! — Я толкнул его изо всех сил в плечо, а Диман успел подставить ногу.

Глеб загремел. Поднявшись, он отряхнулся и сказал:

— Все равно, ребята, не надо, не ходите.

— Еще хочешь? — спросил Диман.

— Нам не жалко, можем добавить, — сказал я.

Мы повернулись и пошли.

— Я вам помешаю, лучше не ходите! — закричал он нам вслед.

Мы молча показали ему по кулаку.

Нам повезло. Вишневый «мустанг» стоял у гостиницы. Мы зашли в дом напротив, поднялись на третий этаж.

В карманах у нас было по два камня. Мы думали кинуть по одному, потому что после первых наших бросков нужно будет скорее сматываться. Но все же у каждого было два камня. На всякий случай, мало ли что?

Автомобиль Кёрнера сиял, как и в тот раз. Отсюда, с третьего этажа, он казался еще более вытянутым, устремленным. «Мустанг»!.. Я представил, как несется настоящий мустанг по равнине, гордый и свободный, словно ветер. А этого «мустанга» оседлали. Да еще кто! Какой-то негодяй.

«Ничего, он у нас попляшет, фашистина! Он у нас попрыгает». Я сунул руку в карман, сжал камень.

Только что так долго не появляется этот Кёрнер? Не мешало бы ему поскорее рвануть из нашего города, пока еще кого не встретил. Что он сейчас делает в гостинице? Жрет, что ли, перед дорогой? Или шмотки свои собирает?

Мы с Диманом вглядывались в каждого, кто выходил из стеклянной двери. Нет, все не он. Опять не он...

— Смотри, — дернул меня за руку Диман.

Я взглянул на левый угол гостиницы, куда показывал Диман, и увидел Витальку. Он делал шагов десять

то в одну сторону, то в другую. Прохаживался. А сам нет-нет да и поглядывал на вишневый автомобиль и на дом, в котором мы расположились.

— Интересуется, — проговорил я.

— А с нами-то не захотел. Конечно, так спокойнее: посмотрел и ушел.

— Пусть смотрит, нам не жалко.

Лишь потом я узнал от Верки, что Виталька выболтал все Тане и звал ее тоже пойти к гостинице. Но говорил он очень сбивчиво, торопился, чуть ли не за руку тянул. И Таня поняла только одно: что я и Диман собираемся «пощекотать камнями» гоночную машину. Таня покачала головой. «Как я в нем ошиблась, — сказала она, — еще милиции не хватает». — «Ничего, — успокаивал ее Виталька, — уйдут. Они не дураки. Ну, идем?» Но Таня идти отказалась.

А мы все вглядывались в стеклянную гостиничную дверь. Ну когда же, наконец, выйдет Кёрнер?

— Ты не высовывайся, — сказал Диман. — Может, он нас видит из своего номера.

— Чудик! Он-то откуда знает, что мы его ждем?

— Ну все равно, — неуверенно проговорил Диман, — Не высовывайся.

Меня взяла досада: и так стоишь нервничаешь, да тут еще Диман ерунду начинает говорить.

А Диману, видно, скучно стало ждать. Он спросил:

— Эдька, а ты с Таней уже не ходишь?

— Тебе-то какое дело? — совсем рассердился я.

Неужели он не понимает, что об этом нельзя говорить просто так, с кем попало. Я мог бы сказать это лишь другу. Настоящему, преданному другу, с которым можно поделиться любой тайной. Да и то не знаю, сказал бы. Нет, Диман ничего не понял.

Он посмотрел на меня и удивленно сказал:

— Ты что заводишься? Я смотрю, она все с Виталькой ходит, вот и спросил.

— Ну и что?

— Ничего. Как узнала, что у него отец прокурор, так и сразу с Виталькой.

— Дурак ты, Диман. — Я даже плюнул со злости.

— Ты полегче, — сказал Диман, — а то сейчас слетишь с лестницы.

Я промолчал. Не хватало нам только драки между собой.

Диман тоже молчал.

Я смотрел-смотрел в окно и вдруг сказал Диману:
— Около мигинк тсирутни ацинитсог.

Диман вылупил на меня глаза.

— Это по-японски, — пояснил я.

— Что-что?

— Тсирутни ацинитсог.

— Около чего, говоришь?

— Около мигинк.

— Ты что, больной? — спросил Диман.

— Нет, — сказал я и засмеялся. — Читай вон вывески.

— Какие?

— Да вон те. — Я показал.

— «Молоко», — прочитал Диман. — Ну что?

— Читай с конца.

— «Око...» — стал читать Диман.

— Идет! — оборвал я его.

Кёрнер вышел без чемодана, направился к автомобилю.

— Смотри, — сказал я, — не собирается удирать.

Но в это время опять открылась дверь гостиницы, и вслед за Кёрнером засеменил к машине швейцар с чемоданом и маленькой спортивной сумкой. Чемодан, наверное, был очень тяжелый, потому и делал такие торопливые, небольшие шажки швейцар.

Я потрогал в кармане камень и почувствовал, как кровь запульсировала в висках.

— Ишы! — спокойно проговорил Диман. — Даже сумочку нести не хочет.

«Вот выдержка!» — позавидовал я Диману.

А Кёрнер тем временем дал ключ швейцару, и тот, открыв багажник, стал запихивать туда чемодан. Мелкорослый швейцар возился с этим чемоданищем, как муравей с куском конфеты. Наконец чемодан был уложен.

— Когда уйдет швейцар, кидаем, — сказал Диман.

— Нет, когда заведет машину... Даже когда тронется, не раньше.

— Как рванется с места, не успеем.

— Успеем. Кидай чуть вперед.

Кёрнер расплатился со швейцаром. Швейцар благодарил, кивал головой, улыбался. «Знал бы, идиот, кому улыбается», — подумал я и сказал Диману:

— Приготовься.

Мы достали камни. Решили так: первым кидаю я,

а потом Диман, потому что он сильнее, дальше сможет бросить.

Кёрнер сел в машину, швейцар даже ручкой пома- хал, потом повернулся, пошел к двери.

У «мустанга» заработал мотор, включилась левая мигалка.

Я завел назад руку, крепко сжал камень — ждал момента, когда вишневый автомобиль тронется.

— Кидай, — шепнул Диман.

И тут же я услышал топот позади. Кто-то бежал снизу.

«Успею», — мелькнуло у меня в голове, и я резко вдохнул воздух перед броском, но чья-то сильная рука уже схватила мою кисть. Диману тоже, видимо, помешали, потому что я услышал шум борьбы и яростный крик Димана:

— Пусти!

Вывернувшись, я увидел перед собой Виталькиного отца Петра Сергеевича Шинкарева.

— Спокойно... — сказал он, не отпуская моей руки. — Не рвись...

А на Димана, оказывается, наскочил Глеб.

Диман был сильнее, но Глеб, как клещ, впился в его руку. Все же, мотнув Глеба несколько раз из стороны в сторону, Диман вырвался. Он метнулся к окну и успел швырнуть камень.

Этого можно было не делать: вишневый автомобиль отъехал уже далеко. Диман швырнул лишь так, сгоряча.

Петр Сергеевич отпустил мою руку. Все мы тяжело дышали. Никто ничего не говорил. Петр Сергеевич вынул из кармана платок, вытер со лба пот. Произнес:

— Дурачье.

— Предатель. — Диман кинул ненавидящий взгляд на Глеба.

Глеб вздрогнул и ничего не ответил. Он рассматривал царапину на своей руке.

— Он не предатель, — сказал Петр Сергеевич. — Он поступил честно. А вы настоящее дурачье... Идемте.

— Куда? — спросил Диман.

— Там узнаешь.

И тут я заметил Таню. Она стояла ниже нас на лестничной площадке второго этажа. Она приоткрыла рот, будто хотела крикнуть что-то, но передумала. Таня держалась рукой за перила, а одну ногу поставила на

первую ступеньку. Наверное, собиралась подняться, но тоже передумала.

— Идемте, — еще раз сказал Петр Сергеевич.

Таня не стала дожидаться, пока мы спустимся. Она вдруг резко повернулась и побежала по лестнице. Стук каблуков ее таял, таял. Потом хлопнула дверь, и стало тихо. Очень тихо. Потому что мы спускались медленно и молчали.

«Почему здесь очутилась Таня? — думал я и никак не мог найти ответа. — Что она собиралась делать?»

Только через два месяца я узнал обо всем (на этот раз не от Верки, а от Глеба).

Оказывается, Глеб, примчавшись к нам во двор, чтобы разыскать Шинкарева, сразу же наткнулся на Таню. «Где у вас тут Шинкарев живет, не знаешь?» — спросил он, еле переводя дух. («Взмыленный конь!» — представил я себе Глеба в тот момент.) Во дворе тогда только и говорили про дядю Васю, немца и Шинкарева. Поэтому Таня сразу же спросила: «А зачем тебе Шинкарев?» — «Нужен. Много знать будешь, состаришься». — «Ах, так! — вскипела Таня. — Вот и разысквай сам». (Я представил, как она царапнула Глеба своими зелеными глазами.) Во дворе, как назло, больше никого не было. Глебу и пришлось «коротко и толково» выкладывать все, что он знал. «Ой, дураки! — испугалась Таня. — Я побегу». (Значит, все нас назвали дураками. Все, кроме Витальки, — отметил я про себя.) «Куда ты побежишь? А Шинкарев?..» — крикнул ей вдогонку Глеб. «Второй подъезд на третьем этаже», — бросила на ходу Таня.

За дверь у Шинкаревых завывал пылесос. «Вот некстати», — подумал Глеб и позвонил. Открыл сам Петр Сергеевич. Он был в шароварах и линялой ковбойке. «Витальки нет дома», — сказал он. «Мне не Виталька нужен». — «А кто?» — «Вы». — «Ну проходи», — неуверенно пригласил Петр Сергеевич. Глеб зацепил электрошнур, тянувшийся по коридору, и сразу начал: «Ваши ребята, Эдик и этот толстенький... Диман...» Шинкарев слушал внимательно, не перебивал, лишь один раз спросил: «Давно ты их видел?» Потом он вдруг нырнул в другую комнату и крикнул: «Я переоденусь! Ты рассказывай». Потом он вышел и сказал: «Идем». Пылесос так и остался посреди комнаты. На улице Петр Сергеевич остановил первую попавшуюся машину, и они поехали к «Интуристу». Шинкарев еще просил, чтобы

ехали побыстрее. «Ну, дальше ты все знаешь», — закончил Глеб.

Но все это я узнал после, а сейчас мы молча спускались по лестнице и не знали, куда нас ведет Шинкарев.

Мы вышли на улицу. Я мельком взглянул на стеклянную дверь гостиницы, на то место, где только что стоял «мустанг», и мне стало не по себе.

Если бы Шинкарев не знал, кто мы и откуда, еще можно было бы сбежать. Рванули бы в разные стороны — и поминай как звали. Но тут...

— Мне можно уйти? — спросил Глеб.

— Нет, — коротко ответил Петр Сергеевич.

«В милицию ведет», — думал я вначале. Когда же прошли мимо отделения, я решил, что он хочет доставить нас прямо в прокуратуру. Но Петр Сергеевич не свернул вправо, где на улице Софьи Ковалевской было место его работы.

«Куда же ведет? Может, в тюрьму?..» Где находится тюрьма, я не знал. Не видел нигде такой вывески.

Я уже не озирался по сторонам, а смотрел себе под ноги и думал о том, что со мной будет. Мама, наверное, всплеснет руками: «Нет, не верю. Эдик на это не способен». Отец помрачнеет и скажет: «Допрыгался». Учительница осенью объявит классу: «Эдика Свиридова в этом году не будет с нами...»

— Садитесь, — услышал я голос Виталькиного отца.

Мы были в парке. Вместе со всеми я сел на скамейку.

Откуда-то издали доносились плавные звуки труб. Репетировал духовой оркестр. Какой-то старинный вальс обрывался на одном и том же месте. Вальс был медленный и грустный. Сейчас даже Силин со своей трубой был бы в тысячу раз приятней. За спиной жужжали над цветами пчелы. Ровное, бесконечное их жужжание лилось, как струйка воды из незакрытого крана.

Слева на площади, за липовой аллеей, малышня гоняла мяч. Слышались крики, визг, смех.

Молодая женщина провезла мимо нас коляску. Она покачивала ее и что-то напевала...

Не пойму, отчего я вдруг стал ко всему прислушиваться, приглядываться? Словно это меня интересует. Словно это все мое.

А может, и есть мое? Раз я все это слышу и вижу. Будет ли все это завтра там? Где — там?

— Ну что же, — сказал Петр Сергеевич, — давайте обо всем поговорим.

Вечером я вышел из дому, пересек двор и направился к подъезду, в котором жил дядя Вася.

Я медленно поднимался по лестнице и думал: зачем я иду к нему, что скажу и что он мне скажет?

Разговор с Петром Сергеевичем крепко засел в моей голове. Конец нашей затеи мог быть только плохим. Даже если б нас поймали, история с дядей Васей опять всплыла бы, но на этот раз все обернулось бы хуже. Как-никак с него начались неприятности для немца. «Я, может, и сам с удовольствием дал бы Кёрнеру по физиономии, — сказал Петр Сергеевич. — В концлагере насмотрелся на их дела... Но преступник, вышедший на свободу после заключения, уже не считается преступником. Тронуть его никто не имеет права. Его, как и всех, охраняет закон. А кто закон нарушает, несет наказание. Вас бы тоже по головке не погладили. И родителям бы досталось». — «Да мы его пугнуть хотели», — попробовал оправдаться Диман. «Это какими-то камнями?» — усмехнулся Петр Сергеевич. «Еще небольшие взяли. По совету вашего Витальки», — вставил я. «Витальки?» — переспросил он, и лицо его сразу стало усталым, серым.

Он долго молчал, а потом заговорил о предательстве. Он сказал, что Глеб, сообщив ему о нашем плане, вовсе не стал предателем, потому что лучше нас во всем разобрался и действовал ради того же дяди Васи. К тому же Глеб открыто предупредил, что помешает нам, а вот Виталька... «Виталий, — глухо проговорил Петр Сергеевич, — вел себя как предатель. Захотел посмотреть представление. А я ему раньше вас обо всем рассказал... Как же он?...» Петр Сергеевич сидел хмурый и подавленный. Мне даже жаль стало этого человека с седыми висками, который только что казался таким сильным и грозным.

А потом Петр Сергеевич стал говорить о дяде Васе. По его словам, дядя Вася был человек одаренный, со сложной судьбой. После войны он учился в Москве в художественном училище, но потом тяжело заболел, учебу пришлось бросить. Дядя Вася вернулся в Уярск. Долгое время жил одиноко, потом женился, но через год его жену сбил грузовик. Спасти ее не удалось. Она пролежала в больнице месяц, после чего дядя Вася опять остался один. Он стал нелюдимым, начал пить. Но в последние годы он как бы очнулся. Поступил на работу в театр, чаще брался за кисть. В театре его це-

нили. Он был интересным осветителем, много придумывал, изобретал. И пил он теперь меньше. Жизнь как будто налаживалась. И вдруг эта история с немцем. Хорошо еще, что все так кончилось...

Петр Сергеевич посидел с нами еще немного, даже поспорил о футболе, а потом попрощался, ушел.

И вот к вечеру я почувствовал, что мне нужно увидеть дядю Васю. Нужно, и все. Хотя я и не знал, зачем.

Я поднялся на четвертый этаж и позвонил. Долго никто не открывал. «Может, убежать, пока не поздно? Но сегодня дядя Вася дома, сегодня в театре выходной, а потом жди...»

Щелкнул замок, и в двери появился дядя Вася. Рубашка на нем была не застегнута. Лицо мятое, опухшее.

— Вы к кому? — спросил он.

Я понял, что он не узнает меня. Освещение на лестничной площадке было слабое.

— К вам, — сказал я. — Можно?

Он посторонился, и я вошел в коридор.

Тут он меня узнал.

— Ты что?

— Так, — проговорил я и посмотрел на стену коридора, где был подвешен за раму чей-то велосипед. «Наверное, соседский», — подумал я.

— Проходи, если «так», — сказал дядя Вася и кивнул на полуоткрытую дверь.

Комната была небольшая, да в ней еще стояли диван, стол с двумя стульями, шкаф и этажерка, набитая книгами. Поэтому в комнате было совсем тесно.

— Садись, я сейчас приду, — сказал дядя Вася и вышел из комнаты.

Куда сесть, я не знал. На столе были остатки ужина — банка с кильками, несколько вареных картофелин, пол-луковицы, почти пустая бутылка водки. Самому сесть за стол было неловко: я же не ест сюда пришел. А на диван тоже не сядешь: на нем валялось сбившееся тонкое одеяло, очевидно, дядя Вася лежал, перед тем как я заявился.

Я перенес стул к окну и сел там. Только теперь я заметил возле шкафа еще одну дверь. Она была приоткрыта, и я лишь мог рассмотреть, что на стене в той комнате висит много картин, а больше ничего не было видно.

Здесь, в комнате, где я находился, тоже висели картины. Но их было всего три. С одной печально смотрела молодая женщина. По выражению ее глаз мне казалось, что она хотела что-то сказать или, вернее, о чем-то попросить. На двух других картинах были городские виды.

Вошел дядя Вася.

— Поставил чайник, — сказал он. — Ты ведь еще водку не пьешь?

— Не пью.

— И правильно. Не пей никогда.

Я покосился в угол комнаты, где выстроились в ряд бутылки. Как футболисты перед фотографом. Стоят, тесно прижавшись. В одной форме. Зелененькой.

— Мне можно, — проговорил дядя Вася, перехватив мой взгляд. — Насчет меня статья особая вышла.

— Почему? — нелепо спросил я.

Он пожал плечами:

— Почему?.. Не знаю. И верно — почему? — Он придвинул к себе бутылку, повертел ее за горлышко двумя пальцами, отставил. — А ты что там уселся? Иди к столу. Гость называется.

Я подсел к нему.

— Бери кильки, — предложил он. — Вот хлеб, масло.

— Спасибо, я дома наелся.

— Ничего себе. Что ж наелся, если в гости идешь?

— Я не в гости, — проговорил я.

— Не в гости? — Дядя Вася посмотрел на меня. — Тогда выкладывай, в чем дело.

Что выкладывать? Сказать, что я все знаю, что мы хотели сегодня отомстить за него, да вот не вышло, и хорошо, пожалуй, что не вышло? Не нужно, наверное, об этом говорить.

Но я так и начал:

— Мы сегодня хотели камнями этого Кёрнера... — и замолчал, потому что увидел, как вздрогнул дядя Вася, как быстро он налил в стакан оставшуюся водку и проглотил ее всю в один глоток, даже в горле хрустнуло.

— Не будем про него... — сказал он, встал и ушел в коридор.

Вернулся он с чайником. Поставил передо мной чашку, достал откуда-то две конфетины «Ласточка».

— Больше нет, — сказал он, — ты уж извини. Не ждал. Тебе как, покрепче?

— Покрепче, — кивнул я, хотя дома никогда не пил чай «покрепче».

Он хотел было налить и себе, но подумал, взял стакан и сказал:

— Пойду сполосну.

После чая он повел меня в соседнюю комнату. Она была раза в два или три больше, чем та, в которой мы сидели. А может, она показалась такой, потому что в ней было пусто.

Лишь висели картины на стенах да стоял у окна мольберт.

В углу, правда, приткнулась обшарпанная табуретка, но она, конечно, не в счет.

— Моя мастерская, — сказал дядя Вася.

Мне было удивительно слышать, что эта комната так называется. До сих пор я знал, что в мастерской должно пахнуть кожей и резиновым клеем, или там скрежетали напильником по ключу, или же с помощью паяльника соединяли проводки в телевизоре. А тут пусто, тихая комната — и тоже мастерская.

И какое-то чувство — необыкновенное и торжественное — внушало мне, что я ступил в мир тоже необыкновенный, который вдруг доверчиво открылся и принял меня.

Я сразу понял, что в мире этом нужно говорить негромко, а двигаться спокойно, нерезко.

Некоторые из картин я вспомнил: вот та самая улица, что спускается к реке, а вот аллея с густыми вязами. Но все остальные картины я видел в первый раз, хотя, глядя на них, тоже узнавал уголки нашего города. Не на всех узнавал, но на многих. Это было очень интересно. И приятно. Город-то ведь мой!

У одной картины я замер. Она была небольшая, как и все, и ничем особенно не выделялась. Поэтому я не сразу заметил ее. На картине черно-синий вечер и еле проглядывается стена дома. А в стене нечеткий бледно-зеленый квадрат... Окно... То окно, которое я узнаю среди тысячи других. Кусочек морского дна... И силуэт.

Конечно, никто, даже сам дядя Вася не знает, чей это силуэт.

Только я знаю.

Это было тогда, когда Таня подходила к окну, потому что я попросил ее. И я тогда знал, что она подойдет,

что она непременно подойдет. Потому что я попросил...

Я вздрогнул: чего так долго стоять у этой картины, дядя Вася еще что-нибудь подумает. «Что подумает? Ведь он ничего не знает». И все равно я отошел.

Больше я никаких картин не видел. Вернее, я различал на них и дома, и деревья, и людей. Но это так лишь, мелькало как во сне.

Время от времени я бросал короткий взгляд на ту картину — с Таниным окном. Но каждый раз мне казалось, что дядя Вася все видит и все понимает. Я делал шаг в противоположную сторону и уходил дальше от «зеленого окна».

В конце стены мне попало несколько листов, прикрепленных кнопками. Это были репродукции чьих-то работ. На одну из них, с дорожкой среди желтеющих деревьев, я загляделся. На дорожке одиноко темнела фигура женщины.

Края у листов с репродукциями были обрезаны, и прочитать фамилии художников я не мог.

— Это кто рисовал? — спросил я, показав на листы.

«А вдруг дядя Вася? — появилась радостная мысль. — Ведь не должны же висеть здесь чужие картины!»

— Левитан, — ответил дядя Вася.

И еще он сказал, что репродукции эти так себе, что Левитана отпечатать в типографии нельзя, как и вообще любого художника.

— А зачем же повесили?

— Не знаю. Увидел как-то в книжном магазине, не удержался, вот и купил. Наверное, потребность.

— Какая потребность?

Дядя Вася подошел поближе, посмотрел на листы и сказал:

— Я думаю, у каждого она есть, потребность, — в Левитане, Моцарте, Чехове.

Слова эти запали мне в душу. Возвращаясь домой, я думал: а какая же у меня потребность?

Потребность в Левитане... Я помню, был рисунок в «Родной речи», рисунок нецветной — река, деревья, кажется, березы. Подпись: «Золотая осень», художник Левитан... Нет, как-то не замечал я в себе такой потребности.

Потребность в Моцарте... Я слышал это имя. Известный композитор. Жил когда-то очень давно. Да,

в книжке, которую мне давала Таня, кроме «Русалки», я полистал и другую вещь — «Моцарт и Сальери». Точно, на одной странице было нарисовано, как Сальери подсыпает яд в бокал Моцарта. Жаль, конечно, композитора. Тем более известного. Но всякие там симфонии я не слушаю. По-моему, песни гораздо лучше. Это, наверное, у Верки есть потребность в Моцарте, то-то свои гаммы барабанит... А у меня нет.

Потребность в Чехове... Ну как же! Очень хороший писатель... Я еще в школу не ходил, а мама мне читала «Каштанку». А про Ваньку Жукова мы в классе разбирали. Ну и жизнь была у бедняги! Только как он там написал?.. Ага! «На деревню дедушке». Привет! Вот чудик-то! Впрочем, он не виноват. Другой на его месте, может, и не такое отчубучил бы... Рассказы, верно, интересные. Только при чем здесь потребность?

Но ведь у всех, сказал дядя Вася, она есть. У всех! А у меня нет. Ну и лопух! Ну и тундра!

НЕОЖИДАННОСТИ

Вначале мне показалось, что история с «мустангом» ворвалась в нашу жизнь, как прилетевший вдруг откуда-то ветер, и все поменяла, все переставила по-своему.

Таня вновь была приветлива со мною, хоть все во дворе и считали, что мы с Диманом «наломали дровишек».

С Виталькой Таня держалась сухо и сдержанно, хотя я, честно говоря, не мог его ни в чем обвинить. Ну не захотел идти с нами, и не надо. Но Тане это почему-то не давало покоя. Она его не ругала, нет. Зато несколько раз спрашивала, что мы ему говорили, перед тем как пойти к гостинице, и что он отвечал, и когда появился он возле «Интуриста», и как там себя вел.

Я говорил ей:

— Да брось ты все это. Что вспоминать одно и то же!

— Нет, расскажи, — настаивала она, — я тебя прошу.

И я опять рассказывал, а она внимательно слушала.

Прошло еще несколько дней, и вот встретился я как-то с Таней, и она, едва поздоровавшись, сразу же начала:

— Ты знаешь, Виталька мне все объяснил. Ты не думай, он вовсе не такой.

— Я и не думаю, — сказал я машинально. — Только ты о чем?

— Понимаешь, он не смотреть туда приходил, как вы будете бить камнями эту машину. Ты не думай, — повторила она. — Виталька хотел замести ваши следы, в случае чего. Он так и сказал — замести следы.

— Какие следы?

Таня досадливо поморщилась:

— Ну как же ты не понимаешь! Вот вы бы натворили дел, кругом суматоха — что да кто? А Виталька тут как тут. Он бы сказал: «Я все видел. Это один парень сделал. Он вон туда побежал». Ну и, конечно, придумал бы там всякие приметы и сторону неправильно указал бы. Вот видишь.

Таня просто светилась от радости, а я никак не мог понять, чего тут радоваться. Ну что было, то было. Зачем же без конца вспоминать все это?

— Слушай, — сказал я, — сегодня отличный матч. Айда на стадион.

— Нет, — проговорила Таня, — мы с Виталькой сейчас в кино идем.

— А-а-а... — протянул я. — Что смотреть будете?

— Не знаю. Виталька билеты доставал.

— А-а-а... — И мне стало совсем грустно.

— Ты что? — спросила Таня и, помолчав, предложила: — Хочешь, идем с нами. Может, еще есть билеты.

— Да нет уж. Идите. А я на стадион. Пока.

Я зашел за Диманом, и с ним мы отправились на стадион.

За матчем я почти не следил. Диман то и дело подсказывал на месте и толкал меня в бок.

— Во дает! — кричал он. — Ух, ты!

Казалось бы, уж на что я люблю футбол, но теперь я равнодушно смотрел и на игроков и на мяч, словно сквозь какой-то смутный сон. Я думал о Тане, и о себе, и о Витальке, конечно, тоже.

Порой я слышал, как по трибунам волной прокатывался рокот и затихал. Только меня он не захватывал, как обычно. Я будто бы окаменел, и эта волна ничего не могла со мной поделать.

Лишь когда на трибунах стало вдруг тихо-тихо и Диман, толкнув меня, прошептал: «Пенальти», — я как бы проснулся.

Футболист сделал короткий разбег... Удар!..

Это был пушечный удар. Вратарь прыгнул, но куда

там! Мяч влетел в самую «девятку». И, как от выстрела, страшный грохот разорвал тишину — это в единый миг закричали, засвистели и захлопали тысячи болельщиков.

Теперь уже эта мощная и шумная волна подхватила и меня, и я тоже вскочил и закричал в один голос со всеми.

— Какой счет? — спросил я у Димана, когда рев на трибунах утих.

— Ты что, больной? — изумился Диман.

Тут я и сам понял, как нелепо прозвучал мой вопрос: ведь сидел-то я здесь с самого начала игры — и вдруг ляпнуть такое.

— Ну, ты даешь! — сказал Диман и потрогал мой лоб.

Матч продолжался, а я через несколько минут после пенальти опять стал чувствовать, как наползает на меня тот смутный сон, и вновь смотрю я на игру, а ничего не вижу.

После футбола мы пошли домой.

Во дворе возле своего подъезда Костик рисовал на асфальте ужасную рожу с трубкой во рту и пел:

А нам все равно,
А нам все равно...

— Идем ко мне пообедаем, — предложил вдруг Диман.

Я пожал плечами:

— Идем.

Пообедав, мы включили телевизор и стали смотреть передачу «Для дома, для семьи». Толстая тетка объясняла, как готовить слоеное тесто.

Я глядел на экран, а в голове моей вертелось:

А нам все равно,
А нам все равно...

Диман переключил программу, но и здесь было не интереснее: шел урок английского языка. Преподаватель усиленно двигал губами и что-то писал на доске, но мне казалось, что он напевает:

А нам все равно...

— Диман, — сказал я, — выключай свой телик, надоело.

Диман щелкнул выключателем. А песенка все звучала.

— Диман, — сказал я, — ты не знаешь, что это за песня?

— Какая?

— «А нам все равно».

— Привет! — подскочил Диман. — Это же из «Бриллиантовой руки». Не видел?

— Нет.

— Темнота, — обозвал меня Диман.

— Хорошая картина?

— Полный блеск.

— Про что?

— Долго рассказывать. Но песенка!.. Никулин поет. А еще там драка — со стула свалишься.

Я поднялся.

— Куда ты?

— Смотреть «Бриллиантовую руку».

— А, ну давай, — сказал Диман. — Толковая картина.

Я пошел не в кино, а домой. Почему-то не могу я долго быть с Диманом. С ним я могу погонять в футбол, ну у телика посидеть немного — и все. Где же мне найти настоящего друга? Где?

Дома я взялся дочитывать «Кон-Тики».

Но тут вошла мама и сказала, что ко мне заходили Виталька и Таня.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю, мне они не доложили.

— Ты бы спросила.

Мама пожала плечами:

— То ты говоришь, зачем я вмешиваюсь в твои дела, а теперь я виновата, что не расспросила. — И она вышла.

«Зачем же я им понадобился? — размышлял я. — Вместе заходили. И Таня и Виталька. Лучше б одна Таня».

И вспомнились мне стена, и окно, и силуэт в расплывчатом, зеленоватом свете.

Стучат по рельсам колеса. Покачивается вагон. За окном мелькают в темноте огни: иногда одинокие, случайные, а иногда их много, целые россыпи — это поселки и города убегают куда-то назад.

И все это не в кино, не на экране, а на самом деле. До чего же здорово, черт возьми! Ругаться пехоро-

шо, я знаю. Мама бы мне сейчас сделала замечание. Но, во-первых, я это не вслух сказал, а во-вторых, я еду без мамы. Еду один! Ну разве не здорово?!

Я даже заснуть не могу, так здорово! Все кругом спят. В полутемном вагоне и храп, и какое-то бормотание сквозь сон, а я не хочу спать, не могу — лежу на верхней полке и смотрю в окно. Хотя смотреть-то без толку: ничего не видно. Кроме огней.

Темнота. Огни, огни, огни... Снова темнота. Даже чернота, как в пузырьке с тушью. А вот огонек. Один... второй... И все. Больше нет. Опять темнотища...

Я перевернулся на спину. Надо же такому случиться! Я еду в Москву. Напротив меня спит Виталька, а на нижней полке — Таня. Нет, я не из-за них поехал. Не из-за Тани. Я давно хотел увидеть Москву. А Таня — это так уж получилось, что едем вместе. Правда-правда!

Я, конечно, знал, что бывают в жизни неожиданности. Помню в третьей четверти контрольную по алгебре.

У отличника Ольмана одни ответы, а у меня — другие (мы алгебру всегда по Ольману проверяем). Все узнали, как он решал, стали скорей исправлять, бумажку передают друг другу. Но возле моей парты стоит Илья Васильевич как вкопанный и не отходит. Нинка Малявина глазом на меня косит, а передать бумажку эту самую боится. Что делать? И тут как раз звонок. Сдали мы тетрадки. «Ну, — думаю, — погорел». И вдруг на следующий день принес Илья тетради — у всех «пары» и «тройки», и лишь у меня пятерка. Это по алгебре! Я глазам своим не верил.

А еще как-то поехал с ребятами за грибами. Все полные корзины насобирали, а у меня на доньшке две сыроежки перекатываются, раскрошились уже совсем. Ребята смеются, спрашивают, не буду ли я носильщика брать. А я молчу: не везет. Ничего не поделаешь. И вижу вдруг: у одного куста зажигалка лежит. Да такая красивая! Я поднял. Щелк — крышка отскочила, и заколыхался у меня в руке огненный язычок. «Made in Poland» на зажигалке написано. Польская, значит.

Виталька подскочил ко мне, тоже пощелкал, а потом говорит:

— Где нашел?

Я показал. Он чуть всю землю под кустом не перерыл. Только что искать! Зажигалка не гриб, одна возле другой не растет.

Подошел Диман, повертел в руках зажигалку, поджег сухой прут, проговорил:

— В порядке штуkenция. Где нашел?

Я опять показал на куст, но Диман видел, как там шарил Виталька, и остался на месте.

Потом Виталька вновь принялся разглядывать мою зажигалку, без конца шелкал крышкой, хотел ножом отвернуть винтик. Но Диман предупредил:

— Сломаешь, не ковыряй.

Виталька отдал мне зажигалку.

— Польская что!.. — сказал он. — Австрийские лучше.

— Ну и ищи себе австрийскую, — ответил я. — А мне эта сойдет.

— «Сойдет»! — передразнил Виталька. — Ее нужно хозяину вернуть.

— А где ж хозяина-то искать? — спросил я.

Понятно, если б нашел я ее в трамвае, или в автобусе, или хотя бы в магазине, сдал бы — и все дела. А тут кому сдавать — лешему, что ли?

— Положи под куст, хозяин вернется и найдет, — сказал Виталька.

— Привет! — бросил Диман.

— Приветик! — повторил я за ним.

Виталька промолчал: наверное, сам вспомнил поговорку про иглу в стоге сена.

— Тогда давай спрашивать у всех, — сказал он.

— У кого — у всех?

— А кто в лесу встретится.

— Давай, — согласился я.

— Ерунда, — сказал Диман. Он протянул мне корзинку с грибами. — Махнемся: ты мне — зажигалку, я тебе — грибы?

— Нет, — покачал я головой.

— Точно, — вздохнув, признал Диман, — зажигалка лучше.

— Бери мои, — предложил Виталька, — у меня одни белые.

Но я меняться не стал. Мы пошли дальше и встретили старика. Палкой он отгибал нижние ветки у елочек.

— Вы зажигалку не теряли? — спросил я.

— Зажигалку?

— Ну да. — Виталька уже был тут как тут, рядом со мной. — Зажигалку.

— Нет, не терял. — Отогнув ветку, старик увидел гриб, наклонился, срезал его под корень.

— Польскую, — добавил Вигалька.

— Что?

— Зажигалка, говорю, польская.

— И польскую тоже не терял. Я некурящий. — Старик положил гриб в ведро и двинулся к поросли березок.

— Глухой хрыч, — выругался Вигалька. — Еще за грибами ходит.

— А что, грибы пищат, что ли? Ему их слушать не надо, — сказал я.

Диман засмеялся, а Вигалька поджал нижнюю губу.

Потом мы встретили женщину с девочкой.

— Спросить? — толкнул я Димана в локоть.

Диман посмотрел на женщину, потом на девочку и сказал:

— Не стоит.

— Бывает, что и женщины курят, — заметил Вигалька.

— Бывает, — согласился я и спросил у нее про зажигалку.

Нет, она не теряла.

— А лопатку маленькую с синей ручкой вы не находили?

— Не находили, — сказали мы и пошли дальше.

Вигалька все потешался:

— Надо же!.. С ручкой! А шляпу с перышком они не теряли?..

Долго нам никто больше не попадался. И вдруг, пожалуйста, настоящий мужчина, высокий, плечистый, да еще военный.

— Дядь, вы не курите? — спросил Диман.

Военный пристально взглянул на нас.

— Курю. Но закурить не найдется. Малы еще.

— А зажигалку вы не теряли? — спросил я упавшим голосом.

— Не терял.

— Польскую, — вставил Вигалька. — Отличная зажигалка.

— Нет, — пожал плечами военный.

Вигалька прикусил губу, а потом сказал мне:

— Покажи зажигалку-то.

— Вот, — вынул я ее из кармана и дал военному.

Он поглядел на нее, попробовал, как она зажигается.

— Хорошо работает, — сказал он и протянул ее мне.

— Подари ему, подари, — громко зашептал Виталька.

— Возьмите ее, — сказал я, хоть и жаль было расставаться, но не забирать же ее назад после Виталькиного шепота: военный-то, конечно, все слышал.

— Спасибо, — сказал он, — у меня зажигалка есть. Правда, не польская, но работает не хуже. Сыниска сделал. — Он достал свою зажигалку, закурил. — Где ж ты таких белых насобирал? — спросил он у Витальки.

— Да там, — кисло ответил Виталька и махнул рукой.

Вот и осталась зажигалка у меня, потому что в лесу мы больше никого не встретили. Валялась она без дела в моем ящике (дома у нас курящих нет), а потом я взял да и подарил ее приятелю отца — полярному летчику...

Я опять перевернулся на живот и стал смотреть в окно. Темнотища. Ни одного огонька. Наверное, мимо леса поезд идет.

Нет, это были чепуховские неожиданности. И без той пятерки по алгебре вполне я мог прожить, и польская зажигалка тоже была ни к чему. А вот поехать вдруг в Москву — это да! Это чудо.

Если разобраться, может, и не очень-то чудо. Почти весь наш дом едет в Москву на гастроли. Взрослые, конечно. Ну, о Тане говорить нечего. Таня будет выступать в «Русалке». Но Виталька...

Здорово он все придумал!

Действовали мы по такому плану.

Я упрасивал своих родителей:

— Ну пустите меня... Всего на недельку... Раз, два — и я вернусь.

— Рано тебе самому разъезжать, — говорили родители.

— Ну да, рано! Все вон едут, а я нет.

— Кто это все?

— Таня едет, Виталька едет... — начинал перечислять я. — Им можно, а мне нельзя?

Виталька то же самое говорил у себя дома: «Все

едут, а я нет». — «Кто все?» — «И Таня едет, и Эдька едет...»

Виталькины родители «сломались» раньше: у них в Москве были родственники, поэтому «глаз за ним был обеспечен» (так выразилась моя мама).

Я хотел было сказать, что мне никакой «глаз» не нужен, но вовремя спохватился.

— Ладно, — проговорил я, — пусть и у меня будет «глаз». Я на все согласен.

И тут выяснилось, что нет в Москве для меня подходящего «глаза».

— Ну к кому же ты поедешь? Ведь не к тете же Гекте, — сказала мама.

— Хотя бы! — воскликнул я, хватаясь за эту мысль как за соломинку. — Что она, не родственница, что ли?

— Весьма отдаленная, — вставил два словечка папа, оторвавшись от электробритвы.

— Сестра жены моего двоюродного брата, — уточнила мама. — Даже не знаю, как назвать эту степень родства.

— Короче говоря, некто Жуткина, — сострил папа.

В другом случае я бы тоже как-нибудь пошутил (фамилия тети Гекты была Уткина), но сейчас это могло лишь повредить мне.

— Старо, — заявил я. — И вообще тётя Гекта отличная тетка, и она меня любит, просто обожает.

— Особенно после того, как ты выкрасил губной помадой ее голубое пальто, — вспомнила мама давнюю историю.

Что верно, то верно. Но ведь мне тогда было три или четыре года. И пальто я стал перекрашивать не со зла, а как раз наоборот: хотел сделать что-то приятное этой наруганной тете, от которой повсюду пахло духами.

— Она давно об этом забыла, — сказал я.

Папа опять отвел бритву от подбородка.

— Боюсь, — проговорил он, — что это твое заблуждение. По-моему, она настолько хорошо все помнит, что уже лет десять не показывается у нас.

— А письма-то шлет.

— Письма что! А приезжать не приезжает, — поддержала мама отца. — Да и мы у нее никогда не были.

— А в письмах приветы и поцелуи, — не сдавался я.

— Поцелуи имеют свой смысл не в письмах, — заметил папа.

— Виктор! — строго произнесла мама и переключилась уж на совсем другую тему. — Учти, — сказала она мне, — такая поездка дорого стоит. А ведь мы в отпуск собираемся.

Я видел, что родители уже готовы были признать тетю Гекту моим «глазом», — и вдруг все лопалось из-за каких-то денег.

— Деньги будут, — выпалил я, не подумав.

— Интересно, откуда? — Папа даже бриться перестал.

Нужно что-то ответить. Но что?..

— Не покупайте мне подарки на день рождения, — придумал я и сразу же понял, как это нескладно: день рождения-то у меня зимой.

Папа и мама взглянули друг на друга и рассмеялись.

— Как ему хочется поехать, — сказала мама.

— Мне тоже хочется. — Папа никак не мог справиться со своими висками.

— Вот и поезжайте, — сказала мама. — Я без вас тоже отдохну.

— Отпустить его, что ли? — размышлял папа вслух. — Тогда и отдохнем вместе.

— Ура! — закричал я, выхватил у него электробриту и стал натирать ею отцовскую щеку с бешеной скоростью.

Когда я очень радуюсь, я могу выкинуть что-нибудь сумасшедшее.

— Не поедешь никуда, — отпрянул от меня папа. — Что за выходки?

Но я знал, что это он просто так, для пущей важности.

И вот я еду в Москву. Конечно, не из-за Тани еду. При чем тут Таня? Я ведь столько слышал и читал о Москве. Ну а если б Таня ехала в Магадан? Про него-то я почти ничего не читал и не слышал...

Поезд наш встречали цветами.

Во время пути я стал чувствовать себя частичкой поезда: все мы ехали, все мы чего-то ожидали, все волновались. И теперь мне казалось, что это и меня встречают люди, собравшиеся на перроне. И мне тоже они улыбаются, и мне тоже принесли они цветы.

Тане какая-то тетка с родинкой на пухлой щеке протянула букетик:

— Наверное, Русалочка, да? Какая прелесть.

Таня смутилась.

А тетка уже рассматривала нас с Виталькой.

— И вы из театра? — спросила она улыбаясь.

— Нет, — проговорил я. — Не из театра.

Тетка согнала с лица улыбку. Родинка на щеке шевельнулась и замерла.

— Проходите, ребята, проходите. Не мешайте, мы артистов встречаем.

— Так они же с нами, — вступилась Таня.

Тетка опять попробовала улыбнуться.

— Что же вы меня разыгрываете? То с нами, то не с нами... — И она шагнула к другим. — Здравствуйте! С приездом вас... Здравствуйте...

И радость во мне потухла. Ну конечно, чего это я выдумал? Никто меня не встречает. Они сами по себе, а я здесь человек случайный, попутчик всего-навсего. И Виталька тоже. Всем «Здравствуйте! С приездом!», а нам с Виталькой — «Проходите, не мешайтесь».

— Пошли, — сказал я Витальке.

— Куда?

— На кудыкину гору, — рассердился я.

Зачем торчать здесь, если на тебя никто внимания не обращает. Стоишь, будто что-то выпрашиваешь. А мне ничего не нужно от них. У меня есть адрес и телефон тети Гекты. А уж Витальке и подавно делать здесь нечего: сам хвастал, что был в Москве сто раз и знает ее как свои пять пальцев. Но когда я еще в поезде спросил его, где Кривоколенный переулок, он засмеялся: «Нет в Москве такого. А Прямохребетный тебе не нужен? Или Косоглазастый?» Тогда я показал ему адрес тети Гекты. Виталька поморщился, а потом согласился, что где-то на окраине, может быть, и есть такой завалященький переулочек. Вот его-то родственники, сказал он, живут на Комсомольском проспекте, там и Москва-река рядом и Парк культуры. Таня тоже знала, что будет жить в гостинице, а их, известное дело, в «завалященьких переулочках» не строят.

— Ну, идешь, что ли? — Я подхватил свою спортивную сумку.

— Подождем Таню. Договориться надо.

Я только сейчас заметил, что Таня куда-то отошла. Поглядев по сторонам, я увидел ее возле худенького не-

высокого человечка в светло-сером костюме с красными переливами. Этого человечка я еще раньше приметил: он все порхал от одних к другим, как мотылек.

Чего договариваться? Обо всем вроде договорились. Обменялись телефонами. Таня нам завтра позвонит с утра: сегодня у них всякие встречи, приветствия, репетиции.

— Ребята, — подлетела Таня, — сейчас поедem. За нами автобусы пришли.

— Порядочек! — обрадовался Виталька.

— За вами пришли, — поправил я, — а не за нами.

— И вас возьмут, — сказала Таня. — Я уже поговорила со Львом Михайловичем. — Она важно кивнула в сторону порхающего человечка.

— Кто это? — спросил я.

— Лев Михайлович? Наш администратор в Москве. Будете приходить к нему за пропусками.

«Больно нужно», — подумал я, а Виталька сказал:

— Обязательно придем.

— Ну, идемте к нему, — пригласила нас Таня.

Лев Михайлович мельком взглянул на нас, спросил:

— Вас куда подбросить?

«Да вот на дерево», — чуть не сорвалось у меня с языка.

— Комсомольский проспект, дом девятнадцать, — сказал Виталька.

— Дом девятнадцать... — повторил Лев Михайлович. — Отлично, а квартира какая?

— Восьмая, — машинально ответил Виталька.

— Не подходит, — ответил администратор. — Нам в другую сторону, к гостинице «Советская». А тебе куда? — Он скользнул взглядом по моей спортивной сумке.

Уж лучше бы совсем не спрашивал. Сейчас рассмеется. А может, сказать, что забыл?

— В Кривоколенный, — с вызовом проговорил я.

— А, — сказал Лев Михайлович, — в центр. Тоже не годится. — И он повернулся к Тане: — Вы уж извините, Танечка, но ничего для ваших друзей сделать не могу.

— Да мы сами доберемься, — сказал я. — Не маленькие. До завтра. — И, перекинув через плечо свою сумку, я зашагал как можно увереннее.

В самом конце перрона я обнаружил, что иду без

Витальки. Я-то думал, он топает рядом, а он, оказывается, остался с артистами.

«Ну и пусть подлизывается к этому администратору. Я и без него разыщу Кривоколенный. Позвоню сейчас тете Гекте».

Я думал, что лишь на перроне столько народищу, но, когда вышел на привокзальную площадь, ахнул. Людей-то кругом, людей!.. И все спешат, бегут, суетятся — муравейник, и только.

Возле каждой телефонной будки целый хвост. Я тоже пристроился в одну очередь. Мне не повезло: в моей очереди подобрались сплошные болтуны. Даже старушка, что стояла передо мной, и то минут десять разговаривала. По-моему, она вспоминала всех родственников: «А как Нина?..», «А что Клава?..», «А Сережа?..», «А у Ивана как?» Конца им нет. Несколько раз она собиралась вешать трубку: «Ну до свидания. Я пошла. Поклоны Оле и Пете». Но тут опять кого-то вспоминала, и все начиналось сначала.

Сзади меня стоял плотный мужчина с прической «бобрик», он то и дело поглядывал на часы. Наконец он не выдержал, постучал в приоткрытую дверь монеткой.

— Мамаша, закруглялись бы.

Старушка радостно закивала и принялась расспрашивать про Антошку.

— Вот родственников развела, — сокрушался «бобрик». — Почитай, целая сотня будет.

— Ага, — согласился я. — Родственников навалом.

— Послушай, — сказал мне «бобрик», когда старушка повесила трубку. — Ты меня пропусти, а? Я очень спешу. — И уже взялся за дверь.

Я вдруг вспомнил мамин наказ: «Приедешь в Москву, сразу же позвони тете Гекте, без промедления». Зачем «сразу же», мама объяснить не могла. Так попросила тетя Гекта, когда узнала, что мой поезд прибывает в девять утра.

А «бобрик» уже наполовину втиснулся в будку.

— Нет, — сказал я, — пустите, я тоже очень спешу.

— И ведь небось в школе учишься, — стал стыдить меня мужчина. — Проблемы решаешь, теоремы, а к старшим никакого уважения.

— При чем тут уважение? — вступился кто-то за ме-

ня. — Вы без очереди лезете, да еще к вам уважение. Я бы в самом деле пропустил его, если б он не хватался за дверь. Но уж тут позвольте!

Тогда «бобрик» заговорил по-другому:

— Послушай, сынок. Никакой возможности ждать не имею, понимаешь?

Он взглянул на меня с такой надеждой, что я сказал:

— Ладно, идите.

Когда «никакой возможности» — это плохо. Может, у него в квартире газ не закрывается или, может, вдруг живот заболел. Помню, объелся я однажды зеленых слив...

— Сынок, — обратился ко мне из будки мужчина, — двушки лишней не найдется? — Взамен он протягивал пятак.

Приветик! Ломился-ломился, а теперь еще двушку ему.

В очереди зашумели, но я дал мужчине монетку. Пятак, конечно, не взял.

«Бобрик» набрал номер.

— Это я, — загремел он. — Ну что? Черт возьми! А я все сижу тут, как дурак с мытой шеей... У меня тоже времени нет. Через десять минут уезжаю... — Он бросил трубку, сердито взглянул на очередь и ушел.

Тетя Гекта взяла трубку сразу же после первого гудка. Я не успел ничего сказать, как услышал:

— Ну что еще?

— Ничего, — сказал я от неожиданности. — Я приехал.

— Эдик!.. — закричала она. — Беги скорее на левый угол вокзала. Там тебя ждет машина.

— Какая машина?

— «Волга» синего цвета. На ней написано «Учебная». Скорее беги... За тобой Дим Димыч приехал. А я тоже бегу — на работу опоздала.

— Кто приехал?

— Дим Димыч, мой муж, твой дядя Дима.

— Мальчик, нельзя ли побыстрее? — подгоняли меня из очереди.

А я что-то запутался.

— И муж и дядя приехали? — спросил я.

— Да нет... Некогда объяснять. Он твой муж и мой дядя.

— Мой муж?! — воскликнул я.

— Твой дядя! — кричала тетя Гекта. — Что ты мне голову морочишь перед работой?

— Я не морочу. Вы сказали, ваш дядя.

— Дядя...

— Ну вот.

— Что — вот?

— А говорите, муж...

— Так он мой муж!

— А вы сказали, он мой...

В дверь застучали монетками.

— Мальчик, дома разберешься, заканчивай скорее разговор.

— Мой... мой... понимаешь, мой! — кричала тетя Гекта, будто я хотел отобрать ее мужа.

— Ну конечно, ваш, — сказал я.

— Кто мой?

— Дядя, — неуверенно произнес я.

— Чей?

— Мой, — сказал я наугад.

— Наконец-то! — обрадовалась тетя. — Теперь беги. — И трубка моя запищала коротенькими гудками.

Машину с надписью «Учебная» я нашел быстро. Я схватился было за ручку дверцы и вдруг замер. Ну и ну! За рулем сидел тот самый «бобрик».

Значит, неожиданности решили меня преследовать по пятам. Ничего, перезимуем, как говорит в таких случаях наш знаменитый на всю школу двоечник Витька Подшебякин.

ДИМ ДИМЫЧ

И все же я отступил на несколько шагов, чтобы убедиться, что не ошибся. Нет, все совпадало. Автомобиль марки «Волга», цвет синий и надпись «Учебная». И сидели там три человека: один за рулем и двое на заднем сиденье. «Дим Димыч, муж и дядя», — подумал я и, решительно подойдя к машине, заглянул в окошко.

— Тебе чего? — спросил меня «бобрик».

— Мне ничего. Мне нужно дядю.

— Какого дядю?

— Моего.

В машине все переглянулись. Тогда, чтобы они не подумали, что я сбежал из сумасшедшего дома, я пояснил:

— Тетя Гекта сказала, что здесь меня ждет дядя... с Дим Димычем... и мужем.

Те, что сидели сзади, отодвинулись от меня к противоположной стороне, а «бобрик», выпучив глаза, спросил:

— Ты Эдька?

— Ага.

— Что же ты молчал? — рассердился он вдруг.

— Как — молчал?

— Там, у телефона.

— А вы меня не спрашивали.

— Ладно, — сказал «бобрик», — полезай ко мне. — Он открыл переднюю дверцу. — Не успел приехать, а уж учудил.

Ничего себе «учудил»! Пропустил его без очереди позвонить, а получается «учудил».

Я уселся, сумку положил рядом с собой на сиденье, но «бобрик» наставительно сказал:

— Сумку поставь себе под ноги. Она не должна стеснять движений водителя.

Я поставил сумку под ноги.

— Теперь другое дело, — сказал «бобрик». — Можно начинать движение... Да, — он протянул мне руку, — зовут меня Дим Димыч.

— Эдик, — произнес я и подумал, что сзади, значит, сидят дядя и муж.

Только почему они какие-то тихие, прибитые, молчат? Я мельком взглянул на них. У одного маленькая головка на тонкой шее, у другого — голова большая с черными кудлатыми волосами.

— Включаем зажигание, выжимаем сцепление, а еще что? — спросил Дим Димыч.

— Не знаю, — пожал я плечами.

— Не тебя спрашиваю. Что еще, Аганесов?

— Скорость, — сказал кудлатый.

— Какую?

— Первую.

— А еще?

— Газку.

— И все?

— Все.

— И автомобиль тронется?

— Тронется.

— Двойка, Аганесов. Вы забыли снять машину с

ручного тормоза и включить сцепление. И что мы еще не сделали, Пеночкин?

— Теперь все сделали, — проговорил тонкошей.

— Двойка, Пеночкин. Перед началом движения нужно дать предупредительный сигнал.

— Правильно, — сказал Пеночкин. — Включить левую мигалку.

— Что «правильно»! — заворчал Дим Димыч. — Вытягиваешь из вас, будто клещами, а вы «правильно». Вам сдавать, а не мне.

— Это верно, — согласился Аганесов.

«Ну и дубы, — подумал я. — Прямо как у нас на уроке».

Тем временем мы двинулись, и я стал смотреть в окошко. Нас обгоняли другие машины, потому что мы ехали медленно, и я уже хотел было попросить Дим Димыча, нельзя ли ехать побыстрее, как вдруг он сказал мне:

— Не высовывайся, а то голову оттяпает. А отвечать кому? Известное дело — водителю.

— Правильно, — подтвердил Пеночкин.

Потом мы остановились возле магазина «Рыба».

— Я быстренько, — бросил Дим Димыч и скрылся в дверях магазина.

— Ему все одно — «быстренько», а у нас час прошел — вылезай из машины. — Пеночкин сердито чиркнул спичкой, закурил. — Говорят, однажды он к бане подъехал и ушел париться, а в машине ждали.

— Анекдот, — отозвался Аганесов и что-то тихо добавил.

Они помолчали, а затем Пеночкин спросил у меня:

— Ты ему кто будешь-то?

— Кому?

— Дим Димычу.

— Никто.

— Я думал, он твой дядя.

— А разве не вы мой дядя? — поинтересовался я.

— Я? — отпрянул от меня Пеночкин. — С какой стати?

— Или вы? — повернул я голову к Аганесову.

— Я твоя бабушка, — мрачно сказал Аганесов.

«Наверное, сел не в ту машину. Какое-то совпадение, — подумал я. — Уйти, что ли, пока не поздно?»

— Идет, — проговорил Пеночкин.

К машине подошел Дим Димыч.

Правой рукой он обнимал огромную банку. «Сельдь» — было написано на этой банке.

— Аганесов, — сказал Дим Димыч, — садитесь за руль. Заедем ко мне.

Я перебрался на заднее сиденье к тонкошеему Пеночкину, а на мое место, где были какие-то дополнительные педали, сел Дим Димыч.

— Поехали, — скомандовал он, примостив возле себя банку.

Двигатель зарычал, машина чуть дернулась и остановилась.

— Вы какую скорость включили, Аганесов?

— Эту... — Аганесов зачем-то потрогал рычаг.

— Ну как она называется?

Аганесов молчал.

— Вы включили вторую скорость, а нужно?

Аганесов достал из кармана платок, вытер со лба пот.

А я почувствовал себя как бы за партой, как бы на уроке.

— Первую, — шепнул я.

— Первую, — обрадовался Аганесов.

— А вас, Пеночкин, я пока не спрашиваю, — обернулся к нам Дим Димыч.

— Хорошо, — сказал Пеночкин.

Наконец машина тронулась, я снова стал смотреть в окно. Мне казалось, что мы и так еле двигались, а Дим Димыч все время говорил Аганесову: «Не спеши», «Пропусти машину слева», «Сбавь газ».

Конечно, плестись вот так — удовольствие небольшое. Но все же я еду на автомобиле по Москве! Не на такси с шашечками, а на синей «Волге». Это ничего, что она учебная. Виталька все равно лопнул бы от зависти.

— Куда гоните? Куда гоните? — прервал мои мысли голос Дим Димыча. — Будет своя машина — торопись ее разбить, а эта казенная.

Аганесов в ответ лишь сосредоточенно пыхтел, кудлатые волосы тряслись. Почему-то было его жаль, хоть он и сострил насчет бабушки.

— Подъезжаете к перекрестку, — вновь зазвучал монотонный голос Дим Димыча. — Что нужно сделать?.. Повысить внимание, снизить скорость. Запомните, Аганесов, тише едешь — целее будешь.

Неужели можно ехать еще тише? Или эта «Волга» умеет ползти как черепаха?

— Аганесов, — сказал через некоторое время Дим Димыч, — видите на углу продовольственный магазин?

— Вижу.

— А вам нужно взять двести граммов «Чайной» колбасы. Где вы остановите машину?.. Сбавьте газ.

— Я не ем «Чайную», — быстро сказал Аганесов.

— Ну хорошо. Двести граммов «Любительской».

— «Любительская» лучше, — оживился Аганесов. — А еще лучше...

— Лучше — хуже! Не в этом дело. Где вы остановите машину?

— Возле тротуара.

— Ответьте подробнее.

— С правой стороны, — выдавил Аганесов.

Дим Димыч устало вздохнул.

— Напротив входа в магазин можно поставить машину?

— Нет.

— Объясните, почему.

— Потому что магазин.

— Что — магазин?

— Продовольственный.

— Двойка, Аганесов. Пока поезжайте прямо. Правил движения вы не знаете.

— Знаю, — упрямо сказал Аганесов.

— Не знаете. Вход в магазин был на самом углу, а машину вы можете останавливать не ближе чем за пять метров от перекрестка. Вам все ясно, Аганесов?

— Все.

Как же этот Дим Димыч напоминал нашего математика! Дать бы Дим Димычу в руки кусок мела, а математику сунуть под мышку огромную банку с селедкой, и были бы они как родные братья. А уж про двоечников и говорить нечего. Что взрослые двоечники, что двоечники дети — никакой разницы. Взрослым, правда, получше: родителей не вызывают.

— Аганесов, скажите, почему автомобиль ставится не ближе пяти метров от перекрестка? Не знаете? А вы, Пеночкин? Тоже не знаете?.. Это делается, чтобы машина не загромождала обзор пешеходам и другим транспортным средствам. Водитель хорошо должен видеть, где его гюрьма, а пешеход — где его смерть.

Пеночкин вздрогнул, а Аганесов застучал зубами в такт двигателю.

Нет, пожалуй, взрослым двоечникам хуже: вон их как запугивают.

Кое-как мы приехали к дому Дим Димыча. Когда под номером дома я прочитал название улицы — «Кривоколенный пер.», мне все стало ясно. Значит, Дим Димыч и есть тот самый дядя и тот самый муж. Только какой он мне дядя? Это еще бабушка надвое сказала! («Аганесов надвое сказал», — усмехнулся я.) А вот тетю Гекту жаль. Наверное, и за столом он выпытывает, что можно есть и пить «водителю транспортных средств» и в каком количестве. А если тетя Гекта ошибается, кричит ей: «Двойка!»

— Пошли, — сказал мне Дим Димыч. — Забирай свою сумку.

И опять я в машине. Опять в синей «Волге» с надписью «Учебная».

До чего же я несообразительный человек! Когда Дим Димыч спросил меня: «Хочешь покататься по Москве?» — мне бы вспомнить и про бесконечные наставления, и про трясущихся Аганесова и Пеночкина, плюнуть бы и сказать: «Нет уж, спасибо». А я-то обрадовался!

И вот теперь уже пошел третий час, как я все «катаюсь» по одним и тем же арбатским переулкам.

Время от времени наша «Волга» останавливалась возле дома, где находились курсы автолюбителей. Дим Димыч сажал в машину новых учеников («Обучаемых», — как говорил он сам) — и начиналось: «Не гоните», «Не торопитесь», «Подъезжаете к перекрестку, что нужно...»

Как же я ругал себя!

— Дим Димыч, — решился я наконец, — а давайте по улице Горького проедем.

— Нельзя.

— Ну по Садовому кольцу.

— Нельзя.

— Ну по... — Но других московских улиц припомнить я не смог и тогда спросил: — Почему нельзя?

— На улицах с большим движением учебная езда запрещена... Корнеев, остановитесь возле булочной. Не забудьте включить правую мигалку.

«Волга» подъехала к тротуару.

— А Красная площадь отсюда далеко? — спросил я.

— На Красную площадь нельзя, — отрезал Дим Димыч, открывая дверцу.

— Я пешком пойду.

— Пешком? — удивился Дим Димыч. — А кататься не хочешь?

— Нет.

— Ну, братец, я вижу, ты зажрался, извини меня. В Москву, называется, приехал. — Он смотрел на меня с сожалением.

Я не знал, как ему объяснить, что не могу я больше ездить по этим Староконюшенным и Сивцевым Вражкам, что хочется мне туда, где большое движение, где шум, где полно народу. А тишины и спокойствия и у нас в Уярске сколько угодно.

— Ладно, — сказал Дим Димыч, — дело хозяйское. Пешком так пешком. Дойдешь вначале до Гоголевского бульвара, а там спросишь. Не потеряйся смотри! Адрес наш помнишь?

— Помню.

— Ну пока. Корнеев, поставьте машину на ручной тормоз. — И он пошел в булочную.

А я зашагал по улице. По Москве!..

До чего же легко идти! Может, это оттого, что я сиделся в машине? А может, оттого, что иду один?

Захотел — остановился, захотел — прибавил шагу, захотел — пустился бегом. И никто мне не скажет: «Не беги — целее будешь».

Хорошо, когда без взрослых! Без них я сам взрослый.

ОДИН — И НЕ ОДИН

Никогда бы не подумал, что Красная площадь окажется такой знакомой. Словно я уже сто раз ходил по ее серому камню. Словно видел все-все сто раз: и Мавзолей с серебристыми елями, и зубчатую стену, и башни. И даже голубей на площади.

За голубями неуклюже бегал какой-то карапуз, но они не разлетались, а лишь уходили от него, торопливо перебирая красными лапками. Отец карапуза щелкал фотоаппаратом и давал ЦУ (на языке Глеба это озна-

чает «ценные указания»): «Боря, не упади», «Боря, не споткнись», «Боря, смотри под ноги».

Здесь было вообще много людей с фотоаппаратами. Куда ни посмотри, везде фотографировали — там, и тут, и... Вот так встреча! Я чуть не вскрикнул. Впереди, шагов за сорок, я увидел Витальку. Опустившись на одно колено, как заправский фотограф, он подносил к глазу аппарат, а потом делал движения рукой, словно просил кого-то отойти вправо.

Я повернул голову туда, куда смотрел Виталька. Так и есть! Там стояла Таня. Она была в том самом белом платье с крупными черными горошинами, которое надевала в день рождения.

Виталька, наверное, хотел, чтобы в кадр вошла лишь одна Таня, но рядом с нею все время то кто-нибудь останавливался, то проходил — одним словом, мешали.

«Сейчас устрою фокус-покус», — подумал я и стал потихоньку подбираться к Тане. Кругом было много народу, поэтому я легко мог оставаться незамеченным. Я хотел подойти к Тане поближе, но так, чтобы она не видела меня до последнего момента, и повернуться к ней спиной. Тогда вышло бы, что она сама наткнулась на меня. «Ой, — скажет она, — Эдька! А ты как сюда попал?» — «Очень просто, — скажу, — как и вы! На одиннадцатом номере». А Витальке ничего не останется, как сфотографировать нас с Таней.

И вот Таня совсем близко. Один раз мне показалось, что она взглянула в мою сторону и увидела меня. Я быстро отвернулся, но, когда вновь посмотрел на Таню, понял, что опасения мои были напрасными. Таня по-прежнему смотрела туда, где стоял Виталька.

Осторожно, бочком, бочком, я приближался к Тане. Остановившись от нее шагах в трех, я задрал голову и принялся рассматривать башенный шпиль. Я думал, что Танин голос, радостный и удивленный, раздастся сразу же, вот-вот. Я уже почти слышал его. Но прошла, наверное, минута, может, и больше, а Таня все молчала.

Чтобы легче было ждать, я решил сосчитать до десяти. «Уж за это время, — подумал я, — она обязательно окликнет». Я считал медленно, очень медленно, а сам все прислушивался и прислушивался. Весь я превратился в какой-то слуховой аппарат, и если б мне в это время вдруг кто-то заткнул уши, я все равно бы услышал Таню. Услышал бы затылком! Услышал спиной!

Таня молчала.

Я покашлял. В этом была слабая надежда привлечь ее внимание.

Но она молчала.

— Папа, папа! Возьми меня на ручки, — пискляво закричал сзади какой-то ребенок.

Больше я ждать не мог. Я обернулся.

Тани нигде не было. Я посмотрел на то место, где торчал Виталька. Его не было тоже.

Неужели они меня не увидели? Да нет же, такого не может быть!

Я метался среди людей, останавливался, глядел по сторонам. Бесполезно. Таня и Виталька как сквозь землю провалились.

«Спрятались, — догадался я, и мне стало легче. — Ну конечно, спрятались за кем-нибудь. Постоят немножко, надоест, и сами подойдут».

Но все же я стал посматривать на кучки людей: не выглянет ли оттуда голова Тани или Витальки?

И вдруг я увидел их. Они были далеко, так далеко, что на Танином платье уже не различались черные горошины. Далеко — это полбеды. А главное — Таня и Виталька бежали.

Бежали...

«Догнаты!» — была первая мысль. И я сделал было рывок, но тут же остановился. Ведь бежали-то они от меня! Ясное дело, от меня. А иначе для чего же им так нестись без оглядки? Я бы смог их догнать. Только за чем? Не хотят — не надо. Обойдусь и без них.

«Значит, Таня нарочно сказала, что будет сегодня занята? А Виталька, значит, обо всем знал. Может, он и подговорил Таню так сделать?..»

Я тряхнул головой, чтобы прочь отлетели невеселые мысли, и зашагал дальше по площади к Спасской башне, куда шел весь народ.

Потом я долго ходил по Кремлю.

Возле царь-пушки тоже было много фотолюбителей. Они «обстреливали» терпеливую, добродушную пушку со всех сторон. Она была огромная и очень красивая. Трудно было даже представить, что она может выпалить. Огонь, дым и грохот не вязались с ее узорами и завитками. И оскаленная львиная морда под стволом тоже не казалась страшной.

Но ядра!.. Понять, как эти громадные, тяжеленные ядра можно оторвать от земли и забить в ствол, — не-

мыслимое дело. А при выстреле такое ядро, наверное, и не выкатилось бы. Скорее сама пушка разорвется.

Сверху ядра поблескивали. Видимо, на них, чтобы сфотографироваться, становилось и усаживалось великое множество людей. Меня тоже потянуло стать на царь-пушечное ядро, но тут как раз появилась женщина-экскурсовод. Я не стал ждать, пока она кончит рассказывать, и ушел.

Царь-колокол не очень меня заинтересовал, но тоже поразил своими размерами. Я представил, как бы звучала эта громадина, если б в нее ударили! Наверное, колокол так бы ухнул, что по всей Москве слышно было бы.

Я слегка похлопал его по крутому боку, но какая-то тетя мне строго сказала:

— Мальчик, зачем трогаешь?

— Ничего не будет. Он не расколется, — пошутил я. Строгая тетя моей шутки не приняла.

— Это же памятник литейного искусства! — сказала она.

— Ну и что?

— А ты трогаешь.

— Ну и что? — повторил я.

— Заладил одно и то же! — рассердилась она. — Портишь старинную вещь — вот что!

Продолжать этот разговор мне не хотелось, и я отошел.

А потом я бродил по соборам и рассматривал царские гробницы, росписи на стенах и иконы, с которых внимательно глядели на каждого большие печальные глаза. Я подумал, что, конечно, не очень-то весело целыми столетиями висеть здесь, за толстыми стенами, где даже в жаркий, солнечный день зябко и сумеречно. Лишь сверху из небольших, узких оконцев почти отвесно падал свет, отражаясь на алтарной позолоте.

В соборах было малоллюдно и тихо. Под их сводами все казалось значительным и вечным. Даже шаги мои звучали как-то торжественно. Я с удовольствием к ним прислушивался. Да, в них было достоинство, а может, и величие. Неужели это мои шаги? Кто знает, не так ли много веков назад звучали шаги первых московских царей?

Эти шаги я слышал и потом, когда ходил по соборной площади — небольшой, выложенной каменными плитами. Кто-то оттуда, из средних веков, продолжал

вышагивать в ногу со мною. Пропал он лишь тогда, когда я ступил на тротуар и пошел по асфальту.

Я очутился в оживленном людском потоке. Вокруг меня переговаривались, ели конфеты, смеялись, фотографировали друг друга. И только рядом со мной никого не было. Мне сделалось одиноко и тоскливо. Обида на Таню и Витальку, которая все это время где-то жила во мне, зацепившись коготками за какую-то струнку, вдруг заворочалась, заскрипела и снова переполнила меня.

«Значит, вы хотели погулять сегодня без меня? Подумали, что я вам помешаю?..»

А может, они просто решили, что меня не отпустит тетка? Нет-нет, тогда бы они не сбежали.

Шел я уже без всякой цели. Людской поток куда-то двигался и нес меня.

Так я оказался в Александровском саду. Вначале я шел по аллее. Потом остановился посмотреть, как маленькая девочка выпустила на подстриженную траву черепаху. Черепаха была чуть побольше моего кулака. Она беспомощно тыкалась в травинки и неловко передвигала лапами-коротышками.

— Ешь, Чита, ешь, — сказала девочка.

Что она, смеется, что ли? Такую неуклюжесть называть Читой!

Но черепаха не ела. Она продолжала тыкаться своей змеиной головкой, словно слепая.

— Ей бы молока, — сказал я.

Девочка строго взглянула на меня.

— Нет, ей нужна трава, — проговорила она, — в ней витамины.

А мне все почему-то казалось, что черепаха обрадовалась бы молоку. И я сказал:

— Купили бы витаминов в аптеке и насыпали бы в молоко.

— Нет, — уверенно сказала девочка, — ей нужна трава. Ешь, Чита, ешь.

Я не стал спорить и пошел дальше.

Безрадостное существо черепаха, думал я, и зачем их только заводят? Спит лишь себе в ящике да переваривает месяцами пищу. Нет, я бы завел собаку, если бы мама разрешила. Только не такого недоростка тойтерьерчика, что бежал, семена тоненькими лапками, мне навстречу, а большую, сильную и смелую — одним словом, настоящую собаку.

На скамейке сидело несколько парней и девушек. Они громко твердили какие-то иностранные слова, заглядывая иногда в книгу, и смеялись. Слова были звучные, похожие одно на другое, и оканчивались чаще всего на «ус» и на «ум».

— Латынь? — удивленно проговорил, остановившись возле этой компании, старик в выгоревшей соломенной шляпе. — Ну да, — ответил он сам себе, — учите второе склонение.

— А вы знаете? — воскликнула одна из студенток.

— Когда-то учил.

— Ой, помогли бы нам, — попросила другая.

— Самое главное, перевести две страницы, — сказал парень, который держал книгу. — Не лишайте себя такого удовольствия.

— Я, милые мои, уже все забыл. — Старик виновато улыбнулся. — И вам очень нужна латынь?

— Очень! — закричали все хором.

— Для чего же, позвольте спросить?

— Чтобы зачет поставили.

— Ну, не буду вам мешать. — Старик приподнял шляпу. — Желаю успеха.

Я тоже зашагал, только в другую сторону.

И опять стало тоскливо. Опять я один. Пока я стоял возле студентов, мне передавалась их веселость, и я был рад, что повстречался с ними. Но ушел старик в соломенной шляпе, и они снова взялись за свою латынь. А что оставалось делать мне? Не стоять же столбом. Вот я и зашагал.

Позади зазвучала музыка, потом раздалось посвистывание, и, наконец, треск, словно в фанерный ящик сыпали горох или орехи. Я оглянулся. Невысокий полный мужчина в оранжевой тенниске настраивал транзистор. «Помидор», — подумал я про толстяка. А он, поймав какую-то станцию, успокоился. Теперь я двигался под звуки оркестра. Совсем здорово! «Была бы рядом Таня, — мелькнуло у меня в голове, — и мы бы шли с ней по этой праздничной аллее...» Почему праздничной? Ну, наверное, потому, что музыка и много людей. Я люблю, когда музыка и много людей.

И в это время из транзистора донеслось:

Сердце красавицы
Склонно к измене
И к перемене....

Сладкий, мягкий голос еще долго что-то там выводил, а у меня настроение испортилось. И зачем «помидор» включил свой транзистор?

Я шел, шел и вдруг почувствовал, что очень устал.

Скамеек кругом было много. Вытянувшись вдоль аллеи в длинный ряд, они напоминали гигантскую тысяченожку.

Мне уже не хотелось шума и чужих разговоров, и поэтому я направился к той скамейке, где сидел всего один человек — девушка с книгой. «Наверное, тоже сдает зачеты, — подумал я, усевшись, и отвернулся. — Только бы не зубрила вслух».

Но девушка сидела смирно. Я покосился на нее краешком глаза — нет, она не зубрила. Она даже не смотрела в книгу. В раскрытую книгу, которая лежала у нее на коленях. Взгляд ее скользил поверх страниц и упирался куда-то в землю, шагах в трех от скамейки.

Что она разглядывала, понять я не мог. Ничего интересного там не было. Пустое место. Разве лишь какой-нибудь муравей полз. Но вряд ли стала бы она так смотреть на него.

Я вспомнил, как однажды муравьи завелись у нас на кухне. Они торопливо ползали один за другим как бы по узенькой дорожке. Появляясь откуда-то на подоконнике, они пробегали короткое расстояние по стене и ныряли в щель за буфетом. Я несколько раз смахивал их, но они показывались вновь и направлялись точно тем же путем. Тогда я решил проследить, куда же они так стремятся. Я принялся выгружать из буфета посуду, всякие банки, скалки и кастрюльки. Одно блюдо, помню, разбил. Когда же буфет был пуст и я смог отодвинуть его, то обнаружил между ним и стенкой леденцовую конфету.

Почему только это я вспомнил? А наверное, потому, что посмотрел на главную аллею. Среди больших безлюдных газонов она казалась узенькой, и народ по ней шел, шел и шел. Точь-в-точь как те мои муравьи.

С главной аллеи слышались шум шагов и говор. Если б я был не один, если б я был с Таней, как хорошо было бы двигаться там, о чем-то болтать и смотреть, как она улыбается! Только сейчас она улыбалась не мне, а Витальке. Как же это все случилось? Как-то постепенно, незаметно.

«Сердце красавицы...» — вспомнился сладкий голос.

Может, нужно было говорить с Таней о чем-то та-

ком? Всякие там слова?.. А я даже тогда на стене написал лишь: «Таня+Эдик=». И все. Больше не смог. А Виталька, наверное, говорил ей эти слова. Ему ничего не стоит. Раз, два — и готово. Ну а зачем она и мне продолжает улыбаться? И ему и мне. Как будто ничего не произошло. Как будто все хорошо. И в поезде, пока ехали, все крутилась вокруг меня: «Эдик, Эдик...» А сама!..

«Сердце красавицы...»

Нет, лучше о чем-нибудь другом думать.

Я взглянул на свою соседку по скамейке. Она сидела все в том же положении. И книга была раскрыта на той же странице. Я запомнил: в левом углу была картинка. А смотрела девушка все так же мимо книги. Я пригляделся. Нет, теперь она сидела с закрытыми глазами. Ну и ну! Значит, каждый зубрит по-своему. А может, она заснула?

Я где-то читал, что во время сна можно изучать язык.

У девушки вздрогнули плечи. «Проснулась, — решил я, — а теперь начнет повторять вслух». Но она продолжала сидеть все так же неподвижно, с закрытыми глазами.

И вдруг я увидел, как по щеке ее поползла слеза. Она обогнула уголок рта и повисла на подбородке.

Мне стало очень жалко эту девушку. Она плакала беззвучно, не вытирая слез, будто кругом никого не было, будто она сидела одна в своей комнате. Только щека у нее иногда чуть заметно дергалась.

«Не сдала экзамены, — догадался я, — провалилась».

Я не могу понять, как это произошло, но я подвинулся к ней и сказал:

— Вы не плачьте... ну бывает ведь...

Как-то так по-дурацки сказал и сам испугался.

И тогда она подняла голову и посмотрела на меня. Глаза у нее были темные-темные и мутные от слез.

— Что — бывает? — спросила она, словно ничего не поняла.

— Ну это... — сказал я, — двойка... на экзамене.

— На каком экзамене?

— На вашем.

— На моем?

Она рассматривала меня недоуменно. И вдруг улыбнулась. Потому что все поняла. Правда, улыбка была

короткой и слабой. Глаза ее снова стали печальными, темными. Она сказала:

— Он меня не любит. Понимаешь?.. Не любит.

Произнесла она это просто и спокойно, как будто мы были с нею добрые знакомые, как будто давно уже вели беседу обо всем этом.

Никто со мной раньше так не разговаривал. Я даже представить себе не мог, что можно сказать это постороннему человеку.

Мне почему-то захотелось, чтобы у нее было все хорошо.

— А может, любит... — проговорил я.

— Не любит. — Девушка опять смотрела куда-то вниз. — Он мне сам сказал.

И снова мне показалось, что я давно ее знаю, и не просто знаю, а что мы друзья, настоящие друзья, большие.

— Меня тоже не любит, — бухнул я неожиданно.

Вот ведь как бывает. То я удивлялся, что она так со мной откровенна, и вдруг то же самое сказал постороннему человеку... Но, может, постороннему-то и легче. Я бы ни за что не открылся маме, или отцу, или моим знакомым.

Девушка молча взглянула на меня, и не ответила, словно еще ждала чего-то.

— Она мне не говорила, — добавил я, — только я сам знаю.

Больше ничего не хотелось рассказывать о Тане. Но девушка и не спрашивала. А мне сделалось легче, и я даже попробовал пошутить.

— Да, знаю, — повторил я, — только реветь в три ручья из-за этого не буду.

— Тебе сколько лет? — спросила она.

— Четырнадцать, — решил я прибавить полгода.

— А мне двадцать один. Через семь лет ты бы не так сказал.

— Ну да! Не так... То же самое и сказал бы, — заупрямился я.

Девушка опять слабо улыбнулась.

— Много ты понимаешь, — произнесла она.

— Не меньше вашего! — разозлился я.

Только что говорил с ней на равных, поделился как с человеком, а она... Словно вдруг увидела во мне малолетку.

Я уже думал подняться и уйти, но, взглянув на нее

случайно, увидел, что она переменялась. Улыбалась она теперь не слабо, а вовсю, и глаза смотрели весело, тоже смеялись.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Вам-то что?..

Она опять не обиделась. Сказала:

— Говори мне «ты». Не люблю неравноправия. —

И снова спросила: — Так как же тебя зовут?

— Эдик... А вас?

— А «тебя», — поправила она.

— А тебя? — Я вдруг почувствовал, что от моей злости ничего не осталось.

— Нина. — Она протянула мне руку.

— Очень приятно, — сказал я и смутился.

Где-то я видел, может, даже в фильме, как эти слова говорили девушке при знакомстве. Наверное, в них не было ничего особенного, но я произносил их первый раз, и мне было как-то неловко. Может, опять я в чем-то веду себя не так? Не подумает ли она снова, что я еще мал, чтобы со мной можно было разговаривать, как со взрослым?

И тут Нина спросила меня ни с того ни с сего:

— Эдик, а ты не москвич?

«Так и есть, — испугался я, и щеки мои запылали. — Веду себя как малолетний шкет! А что я не москвич, должно быть, у меня на лбу написано».

Нина, конечно, заметила, как я залился краской, и поспешила пояснить:

— Я вижу, ты купил московские открытки, вот и спросила. Потому что я сама такая. Как куда приеду, запасюсь всякими открытками и путеводителями.

— А-а-а... — У меня гора с плеч свалилась. Я повертел в руках набор открыток и зачем-то сказал: — Это я в Кремле купил.

Совершенно непонятно, для чего я так сказал.

Она хотела узнать, из какого я города, а я ей про открытки.

— Где ж ты еще побывал? — спросила Нина.

— Нигде. Я только утром приехал. — И добавил: — Из Уярска.

— Это с самого утра ты ходишь по Москве?

— Да нет... — проговорил я и умолк: не хотелось рассказывать о Дим Димыче и его учебной машине. — Не с самого.

— Наверное, голодный, как Бармалей?

Я улыбнулся, потому что привык считать Бармалея не столько голодным, сколько кровожадным. Но поразмышлять о Бармалее я не смог. Другие мысли завертелись вдруг в моей голове: чего бы проглотить на самом-то деле?

И опять Нина сразу же обо всем догадалась.

— Идем, — сказала она.

— Куда?

— Поедим. Заодно на Москву с высоты посмотришь.

— С какой высоты?

— С пятнадцатипятиэтажной. Ну, пошли?

Кабина этого лифта была очень большой. Вместе со мной и Ниной сюда вошло еще человек пятнадцать. Лифтерша сидела на удобном вертящемся стуле у щитка с кнопками. Возле нее был телефон, а над нашими головами беззвучно работал вентилятор.

— Все в кафе? — спросила лифтерша и, чуть выждав, нажала кнопку.

Все было необычайным: и мое знакомство с Ниной, и лифт, уносящий нас на пятнадцатый этаж, и то, что мы сейчас будем обедать в кафе. Мне приходилось бывать в кафе с мамой и папой. Но вот так...

— «Огни Москвы», — сказала лифтерша, и, словно услышав это, лифт остановился, и двери его раскрылись.

Кафе «Огни Москвы» занимало длинную открытую веранду и зал. Мы сели за столик на веранде, но сидеть спокойно я не мог, то и дело вскакивал и заглядывал за перила.

А там, внизу подо мною, лежал город. Слева горели золотые луковки кремлевских соборов. Они прежде всего бросались в глаза. Потом уже я стал рассматривать и башни со звездами на шпилях, и зубчатые стены, и Александровский сад, по которому только что шел с Ниной. За садом виднелась река. Ее голубая лента то пряталась среди домов, то появлялась вновь. А за рекой опять дома, дома, дома... Они пропадали в дымке. Лишь один дом, высокий и островерхий, возвышался над горизонтом.

Нина тем временем изучала меню.

— Эдик, — позвала она.

Я обернулся. Она положила меню на мой край стола и сказала:

— Выбирай скорее, уже подходила официантка.

Меню — оно было в толстой синей папке — я взял с опасением. Я думал, что все здесь стоит очень дорого, «безумно дорого», как сказала бы мама. А ведь деньги мне дали не на кафе. Уж лучше бы мы пообедали в столовой. Правда, она находится обычно на первом этаже, а не на пятнадцатом. «Ладно, — успокоил я себя, — за один раз не пропаду. Можно завтра обойтись без обеда, в случае чего».

Но страхи мои были напрасными. Цены оказались не такими «безумными», как я предполагал. Думаю, что мама все же назвала бы их «терпимыми». Я смело выбрал «борщ по-московски», «эскалоп со сборн. гарн.» и «компот из свеж. яблок». Что такое «эскалоп», я не знал (просто мне понравилось слово), да и «сборн. гарн.» выглядело таинственно. Мало ли что может войти в «сборн. гарн.»!

Теперь же, когда мы знали, что будем заказывать, официантка долго не появлялась. Несколько раз к нашему столику направлялись женщины с белыми наколками на голове, и я думал: «Наконец-то!», только они проходили мимо. Но вот официантка все же подошла и к нам:

— Ну, выбрали или нет?

— Выбрали, — сказала Нина и стала называть блюда.

Официантка что-то помечала в блокнотике, который вынула из кармана, пузырем прилепившегося к ее фартуку. Огрызок карандаша так и плясал по блокнотику.

Лицо у нее было утомленное, недовольное. Пудра густым слоем лежала на щеках и носу. В общем, ничего приятного в этом лице не было.

— А братец что будет? — Официантка повернула голову в мою сторону.

— Борщ московский, — бодро проговорил я.

— Так. — Карандаш ее вновь пустился в пляс.

— Компот из свежих яблок, — сказал я, но уже не с той бодростью, так как забыл, что же я выбрал на второе.

Карандаш сплясал что-то коротенькое и замер.

А я все никак не мог вспомнить блюдо с понравившимся мне словом. Помнил, что есть там сборный гарнир. Но вот это самое слово, красивое такое слово... проклятое слово...

— Второго заказывать не будем? — нетерпеливо спросила официантка.

— Будем, — сказал я неуверенно.

— Что?

— Это... это самое... — Я схватил меню.

Перед глазами запрыгали закуски, названия вин, мороженого, сигарет.

— Сейчас, сейчас... — приговаривал я. — Сейчас...

— Ну, знаешь, мне некогда тут стоять! — Лицо ее сделалось еще недовольнее, а пудра еще заметнее. («Штукатурка сыплется», — сострил бы Виталька.) Официантка сказала: — Раньше надо было думать, — сунула блокнотик в карман и решительно шагнула прочь.

И в этот миг глаза мои поймали проклятое слово.

— Подождите! — закричал я вслед официантке.

Она обернулась:

— Надумал?

— Да! — обрадовался я. — Эскалоп.

Она опять подошла к столу, достала блокнотик, принялась писать.

Когда она вынимала блокнотик, из кармана у нее вылетела красная десятка и упала прямо к моей ноге.

— Эскалоп, — произнесла официантка. — Что еще?

— Ничего, — сказал я, поднял десятку и протянул ей: — Возьмите.

— Потом, — отмахнулась она, — потом. — И пошла.

«Ну хорошо, — подумал я, глядя, как удаляется официантка. — Раз она такая...» Но мысль эта жила во мне лишь несколько секунд.

Я вскочил с места, догнал официантку у самой двери и снова стал совать ей деньги. От бега по длинной веранде я вначале не мог произнести ни слова.

Официантка рассердилась:

— Я же сказала, потом! Какой непонятливый! Сиди и жди, а бегать на стадионе будешь. — Она повернулась ко мне спиной.

— Возьмите, — сказал я зло, — это ваши. Вы уронили их.

Вот когда пудра с нее действительно посыпалась. А может, просто покраснело лицо.

— Ой, — сказала она, взяв десятку, — что же ты...

— Ничего. — Я отправился к своему столику.

Но теперь она меня догнала:

— Слушай, ты извини меня, дуру ненормальную. Вот спасибо! — Она взяла меня за плечо и заглядывала в глаза, растерянно улыбаясь. — Замоталась я совсем, понимаешь! Первый день после болезни. Еле ноги держат...

Я пробормотал: «Пожалуйста», — и пошел на свое место.

Через несколько минут на нашем столе появились ножи, ложки, вилки, тарелки.

— Ну и братец у тебя, — говорила официантка Нина, — толковый братец, первый сорт. «Нате, говорит, десяточку, ваша законная десяточка, вы, говорит, ее обронили».

Потом она принесла хлеб и опять посыпалось: «толковый братец», «первый сорт братец» и, значит, объяснения, почему я такой толковый.

Я прикусывал губу, чтобы не прыснуть со смеху. Нина тоже улыбалась.

Как мы управились с первым, я и не заметил. И что особенного в «московском борще», тоже не заметил. Помоему, его вполне можно было бы назвать и «уярским».

Только съели первое, наша официантка несет второе. Все на наш стол поглядывают: что, мол, за чудеса такие!

Официантка подошла и спрашивает:

— Ну как, вкусно?

— Очень, — ответили мы.

— Кушайте на здоровье.

Эскалоп оказался поджаренным куском мяса. «Сборн. гарн.» тоже ничего особенного. Немного картошки, немного капусты, несколько зеленых горошин и долька помидора. Да, еще по краям лежали листики петрушки. Вообще-то красиво, только я не коза, чтобы жевать эти листики. Мне бы побольше картошки жареной положили. А мясо было жестким и разрезать его тупым ножом, который достался мне, не было никакой возможности. Я мог бы, конечно, запихнуть в рот весь кусок и прожевать покойненько. Но в кафе я проделывать это не решался, тем более при взрослой девушке. Да и мясо-то было недосоленное.

— Знаешь, — сказал я Нине, — невкусное мясо братцу попало.

— Сестрице тоже.

Мы рассмеялись.

— А может, нам обменяют? — проговорил я.

— Не пользуйся своим влиянием в корыстных целях.

— Влиянием... — проворчал я.

— А как же! Ты и так словно почетный гость. Уж будь скромным.

Если б такие слова сказали мне родители, я бы все это пропустил мимо ушей, потому что всякими поучениями был сыт по горло. А тут я почему-то слушал — и ничего, не кривился, не смотрел в сторону и даже думал, что, может быть, Нина и права.

Я с новой энергией взялся за нож. На кусок мяса я давил с такой силой, что тарелка вот-вот должна была развалиться на части, но мясо не поддавалось. Оно пружинило, как ластик, трещало и хрустело — короче говоря, оно издевалось. Куском поджаренного мяса я его уже не мог назвать. Таким мясо не бывает. Уж пусть называется эскалопом.

Когда я измучился вконец, этот дьявольский эскалоп прыгнул вдруг из-под ножа на скатерть.

Я замер. Уж сейчас Нина сделает мне такой втык, что со стыда провалишься сквозь все пятнадцать этажей. Но она ничего не заметила. Она солила в это время кусочек помидора. К моему счастью, солила его не спеша и очень тщательно.

Тогда я сообразил, что нечего обалдело смотреть на эскалоп, назад он сам не прыгнет. С молниеносной быстротой я подхватил его и плюхнул к себе в тарелку.

А Нина все солила свою помидорину.

Официантка принесла нам компот, и Нина сказала, что ей «с братцем» все очень понравилось.

— Толковый братец, — опять заметила официантка и, приветливо взглянув на меня, спросила: — Тебя как зовут-то, сынок?

Я сказал.

— А сестричку?

Почему она об этом не у Нины спрашивает? Вот чудная! Но я, конечно, ответил.

— А меня зовут Настей... — И она куда-то ушла.

Настя!.. Я представил, как мою маму у нас во дворе кто-нибудь назвал бы Светой вместо Светланы Петровны. Тот же Виталька встретил ее вдруг, когда она шла с работы, и сказал бы: «Здравствуйте, Света». У мамы, наверное, из рук сумка бы вывалилась. А у самого подъезда он догнал бы ее и попросил: «Да, Света, совсем

забыл. Как придете домой, скажите Эдке, чтобы во двор выходил гулять».

Наверное, я улыбался своим мыслям, потому что Нина спросила меня:

— Ты что, братец?

— Да так, ничего, — ответил я, с трудом сдерживая смех.

Официантка вернулась с двумя вазочками мороженого.

— Вот, кушайте, мои хорошие, — сказала она. — Это вам от меня. От всей души.

— Спасибо. Мы уже вот как наелись! — Я провел рукой по горлу и посмотрел многозначительно на Нину.

— Спасибо. Ну зачем вы это придумали? — проговорила Нина.

Официантка стала серьезной.

— Вы меня обижаете, — сказала она.

— И вы нас тоже, — быстро ответил я и, довольный своим ответом, опять посмотрел на Нину.

— Эдик, — сказала официантка, — зачем же так?

Нина, видимо, поняла, что я могу чего-нибудь ляпнуть, и поспешила вмешаться.

— Настя, мы попробуем ваше мороженое. — Она подвинула вазочку к себе поближе. — Спасибо. Только нам неудобно.

— Пустяки, — перебила Настя, — для таких клиентов... Кушайте... Очень даже вам рада.

Мы не спеша ели с Ниной мороженое, смотрели на город со своего пятнадцатого этажа, и Нина рассказывала мне понемножку обо всем, что мы видели.

Теперь я знал, что приземистый дом под зеленой крышей, который стоит на самой площади, — бывший Манеж, а сейчас в нем устраивают выставки. А справа высоченная коробка в двадцать три этажа — это новая гостиница «Националь», а на самом углу — старая гостиница. Немного левее университет. Там Нина учится. На историческом факультете.

Я так и знал, что она студентка. Был бы я хоть в девятом классе, пожалуй, наврал бы ей, что я тоже студент. Нет, она бы сразу вывела меня на чистую воду. Про студентов я знаю только, что у них сессии, стипендии и КВН. Больше ничего не знаю.

И как это она пошла со мной в кафе? Я стал об этом думать, но тут мы принялись расплачиваться.

Когда Настя давала нам сдачу, какой-то замусолен-

ный рубль прилип у нее к остальным деньгам. Настя никак не могла его подцепить.

— Упрямый, — сказала она про него. — Надо же! — Так и не отделив этот рубль, она дала нам другой, отсчитала мелочь.

— Вы приходите еще, — сказала Настя. — А много народу будет, скажите, чтоб меня позвали. Я все мигом устрою.

Странная вещь! Я смотрел на официантку, и все-все в ней казалось мне другим. Хотя ничто не изменилось: то же самое лицо, обсыпанное пудрой, та же наколка на голове, чуть сдвинутая набок, тот же некрасиво оттопыривающийся карман на фартуке. Но теперь все это не выглядело неприятным. Перед нами была усталая женщина, которой некогда даже подойти к зеркалу и которой нужно все время торопиться, так как ее ждут и за тем столиком, и за тем, и за тем.

Большущий лифт спустил нас на первый этаж. И опять мы с Ниной оказались на шумной улице. Мелькали перед глазами прохожие, обрывки разговоров лезли в уши.

Мне было хорошо. Шум и суета только радовали. Хотелось, чтобы кругом все двигались еще быстрее, разговаривали и смеялись еще громче. А главное — было очень хорошо оттого, что я шагал не один.

И ведь несколько часов назад, когда я выбрался из машины Дим Димыча, я тоже готов был прыгать от радости, что иду по Москве один. И мне казалось: как это здорово, что рядом никого нет.

Один — и не один... Когда же лучше?

Мы дошли с Ниной до угла, и она спросила, на какую улицу мне нужно добираться. Я почему-то подумал, что она не знает моего Кривоколенного. Но она сказала:

— Идем, посажу тебя на третий автобус. Доедешь до Армянского, а там чуть пройдешь, и будет Кривоколенный.

«Посажу!» — резануло меня. Что я, дошкольник, что ли?

Я начал говорить, что и сам найду, но она взяла меня под руку и повела к остановке. Пришлось идти. Ведь не вырываться же, чтоб все обращали внимание.

— А я сейчас засяду за книги, — ни с того ни с сего проговорила Нина. — Буду грызть гранит науки. У ме-

ня действительно экзамены. Так что ты тогда почти угадал.

— Когда угадал? — не понял я.

— Тогда на скамейке... в Александровском саду... — Она помолчала, а потом вырвала из записной книжки листок, что-то написала на нем, протянула мне: — Вот, позвони, если захочешь. И спасибо тебе за все.

— За что? — вырвалось у меня, и я тут же понял, как напрасно об этом спросил, как неосторожно напомнил...

Но она улыбнулась и сказала:

— За все спасибо. За то, что ты такой... чудик.

— Чудик?

— Ну да. И я тоже. Бежим: подходит твой автобус. Она потянула меня за руку, и мы побежали.

До остановки было недалеко, но народу там почти не было, поэтому автобус постоял несколько секунд и нехотя тронулся. Я вскочил в открытую дверь, сразу же сел к окну.

— До свиданья, — сказала Нина и помахала рукой.

— До свиданья.

Автобус пошел быстрее.

— Ругай меня! — крикнула Нина.

— Зачем?

— Экзамены...

Я спохватился и закричал:

— Ни пуха ни пера!

— К черту! — донеслось уже издалика.

— И тебе спасибо! — крикнул я, только не знаю, услышала ли Нина, и тихо проговорил: — Тоже за все.

Ни тетя Гекта, ни Дим Димыч с работы еще не вернулись. Я стоял перед закрытой дверью и размышлял: отпирать или еще походить по городу, подождать, пока явятся хозяева?

Если бы не усталость, я, конечно, не решился бы отпирать чужую дверь. Но сейчас я внушал себе, что Дим Димыч-то не зря дал мне ключи. Так ведь и сказал: «Не будет никого дома — отпирай и сиди жди. Книжечку какую полистай. А еще лучше, сними ботинки, поспи на диване. Только телевизор не включай, а то испортишь».

Тогда я обиделся. Подумаешь, нужен мне его телевизор! Даже ключи брать не хотел.

А теперь думал, думал и — раз! — повернул ключ.

Интересных книг на полке не оказалось. Их вообще было мало — штук десять. И все про устройство автомобиля. Правда, имелась одна книжка и на другую тему. На обложке было написано: «О вкусной и здоровой пище». «Листать» эти книги мне не хотелось, поэтому я, вспомнив совет Дим Димыча, скинул ботинки и улегся на диване.

Приснился мне огромный лифт с телефоном и вентилятором. Он то поднимался, то опускался. Но на каком этаже нужно было мне выходить, я не знал. И вдруг лифт где-то застрял — и ни с места. Все испугались, кинулись к телефону. А он не работает. Тогда стали нажимать на кнопки — лифт все равно не двигался. «Хочу есть, — сказал вдруг какой-то мужчина в оранжевой тенниске, — прямо умираю от голода». И тут появилась Настя с блокнотиком. «Что желаете?» — спросила она у мужчины. «Мне бы эскалоп», — говорит он. А Настя посмотрела на меня, только не узнала, как на совсем постороннего посмотрела, и говорит: «Эскалопов больше нет. Последний съеден. Остался сборный гарнир». — «Кто же съел мой эскалоп?» — рассердился мужчина и тоже посмотрел на меня. «Эдик!.. Эдик! — раздалось вдруг из телефона. — Эдик!» Я понял, что нужно спасаться. Но как? Глаза мои пробежали по кнопкам и остановились на одной. Она была красного цвета. Никто на нее еще не нажимал. Я закрыл глаза и надавил на эту кнопку. Меня затрясло током и опять послышалось: «Эдик!.. Эдик!..»

Я дернул головой и открыл глаза. Надо мной стояла какая-то женщина. Она трясла меня и приговаривала: — Эдик!.. Эдик!..

«Тетя Гекта», — догадался я и вскочил с дивана.

— Какой большой! — изумилась тетя Гекта. — Ну, здравствуй! — И она чмокнула меня в обе щеки. — Голодный? Сейчас я разогрею котлеты.

— Спасибо, тетя Гекта, я недавно обедал.

— Где же?

— В кафе.

— Ишь ты, — сказала тетя Гекта. — Что ел?

— Эскалоп.

— Ишь ты, — повторила она и принялась расспрашивать про маму и папу и про то, как я учусь.

Я терпеливо отвечал на все вопросы и думал: скорей бы приходил Дим Димыч да включал свой телевизор. Хуже нет рассказывать про отметки, уроки и учителей.

Потом появился Дим Димыч. Он опять принес какие-то покупки — в двух руках у него были кульки, пакеты, банки.

— Обедал? — спросил он и, не дожидаясь ответа, объявил: — Сейчас котлеты будем есть. Знатные котлеты Гекта делает, с ложкой съешь.

С ложкой? Он ест их ложкой?

— Я обедал, — сказал я.

— В кафе, — многозначительно добавила тетя Гекта.

— Ну? — буркнул Дим Димыч. — С таких лет...

— Эскалоп кушал, — продолжала тетя Гекта.

Тогда Дим Димыч подошел ко мне и сказал:

— Дыхни.

— Что? — не разобрал я.

— Дыхни, говорю.

— Зачем? — Я не мог понять, в чем дело, но все же дыхнул.

Дим Димыч старательно потянул носом и изрек:

— Не пил. Хвалю.

Только теперь до меня дошло, зачем нужно было «дыхнуть».

— Ну, чего надулся как мышь на крупу? — Дим Димыч слегка хлопнул меня по плечу. — Проверка, она всюду нужна, в любом случае. Идем есть котлеты.

— Не хочу.

— Дело хозяйское.

Он сел и принялся уписывать «знатные» котлеты.

Ложкой.

И опять мне стало тоскливо, словно я был один. Только почему же один? Рядом тетя Гекта — гремит кастрюлями, рядом Дим Димыч — наворачивает за обе щеки. Слышно, как скулы трещат.

А все равно один.

ДЕВЯТАЯ КОЛОННА И АЛЕШКА-ПОНАРОШКУ

Утром позвонила Таня.

Звонок ее не был для меня неожиданностью. Еще в поезде мы договорились, что она позвонит мне. И сегодня, едва проснувшись, я уже думал об этом.

Я представлял наш телефонный разговор во всех подробностях. «Здравствуй, Эдик», — скажет она. «Кто это?» — спрошу я чужим голосом. «Это я, Таня». — «А-а-а... — скажу я. — Что тебе нужно?» — «Как — что нужно!» — удивится она. — Мы же хотели встретиться. Ты забыл?» — «Встретиться? Зачем?» — и повешу трубку. Тогда она перезвонит. «Нас разъединили», — скажет Таня. «Да, разъединили, — отвечу я, — вчера... на площади», — и снова повешу трубку. Тут уж, конечно, она все поймет и больше звонить не будет. А может, и еще раз попробует.

Тетя Гекта и Дим Димыч ушли на работу. Я остался один. «И мне, что ли, уйти? — подумал я. — Пусть звонит сколько хочет». Но не ушел, а бродил по комнате, не зная, чем заняться, и все прислушивался.

Телефон зазвонил, когда я рассматривал книгу «О вкусной и здоровой пище». Меня словно ударило током. Книга в руках задрожала, буквы запрыгали, лишь одно крупно написанное слово я мог прочитать: «Майонез».

А звонок прозвенел раз, второй, третий. Я стоял на месте и читал танцующее слово «майонез».

На четвертом звонке я не выдержал. Метнувшись, я сорвал трубку.

— Алло, — сказал я хрипло.

— Спишь, что ли? — оглушил меня мужской голос.

От растерянности я ничего не мог сказать, только прижимал к себе трубку, а перед глазами еще вертелся «майонез».

— Это я, Дим Димыч! Слышишь меня? — закричала трубка.

— Слышу, — выдавил я.

— Будешь уходить, не забудь выключить электроприборы. Понял?

От злости мне стало жарко.

— Понял?.. — не унимался Дим Димыч.

— Майонез, — сказал я и почувствовал себя легче.

— Ну и жаргончик! — Дим Димыч бросил трубку.

Я вернулся к столу, машинально взял в руки книгу и прочитал жирное слово «майонез».

От хохота я плюхнулся на диван и выбулькивал лишь одно:

— Майонез... майонез...

Насмеяться досыта я не успел, потому что опять раздался звонок.

«Сейчас скажет насчет газа и водопроводных кранов», — подумал я.

— Алло!

— Здравствуй, Эдька!

— Таня!

— Эдька, встречаемся через час у Большого театра. У первой левой колонны, если стоять лицом к театру. Как проехать, тебе каждый расскажет. Значит, в одиннадцать часов. Не опаздывай. — Таня тараторила без умолку, а потом сказала: — Ну ладно. Я из автомата, здесь очередь. Приходи вовремя. Понял, у какой колонны?

— У левой.

— У первой левой, если стоять лицом к театру. Ну пока.

В трубке слышались частые гудки.

Я отошел от телефона, а они еще стояли в ушах: ук-ук-ук-ук... Я был огорошен и подавлен. Так, наверное, чувствует себя борец, которого неожиданно бросили на обе лопатки.

Вот это, называется, поговорили. «В одиннадцать!.. У Большого...»

— Майонез! — промолвил я и с силой захлопнул «вкусную» книгу.

Получалось, что мне нужно идти на эту встречу. Ведь я не успел сказать, что не приду. А Танька и Виталька будут в одиннадцать у левой колонны. Будут ждать.

Дел у нас в Москве предполагалось немало. Мы хотели и по музеям походить, и в цирке побывать, и в Лужниках, и в Третьяковской галерее. Дядя Вася перед отъездом так и сказал: «В Третьяковку загляните. — И взглянув на меня, добавил: — Левитану мой поклон передай».

Как же теперь быть? Не появляться у Большого — значит, все пойдет кувырком.

Я подошел к телефону, вынул из кармана листок с номером Нины. Пожалуй, спрошу, как туда ехать.

Трубку сняла Нина.

— Приветик! — сказал я. — Как делишки?

Мне хотелось казаться бодрым и беззаботным, но Нина сухо спросила:

— Кто это?

- Эдик.
- А, братец, здравствуй! Я тебя не узнала. — Голос у нее повеселел.
- Как гранит?
- Грызу понемногу.
- Приятного аппетита.
- Она засмеялась:
- Спасибо. А твои как делишки?
- Как всегда: на пять с плюсом! — И я небрежно спросил: — Между прочим, ты не знаешь, как мне до Большого театра добраться?
- От Кривоколенного?
- Ага.
- Между прочим, знаю. Лучше всего пешочком, через пятнадцать минут будешь у Большого. — И она стала рассказывать, как мне идти. Потом спросила: — А у тебя что, билеты на дневной спектакль?
- Нет, деловая встреча, — проговорил я не спеша. — У первой колонны.
- Хорошо, что не у девятой. Ну, желаю успеха... в делах. Звони.
- Приветик, — сказал я.

Лишь у Большого театра я понял 'смысл «девятой» колонны. Я насчитал восемь колонн. Девятая — несуществующая. Встреча у девятой колонны — значит, липовая встреча. Всего-навсего обман.

Но Таня и Виталька ждали меня у первой левой колонны. Я увидел их еще издалека. Они тоже меня увидели и пошли навстречу.

Что им сказать? «Значит, вот вы какие!» — скажу. Нет! Лучше пока ничего не говорить. Интересно, что они сами скажут?

Таня сказала:

— Ну как, легко нас нашел?

— Легче легкого.

А Виталька посмотрел на часы и сказал:

— Задерживаетесь, сэр. Пять минут вас ждем.

— Твои часы врут. Положи их под трамвай.

Таня немного посмеялась, но я подумал, что она смеется неискренне, притворяется.

— Что будем делать? — сказал я, внимательно рассматривая колонну.

— Есть предложение, — проговорил Виталька. — Сесть в метро — и до Лужников.

— Метро рядом. — Таня показала куда-то рукой.

Но я не стал даже смотреть в ту сторону. Ясное дело: они уже обо всем договорились. А мне не хотелось идти у них на поводу, и я сказал:

— Чего туда ехать! Тучи вон собираются. Намокнем только.

Таня посмотрела на небо:

— Ой, верно.

Но Виталька проговорил:

— Ерунда. Не растаем.

— Нет, я мокнуть не хочу, — сказала Таня.

Виталька тоже взглянул на облака:

— Дождя не будет. Поехали. — Он мотнул головой.

— Институт прогнозов, — сказал я.

— Точно не будет, — упорствовал Виталька.

— А по радио обещали, — соврал я. — Кратковременные... местами.

— Вот видишь, — сказала Таня Витальке. — Не нужно в Лужники.

— А куда же? — спросил он.

— Поехали в Третьяковку, — предложил я.

— Успеем еще, — отозвался Виталька.

— Нужно подумать, — заметила Таня.

— Ладно, чего тут стоять на одном месте? — сказал я. — Идемте пока, по дороге решим.

Мы обогнули станцию метро и пошли по проспекту Маркса. Я уже знал, что громадное здание слева — гостиница «Москва», а впереди на площади будет бывший Манеж, а по правой стороне — университет.

Пока я раздумывал, как бы при удобном случае выложить Витальке и Тане все эти мои знания, мы подошли к углу улицы Горького. Виталька снял с плеча фотоаппарат и принялся щелкать.

— Хочешь, — сказал я ему, — вся площадь будет у тебя как на ладони?

— Хочу. Где твой ковер-самолет?

— Кроме смеха.

— Понимаю. — Виталька перекручивал кадр. — Ковер-самолет сейчас заправляется бензином, а через минуту опустится у наших ног.

— Не веришь — не надо. Мое дело предложить, твое — отказаться.

— А на чем бы мы поднялись? — поспешила вмешаться Таня.

— На лифте... Заодно мороженого поедим. Хочешь? Таня поняла, что я не шучу.

— Идем, — сказала она и посмотрела на Витальку. Он пожал плечами.

Я почувствовал, что взял верх, и скомандовал:

— Айда!

И опять, как вчера, огромный лифт потащил нас на пятнадцатый этаж. А когда я привел Таню и Витальку на веранду, с которой открывается вид на Москву, они ахнули в один голос. Да и я взглянул и тоже не мог оторваться, словно видел это впервые.

Таня все приговаривала: «Какая прелесть!», «Как чудесно!»

Виталька молчал и сосредоточенно щелкал своим аппаратом.

Меня охватило торжество: ведь это я привел их сюда, и теперь они довольны, что пришли, а привел я их, сломив, видимо, тот уговор, который был между ними. Я захотел окончательно подчинить их своей воле и сказал:

— Между прочим, здесь отличное мороженое.

— Ты откуда знаешь? — удивилась Таня.

— Знаю вот. Идемте.

— Все столики заняты, — проговорил Виталька, отрываясь от фотоаппарата.

— Подождем. — Я, конечно, понял, что Виталька сказал это так, с досады: ему хотелось бы первому сказать насчет мороженого, а он опоздал.

Теперь мы поглядывали не только за перила, но и на столики: не освободится ли какой-нибудь?

И тут у меня возникла еще одна удачная мысль. Я шагнул к первой проходившей мимо официантке и попросил ее позвать тетю Настю. (Назвать ее просто Настей я как-то не мог.)

— У тебя в Москве несколько тетушек? — спросила Таня.

— Ты говорил, что ее зовут Гекта? — присоединился к ней Виталька.

— Та родная, — сказал я, — то есть почти родная... в общем, родственница, — запутался я. — А это знакомая.

Тем временем откуда-то появилась Настя.

— Эдик!.. Здравствуй! Молодец, что пришел.

— Здравствуйте... — произнес я, а в голове вертелось: «Как же сказать?.. Настя? Или тетя Настя?» Так ничего и не придумав, я бухнул: — А я не один. Мы втроем пришли... съесть мороженого, а места все заняты.

— А сестричка где? — спросила Настя.

— К экзамену готовится. — Я покосился на Таню и Витальку.

— Идемте, — решительно сказала Настя и пошла по веранде быстрыми шагами.

Мы двинулись за ней.

Возле простенка стоял стол без стульев. Его голубая пластиковая поверхность тускло блестела.

— Беритесь, — кивнула нам Настя и сама взялась за край стола.

Мы с Виталькой приподняли стол с другого края, и через минуту он уже стоял у перил веранды, накрытый скатертью и украшенный вазочкой с цветами, как и все столы.

— Вот это тетя! — сказал Виталька.

Я не понял: то ли он сказал это обрадованно, то ли с насмешкой. Он умеет так говорить, что не поймешь.

— А про какую сестричку она спрашивала? — поинтересовалась Таня.

— Не про сестричку, про знакомую. Это она ее называет сестричкой.

— Загадочно, — сказал Виталька. — Тетя вовсе не тетя, сестричка тоже не сестричка.

Он засмеялся, повертел вазочку с цветами.

— А какие она экзамены сдает? — спросила Таня. — Она в каком классе?

Я видел, что наступление на меня повелось со всех сторон. Нужно было давать отпор. Самый решительный.

— Она на историческом факультете, — сказал я небрежно. — Вон видите — университет... — Я махнул рукой. — Она там учится.

Таня и Виталька удивленно посмотрели в ту сторону, куда я махнул.

— Не туда смотрите. Это гостиница — поддел я. — Университет левее. Вон желтое здание. И вот там, через улицу, — тоже университет.

Теперь атаки были отбиты. Виталька и Таня сидели, хлопали глазами. Им, конечно, очень хотелось спросить, откуда у меня такая знакомая, но они выжида-

ли, думали, что я сам скажу об этом. Как бы не так! Ждите!

Настя принесла нам мороженого, и мы тут же взялись за дело.

Мороженое, я это уже давно заметил, едят по-разному. Одни аккуратненько снимают ложкой с мягких, податливых шариков тонкий слой, другие едят по-человечески — быстро.

У меня всякой там церемонии с мороженым не получается. Еще, помню, в детстве папа мне сказал, что мороженое я не ем, а уничтожаю. «Не набрасывайся на него с такой яростью, — сказал он. — Ты что, ненавидишь его?» — «Нет, — сказал я, — навiju... даже очень». — «Уничтожитель», — проговорил папа. «Своего здоровья, — добавила мама. — Не ешь такими кусками!»

Но я всю жизнь продолжал поедать мороженое большими кусками. Вот и сейчас двумя взмахами ложки я уничтожил один шарик пломбира.

Уничтожил и вдруг случайно увидел, как не спеша и деликатно подносила Таня ко рту свою ложечку. Наверное, сидит и думает про меня: «Вот дикарь!» И рука моя, готовая отхватить половину следующего шарика, бессильно повисла вдруг в воздухе.

А еще мне представилась такая малоприятная картина: Таня и Виталька прохлаждаются мороженым, а я, значит, как троглодит пещерный: все сожрал уже и зыркаю по сторонам жадными глазами. Ничего себе положеньице! Нет уж, видно, придется сейчас и мне тянуть волынку с этим мороженым.

Рука моя повисела над пломбиром, затем я положил ложку в вазочку и даже слегка отодвинулся от стола вместе со стулом.

Я стал смотреть вниз, как по площади и улицам бегали, словно маленькие букашки, автомобили. С высоты они казались одинаковыми. Только по цвету отличались. Особенно юркими и суетливыми были машины с оранжевой крышей — такси.

Потом я посмотрел на небо, по которому проплывали тучи, подцепил ложкой кусок мороженого и решил смилостивиться. Я сказал:

— Пожалуй, дождя не будет. Хотите, можем поехать в Лужники.

Но Виталька на это не клюнул.

— Нет уж, — проговорил он. — Сам же предложил

Третьяковку. Чего мы будем то так, то эдак! Ты ведь там ни разу не был?

Ну тип! Знает же, что я впервые в Москве. Но спросить ему обязательно нужно было так, чтобы все поняли, что он, Виталька, в Третьяковку уже ходил и побывал он там, наверное, раз сто, а может, и двести.

Я ответил ему, что нет, не был, поскольку у нас в Уярске Третьяковки не имеется, но читал про нее книгу. Если говорить точнее, то я читал не книгу, а несколько страниц в каком-то журнале, поэтому боялся, что Виталька спросит сейчас название книги.

Но он не спросил. Лишь наставительно заметил:

— Это нужно увидеть. — Он поднес ложку с мороженым ко рту. — Увидеть своими глазами, — и проглотил мороженое.

— Трепач! — не выдержал я.

— Что?!

— Самый настоящий, — сказал я.

— А ну повтори!! — Виталька со стуком положил ложку на стол.

— Ребята, ребята, что вы! — вмешалась Таня. — Вести себя не умеете. Как во дворе.

Ну и сказала: «Как во дворе»! Да там мы уж давно прекратили бы эту скрытую дипломатическую войну. Там можно было бы выйти в бой с открытым забралом. Но тут, в Москве, да еще при Тане, мы и так, по-моему, слишком сдерживались.

Сгоряча я одним махом съел оставшееся мороженое. Наплевать, что обо мне подумают. Троглодит так троглодит. Пусть ковыряются в своих вазочках, воображают друг перед другом, строят из себя какую-то персону.

Через некоторое время подошла Настя, посмотрела на наши кислые лица, спросила:

— Что, мороженое не понравилось?

— Ой, что вы! Очень вкусное, — вежливо ответила Таня.

— Вкусное, — проговорил Виталька.

— Очень, — буркнул я.

— Может, еще принести? — спросила Настя.

Но мы отказались, стали расплачиваться.

Настя дала нам сдачу, и тогда Виталька, передвинув в ее сторону пятнадцатикопеечную монетку, вдруг сказал.

— Это вам.

Я подумал, что Настя ошиблась, и теперь Виталька возвращал ей лишнее.

Но Настя поджала губы и не взяла монетку.

— Это вам, — повторил Виталька. — На чай.

— Вон отсюда! — Резким движением Настя смахнула деньги со стола. Монета серебристым жуком мелькнула в воздухе и жалобно дзынькнула где-то на полу.

— Не имеете права, — проговорил Виталька, побледнев.

— Я тебе покажу право! — бушевала Настя. — Сам еще копейки не заработал, а туда же... А ну убирайся!.. Сопляк!..

На лице у Насти появились красные пятна, рука вздрагивала.

Виталька, видимо, понял, что ему лучше всего уйти, не раскрывая рта.

Поднялись и мы с Таней. В нашу сторону Настя не посмотрела. Мне хотелось подойти к ней, что-то сказать, вернее, как-то объяснить, что Виталька, мол, такой идиот, корчит из себя при Таньке кавалера. Но с соседних столиков на нас смотрели, и я не смог этого сделать.

Глядя в пол, мы прошли через всю веранду к выходу. Веранда была длинной-длинной, никак не кончалась.

На автобусе № 5 мы подъехали к кинотеатру «Ударник», откуда, как сказал Виталька, два раза шагнуть — и будет Третьяковка.

Мы шли по набережной, а в ушах у меня все еще звучало: «Вон отсюда!», «Убирайся!» — и появлялось перед глазами Настино лицо в красных пятнах.

Виталька держался обычно, словно бы ничего не произошло, то и дело заговаривал о чем-то. Таня больше помалкивала. А если отзывалась на его болтовню, то коротко, несколькими словами. Но Виталька этого не замечал.

Нас остановили какие-то люди — стали спрашивать, где Третьяковка. Виталька объяснил, что нужно идти прямо, а потом свернуть направо. Люди бросили нам: «Спасибо» — и помчались дальше.

— Сынок, — услышали вдруг мы, — пособил бы и мне дом сыскать.

Только сейчас мы увидели, что рядом с нами стоит низкорослая тетенька с большущим свертком. Она дер-

жала его двумя руками, прижимая к груди: так ей, наверное, было легче. Как она возле нас очутилась, мы не заметили. Хотя она и назвала Витальку «сынком», но он ей, конечно, годился во внуки: женщине было лет шестьдесят, а то и побольше.

Виталька так и сказал:

— Какой дом-то, бабузь? В один миг найдем.

— Да я и сама не знаю, какой, — ответила тетенька. Голос у нее был певучий и звонкий; я, признаться, никогда не встречал старушек с таким голосом.

Мы переглянулись: что за чудачка, ищет, сама не зная что. А тетенька вздохнула и добавила:

— Вот беда-то.

Все мы подумали о том, что вот, мол, спешим в Третьяковку, а тут на нашу голову свалилась эта странная тетенька.

— Раз дома не знаете, то... — Виталька развел руками.

— Вот я и говорю, пособи́те, — звонко сказала старушка и улыбнулась.

— Мы не здешние, — попробовал объяснить я, — мы сами...

— Дак и я не здешняя, — обрадовалась старушка.

— Вам бы к милиционеру обратиться, — посоветовала Таня. — Он бы и помог.

— Пошто? — удизилась старушка. — У него своих делов хватает. Сами сыщем.

— Как же сыщем, — сказал Виталька, — если не знаете, какой дом!

— Не знаю, — согласилась тетенька. — А знала б, вас не просила.

— Да вы там были хоть раз-то? — Виталька уже начинал сердиться.

— Была. Как же не быть-то!

— Когда? Небось до революции.

— А только что была.

Виталька наклонился ко мне и шепнул:

— Старушечья малость того... — И чуть громче добавил: — Откуда только взялась?

Но тетенька последнюю фразу слышала.

— Я-тс? — охотно откликнулась она. — Живу я в селе Рогачево под Дмитровом. Слыхали?

— Нет, — сказал я. — А что за дом вы ищете? Зачем он вам?

— Дак живу я в нем.

Мы снова переглянулись, а Виталька даже пристынулся.

— Как же в нем? А говорили, в Дмитрове.

— От непонятливый! — сердито дернула головой старушка. — Не в Дмитрове, а в Рогачеве. А здесь я у Нюрки живу.

Виталька обиделся, что его называли непонятливым, а я, чтоб не молчать, спросил:

— У какой Нюрки?

— У сестры. У какой же! — Тетенька чуть повыше приподняла сверток, опять прижала его к себе и принялась все подробно растолковывать своим бойким, певучим голосом.

Мы узнали, что приехала она в Москву вчера вечером. Встретила ее на вокзале Ирина («дочка Нюркина»). Возле первого вагона встретила («такой уговор промеж нас был»). Ирина только ее увидела и говорит: «Давай, тетя Поля, скорее, потому как времени у нас с тобой нету». Тетя Поля — так, значит, нашу старушку зовут — спросила, почему же, мол, нету. А Ирина говорит, что с утра в санаторий уезжает, а ей еще собраться нужно. Как потом ехали, куда и на чем, на какой этаж поднимались, тетя Поля не запомнила, потому что у нее в глазах «от всего этого кружение началось». Утром Ирина схватила чемодан — и бежать. А сестра Нюрка женщина хвора, из дому не выходит, все больше лежит. Оттого тетю Полю в Москву-то и вызвали («чтобы Нюрка, пока Ирина в санаторию уехала, без присмотра, значит, не оставалась»). С утра тетя Поля завтрак готовила, сестру кормила, мыла посуду, а потом Нюрка и говорит: «Сходила бы ты, Поля, в прачечную, белье забрать. Ирина-то не успела». Объяснила, где прачечная находится, дала квитанцию, тетя Поля и пошла. Получила сверток с бельем, назад отправилась, а в какой подъезд заходить — понять не может. Двери тоже одна на другую похожие. Где-то тут дом, рядом, но какой? Был у тети Поли адрес на бумажке записан, да оставила она его дома в кошельке.

— Хорошо хоть вас, касатики, встретила, — закончила свой рассказ тетя Поля.

— Чего же хорошего? — мрачно проговорил Виталька.

Я видел, ему вовсе не улыбалось разыскивать Нюркину квартиру. У Тани тоже вид был весьма кислый.

— Знаете, тетя Поля, — сказала она, — мы вам, конечно, рады помочь, но...

— Вот и хорошо, милые, вот и правильно, — весело заговорила тетя Поля.

Это было смешно. Это было ужасно смешно. Старушка нас не понимала. Она гнула свое и никак не могла догадаться, что нам некогда разговаривать разговоры, а нужно скорее бежать: Третьяковка-то рядом.

Я представил, как через минуту мы понесемся прочь, а тетя Поля будет смотреть нам вслед и кричать: «Стойте, милые! Стойте! Куда же вы, касатики?» А касатики будто и не слышат ничего, бегут себе дальше и дальше.

Четко я это так представил, и голос ее словно бы издалека услышал — уже тихий, замирающий голос.

И тогда я сказал, совсем не то сказал, что хотел.

— Не бойтесь, тетя Поля, — сказал, — мы вам Нюрку отыщем. Все дома обойдем, а отыщем.

— Ты что?! — подскочил Виталька. — Соображаешь, что говоришь?

И Таня стрельнула в меня зелеными глазами и отвернулась.

А я, словно не заметив ничего этого, проговорил:

— Непременно найдем. Он, — я показал на Витальку, — ведь так сразу и сказал: «В один миг найдем».

— Шустрый парнишка, — одобрительно посмотрела на Витальку тетя Поля. — Я вам еще вот что скажу. Ручка там на двери была медная, блестящая такая. Сама дверь затворяла, потому помню. А больше ничего не припомнила, видать, старая стала.

«Шустроу парнишке» отступать теперь было некуда, и он сказал:

— А лифт там был, не помните?

— Чего?

— Я говорю, пешком вы к сестре поднимались или как?

Виталька выяснил еще кое-какие подробности, и мы пустились в поиски. Все наше внимание было теперь приковано к дверной ручке — медной и блестящей.

Мы разделили между собой подъезды и бросились осматривать ручки по этажам.

Сколько их было, ручек! Темные и блестящие, большие и маленькие, круглые — скобкой и торчащие — рычажком, как в вагонах. Но медной среди них не было.

Вскоре мы освободили Таню от беготни по этажам.

— И то верно, — закивала головой тетя Поля. — Пусть барышня отдыхает, небось замаялась.

— Будто мы не замаялись, — ворчал Виталька, когда мы отошли подальше.

И снова подъезды, этажи, двери... И снова ручки, ручки, ручки без конца.

— Давай бросим эту затею, — предлагал Виталька.

Но мною овладело какое-то непонятное упрямство. Я уже был готов искать проклятую ручку день и ночь.

— Сам говорил, найдем в один миг, — отвечал я Витальке, — а теперь в кусты?

И Таня тоже, улучив момент, шепнула мне:

— Ну хватит, Эдка, слышишь? Надоело.

— Мне тоже, — кивнул я и устремился в очередной подъезд.

Раза два я и Виталька подходили к тете Поле, спрашивали, верно ли ручка медная.

— А как же! — говорила тетя Поля. — Как сейчас помню, медная.

Поиски продолжались. Виталька наконец нашел медную ручку. Прибежал к тете Поле. Пошли смотреть, но ручка оказалась не той.

Я уже твердил про себя заклинание:

Медная ручка!
Медная ручка!
Медная ручка,
Найдись поскорей!

Наверно, и Виталька тоже что-нибудь сочинил (я знаю, когда он ищет грибы, то что-то шепчет, но что — не говорит). И даже, может быть, сочинил это очень ловко, потому что ручку отыскал все-таки он.

Тетя Поля страшно обрадовалась.

— Касатики, — говорила она, — вот выручили! Ну заходите, кваску попьете. Нюрка такой квасок готовит!

Мы вначале отказывались, а потом зашли.

Нюрка (мы ее, конечно, стали звать тетя Нюра) оказалась похожей на свою сестру как две капли воды. Такая же маленькая, остроносенькая, с ровным пробором на голове. Была она, правда, чуть помоложе тети Поли.

— А я заждалась тебя, Поля, — сказала она, — все жданки пропали.

— Угости вот ребят кваском. — Тетя Поля положила сверток на большой стол рядом с ворохом цветной

бумаги, обрезками тряпиц, ножницами и клеем. — Мои спасители.

Она принялась было рассказывать, как мы искали дверь с медной ручкой, но, увидев, что мы с удивлением посматриваем на этот стол, остановилась вдруг на полуслове и пояснила:

— Нюрка-то наша надомница. Работает, значит, дома, потому как инвалидность имеет. А цветы уж одно заглядение. Да вы сами гляньте.

Тетя Поля потащила нас к углу комнаты, где на широких полках лежала масса всевозможных цветов.

Она протягивала нам один цветок за другим и то-ропливо говорила:

— А это гляньте... А этот...

По-моему, цветы были неплохие, хотя я не очень-то в этом разбираюсь. Я вспомнил, что на праздники, когда идут демонстрации, у многих в руках такие цветы.

А Таня то и дело восклицала:

— Прелесть... Какая прелесть...

К нам подошла хозяйка с подносом, на котором стояли чашки, наполненные густо-коричневым квасом.

— Угощайтесь, — сказала она. — Кваску моего отведайте.

Мы с Виталькой залпом выпили по полной чашке, а Таня сделала один глоток и поставила чашку на поднос.

— Спасибо, тетя Нюра.

— Спасибо, — сказали и мы с Виталькой.

— На здоровье, милые.

— Ну как, вкусный квасок-то? — спросила тетя Поля.

— Ага, — сказали мы с Виталькой. — Вкусный.

— Прелесть, — отозвалась Таня.

— Может, еще выпьете? — предложила хозяйка.

— Спасибо, — сказала Таня, — нам нужно идти.

Но мы с Виталькой все же выпили еще по одной чашке.

Потом стали прощаться.

— Это вам. — Тетя Нюра дала нам по красной гвоздике.

— Какая милая, — проговорила Таня, рассматривая свой цветок.

Мы поблагодарили тетушек и ушли.

Когда спускались по лестнице, Виталька протянул Тане гвоздику и сказал:

— Таня, возьми.

Я тоже захотел отдать ей свою гвоздику, но удержался: зачем же мне подражать Витальке?

А Таня сказала:

— На что мне такая безвкусица! Все равно сейчас выкинем.

Безвкусица? Я ушам своим не верил. Только что ведь говорила: «Какая милая». И вдруг — безвкусица!

— Точно, — согласился Виталька, — такие лишь на венки для покойников нанизывают.

— Чего же брал? — не вытерпел я.

— Все брали, и я взял, — невозмутимо ответил Виталька.

Мы опять вышли на набережную, но теперь пошли уже по другой стороне, возле самых перил. Таня, а за ней и Виталька бросили в воду свои гвоздики, и река медленно понесла их.

— Бросай, — сказал мне Виталька. — Чего жалеть! Я не бросал.

— Зачем же бросать, — заметила Таня, — если ему нравится. Пусть бережет. Вкус у всех разный.

Я шел молча и глядел на воду.

Может, и верно, безвкусица этот цветок, сделанный из бумаги и проволоки? Но ведь его подарили... Подарили. Как же я брошу? Получится, что я предаю тетю Полю и тетю Нюру, что я смеюсь над ними.

Я не бросил гвоздику. Так и пошел в Третьяковку с цветком в руке.

Народу возле касс было немного. Мы подождали минут пять и получили билеты.

— Пошли на второй этаж, там классика, — уверенно сказал Виталька, после того как контролер надорвал наши билеты.

Вначале мы попали в зал, где со стен на нас смотрели какие-то важные господа и дамы. Мужчины были в париках, с орденами и лентами. У дам орденов не было, но зато они могли похвастаться кружевами и драгоценностями, которые нацепили на себя в большом количестве.

Одни лица были бледно-восковыми, на других алели румяна. Попадались лица и красивые, и некрасивые — носатые, с тонкими, поджатыми губами.

Но было в портретах и такое, что объединяло их и делало похожими.

Сперва я не мог понять, отчего это так, а потом догадался: у всех этих вельмож и вельможинок был одинаково надменный, напыщенный вид. Наверное, выламывались друг перед другом, все равно как Виталька выламывался перед нами в кафе. Я даже улыбнулся от такого сравнения.

— Ты что? — спросила меня Таня.

— Да так... интересно здесь очень.

— Это все фигня на постном масле, — сказал Виталька. — Идем дальше, еще не то увидишь. — И он быстрыми шагами направился к выходу.

Так проскочили мы через несколько залов. Виталька все время поглядывал по сторонам и махал нам рукой, чтобы мы не задерживались, шли скорее за ним.

А задержаться иногда ой как хотелось, но Виталька подчинил нас своей осведомленностью и решительными действиями.

Сделать остановку все же пришлось, потому что мы вдруг оказались в каком-то тупике. Оставалось или пойти назад, или поднырнуть под бархатный канатик, который висел в проеме стены и преграждал всем путь.

Мы бы, конечно, поднырнули, но вовремя заметили, что на нас смотрит дежурная с повязкой на рукаве.

— Скажите, пожалуйста, — вежливо обратился к ней Виталька, — а где тут висит Иван Грозный со своим сыном?

— Эта картина висит в зале Репина, откуда вы только что пришли, — ответила дежурная, подозрительно нас оглядывая. — От кого это вы бегаєте?

— Мы не бегаем, — сказал Виталька, — мы ищем.

— Возвращайтесь. Пройдете два зала, и будет Репин. Только идите нормально, как все люди. Картины смотрят, называется. В галерее находитесь, а не в проходном дворе...

Но мы ее уже не слушали, повернули назад.

— Вот! — произнес Виталька и показал рукой. — Пришли.

Я взглянул и сразу вспомнил, что видел это на открытке. Но только в первый момент картина показалась мне знакомой. Чем больше я на нее смотрел, тем удивительнее, ярче и ужаснее становилась она. Я знал, что Иван Грозный в припадке гнева убил своего сына, но сейчас все это было у меня перед глазами. Как вко-

панный стоял я и не мог шевельнуться. Многое здесь было жутким: кровь на коврах, остроконечный посох, рана царевича, которую пытается зажать Иван Грозный. Но самым страшным был он сам — царь. И не грозный он вовсе, да и на царя не похож. Он всего-навсего вылезший, жалкий старик. Глаза его почти совсем вылезли, и он уставился ими куда-то в сторону и, конечно, ничего не видел. Спутанные волосы стали дыбом, а лоб был выпачкан кровью, кровью сына.

Наверное, этот старик после того, как увидел, что наделал, и кричал и выл в отчаянии. А потом подскочил к царевичу, который безжизненно распластался на коврах, приподнял его, попытался закрыть рукой рану... Но не удержать кровь, не удержать уходящую жизнь. Старик то хватал себя за голову, и на ней оставались кровавые следы, то вновь протягивал дрожащую руку к ране сына.

— В порядке нарисовано, а? — сказал Виталька.

— Я не могу здесь стоять, — проговорила Таня. — Я пойду дальше.

— Иди, иди, — великодушно разрешил Виталька. — Мы тебя догоним. Это не для женских глаз. Нет, пожди. А почему картина под стеклом, знаешь?

— Нет, — сказала Таня.

— А ты? — спросил он у меня.

— Может, чтобы краска не осыпалась, — предположил я.

— Краска! — засмеялся Виталька. — Во дает!.. Это чтобы ее порезать не могли.

— Порезать? — спросила Таня.

— Ну да. Ее уже раз резали.

— Кто? — спросил я.

— Пьяный, — сказал Виталька. — Вжик, вжик ножом.

— Не пьяный, — вмешалась какая-то тетенька, — а душевнобольной. И веселого в этом ничего нет.

Мы отошли. Я только взглянул еще раз на картину издали. В глаза бросились ярко-зеленые сапожки царевича. Они были единственным как бы живым пятном. Единственным. Но от этого все остальные краски казались еще более мрачными и зловещими.

У других картин в этом зале мы долго не останавливались, потому что Виталька опять принялся нас то-ропить. Но вот мы оказались возле картины, на кото-

рой был нарисован мужчина в мятом халате, с всклокоченными волосами и красным носом.

— Ага! — радостно сказал Виталька и, чтобы удостовериться, подошел и прочитал табличку на раме. — Он самый!

— Кто? — спросила Таня.

— Мусоргский. — И, повернувшись ко мне, добавил: — Был такой великий композитор.

— Угу, — кивнул я.

— Писал всякие симфонии, а потом вот в больницу попал, — пояснил нам Виталька.

Я смотрел на великого композитора и чувствовал себя уничтоженным: Виталька знал все. Даже такие подробности.

— Симфоний он, по-моему, не писал, — сказала Таня.

Я вздохнул с некоторым облегчением, но Виталька тут же отрезал:

— Неважно! Главное, что Репин нарисовал его за два дня до смерти.

Опять! Так и сыплет!

— Ладно, идемте дальше, — сказал Виталька и пошел.

Пошли и мы с Таней. И снова смешались в кучу и замелькали в глазах полотна, висевшие на стенах.

— Погоди, посмотрим «Бурлаков», — предложила Таня, мы как раз проходили мимо этой картины.

Я подумал, что Виталька сейчас еще что-нибудь выдаст, но он поморщил лоб и проговорил:

— Чего интересного? Идут и тянут. Вот и все.

Мне захотелось поддержать Таню.

— Нет, давайте посмотрим, — сказал я.

Виталька остановился с нами, сунул руки в карманы, взглянул несколько раз на картину, а затем отвернулся, начал скусающе озираясь по сторонам.

— Бедные люди, — проговорила Таня, разглядывая бурлаков.

Как же я хотел сообщить ей тоже что-нибудь такое, удивительное! Но я ничего не знал, поэтому лишь произнес:

— Ага.

Я подумал, что Виталька тут же воспользуется этим обстоятельством и скажет нам, чью посудину тянет несчастная ватага или что вон тот длинный бурлак с

трубкой в зубах первым свалился от голода, а потом уже все остальные.

Но Виталька промолчал. Почему бы? Странно.

Следующей картиной, возле которой мы оборвали свой бег по залам, была картина Крамского «Неутешная горе». На ней была женщина в черном, она сжимала у рта носовой платок и смотрела куда-то вниз, в угол, заплаканными глазами. Слева была дверь в другую комнату. Там, наверное, горели свечи, потому что на полу у двери отражался неровный желтовато-красный свет.

— Это художник свою жену нарисовал, — пояснил нам Виталька. — У них ребенок умер.

— Послушай, — сказала Таня, — почему ты такие картины выбираешь?

— Какие?

— Ну такие... страшные?

Виталька вначале замаялся, а потом, улыбнувшись, сказал:

— Кому страшные, кому нет, правда, Эдька? — И тут же добавил: — Чего бояться: это все давно было. Потопали?

Мы двинулись дальше. Несколько раз мне хотелось получше рассмотреть какие-то картины, да и Таня, я заметил, тоже замедляла кое-где свой шаг, но Виталька был непреклонен.

— Идем, идем! Еще не то будет, — говорил он.

Куда он нас вел? Зачем?

И тут я догадался: а не подводит ли нас Виталька только к тем картинам, о которых он успел уже что-то узнать?

— Стоп! — сказал вдруг наш экскурсовод.

Мы очутились перед огромной картиной, которая называлась «Утро стрелецкой казни».

Здесь было все понятно. О стрельцах и Петре Первом, который с ними расправился в конце концов, я читал.

Хоть мне и было известно про казнь стрельцов, но представить себе такой картины я никогда бы не смог. Поразило прежде всего их прощание со своими родственниками. Конечно, рассмотрел я хорошенько и Петра, который, гневно выпучив глазищи, сидел верхом на лошади. Но главное — старухи, дети и молодые женщины. Множество их собралось здесь на площади. Да-

же показалось мне, что я услышал гул толпы, и чьи-то вопли, и детский плач.

— А виселицы видишь? — толкнул меня локтем Виталька. — Вон у самой стены.

— Ну?

— Вначале там Суриков повешенного нарисовал, а потом замазал.

Ну вот — так и есть! Для этого мы сюда и подошли.

И все же я не удержался и спросил:

— Почему замазал?

— Чтоб люди в обморок не падали, — живо ответил Виталька. — А то его служанка, как увидела это дело, от страха брык с катушек.

— Словечки! — заметила женщина, оказавшаяся рядом с нами. — Послушаешь, уши вянут.

— Ладно, пошли, — сказал я.

— Куда? — удивился Виталька, увидев, что мы с Таней сделали несколько шагов в сторону.

Может быть, он удивился потому, что уже привык командовать парадом, а тут вдруг принимают решение без него. А может, удивительной ему показалась наша поспешность: то, мол, просили его остановиться, задержаться у каких-то картин, а теперь зачем-то сами торопят.

Но не ошибся ли я? Может, он вовсе не удивился, а просто не успел нам что-то рассказать про служанку, которая свалилась с катушек.

Как бы там ни было, но все же мы отправились смотреть другие картины.

Виталька больше ничего нам не рассказывал. Наверное, обиделся. Хотя нет: если б обиделся, не был бы оживлен и весел. Просто, я думаю, кончились все его сведения.

Теперь он взялся отпускать шуточки насчет того, что мужчина на этом портрете похож на математика Петра Ивановича, если б Петру Ивановичу прилепить усы; а толстощекий мальчик с соседней картины — родной брат, даже близнец нашего Димана; а вот та графиня как две капли воды похожа на продавщицу газировки, которая стоит на углу возле булочной, только повязать бы эту графиню косынкой, надеть белый, с сиропными пятнами халат и устроить ей черную родинку возле носа.

Иногда Виталька подмечал все очень верно, и Таня

смеялась, а я сдерживался, чтобы, как говорят, не подливать масла в огонь, хотя действительно было смешно. А Виталька разводил этот огонь, пыжился изо всех сил.

Наверное, я завидовал ему. Да, завидовал. Я, если бы знал, тоже выкладывал бы Тане всякие истории про художников. Конечно, я бы мог острить, что такой-то похож на такого-то. И Таня бы тоже смеялась. Но первый придумал это Виталька, а не я.

И вот мы очутились в зале, где на целой стене не было никаких портретов и вообще не было привлекательных картин, а висели одни лишь пейзажи.

— Здесь смотреть нечего, — сказал Виталька, — идем в другой зал.

А я вдруг заметил знакомую картину, на которой была нарисована неширокая, усыпанная листьями дорожка, протянувшаяся среди желтых липок, и по этой пустынной дорожке шла женщина в темной одежде.

«И. И. Левитан. Осенний день. Сокольники», — прочитал я на табличке. И я хорошо вспомнил тот вечер, когда мы сидели за столом с дядей Васей и он угостил меня крепким чаем, а потом показал свою мастерскую, и там я увидел Танин силуэт на фоне зеленого окна и еще увидел репродукции Левитана.

Я задумался о той потребности, про которую услышал тогда от дяди Васи. Он сказал, что она есть у каждого — потребность в Левитане, Моцарте, Чехове. У каждого...

— Ну, идем, что ли? — проговорил Виталька.

— Эдик, мы уходим, — присоединилась к нему Таня.

Потребность в Левитане. Значит, ни у кого из нас ее нет?

— Подождите, — попросил я. — Посмотрим еще немного.

На что я надеялся? Наверное, на то, что вдруг она появится, эта самая потребность. Хоть в ком-нибудь.

Но она не появлялась. Таня и Виталька провели быстрым равнодушным взглядом по стене с картинами, а я то и дело посматривал на осенние Сокольники и пытался понять: ну что особенного в этой картине и чем же она так полюбилась дяде Васе?

— Теряем время. — Виталька посмотрел на часы. — Уже два часа наступало. Идем.

— Иди, если хочешь, — проговорил я, — никто тебя за руку не держит.

— И я пойду, — сказала Таня. — Встретимся внизу, у контроля.

— Через полчаса, — добавил Виталька.

Я остался один. Скорее всего, я остался из-за того, что не хотел подчиниться их воле. А вообще-то и мне стоило уйти. Потребности в Левитане у меня нет. Как ни досадно, но я уже понял это.

И все же я упрямо принялся разглядывать картины, что висели поблизости от меня. Они показались мне скучными. На них не было людей, а были лишь промокшие насквозь поля, кусты, стога и деревья. Даже зябко делалось.

Потом я подошел к картине, которая называлась «У омута». Она тоже была очень простой. Стоило ли рисовать эту неширокую реку и мостик из трех бревен? Я уже хотел уйти, но засмотрелся на воду. От нее веяло чем-то таинственным и непроглядным. Да и тучи над лесом были какие-то темные, угрожающие. Я представил себя на этом неровном мостике и вдруг пошатнулся. Мне сделалось страшно. От обманчиво спокойной тяжелой воды я уже не мог оторвать глаз.

Подошла женщина-экскурсовод с небольшой группой и стала говорить, что картину «У омута» Левитан написал в Тверской губернии, когда гостил у каких-то Панафидиных. «Это неинтересно, — решил я, — у кого гостил, да с кем встречался. Подумаешь! Главное — что на картине нарисовано».

— Место, изображенное на полотне, — говорила экскурсовод, — связано со старинной легендой. Здесь, на берегу реки, стояла будто бы в давние времена мельница. У мельника была красавица дочь, которая любила молодого конюшего с княжеского двора. Но однажды князь увидел девушку, она ему понравилась, и тогда он приказал забрить конюшего в солдаты. Дочь мельника не могла перенести горя и утопилась в реке.

«Ну и ну! — подумал я. — Почти как в опере!»

Экскурсовод, словно поймав мою мысль, продолжила:

— Неподалеку от этого места находилось в свое время имение баронессы Вульф, и есть сведения, что Пушкин, приехав к баронессе погостить, услышал однажды эту легенду и...

«Вот оно что! Значит, сюда, именно сюда, на этот некрутой берег, выбирались в лунные ночи русалки, — размышлял я. — Они водили здесь свои хороводы, и их распущенные зеленоватые волосы светились под лунной. А как-то раз здесь же на берегу маленькая русалочка повстречала своего сумасшедшего деда...»

— Левитан же услышал эту историю от Панафидиной...

«Нет, насчет русалок, — это, конечно, все выдумки. Но дочь мельника ведь могла и в самом деле тут утонуть».

— Легенда увлекла художника, тихая речка и нехитрый мостик возле плотины покорили Левитана красотой...

А я думал о Тане. Как жаль, что ее не было сейчас рядом и что она не услышала про легенду!

— На картине все выглядит спокойным, сдержанным. Но приглядитесь, какую тревогу таит в себе этот пейзаж...

«Точно, — согласился я. — Эх, Таня, Таня... Русалочка!.. Тебе бы это увидеть». И я стал думать, что у нас с нею тоже все со стороны выглядит спокойным и сдержанным. А внутри...

— Перейдемте теперь сюда, — сказала экскурсовод, — прошу...

Я тоже пошел со всеми и слушал, что говорила экскурсовод, но мысли мои возвращались все туда — к «Омуту».

Лишь возле «Золотой осени» я словно бы пробудился. Картина была яркая, радостная. Золотые березки так и сияли. А возле синей воды на самом берегу речки замер красный куст. Будто купаться прибежал, да раздумал. А по небу плывет облачко, такое белое-белое. «Наверное, после дождей и серых туч, — подумал я, — выдался вдруг теплый день».

Мне и самому сделалось как-то теплее и светлее. «Нет, нужно сбегать за Таней и Виталькой», — решил я и спросил у стоящего рядом со мной мужчины, который теперь час.

— Полтретьего, — сказал он.

— Ровно? — Я вспомнил, что в это время уже нужно быть внизу, у контроля.

Мужчина снова взглянул на часы.

— Тридцать две минуты, — сказал он.

Я метнулся к двери. «Нет, им просто необходимо

посмотреть Левитана. Особенно Тане. А не захотят, скажу, чтобы не ждали. Похожу еще по галерее и без них».

Но Тани и Витальки возле контроля не оказалось. Я подождал пять минут, десять — их все не было.

Тогда я заспешил назад, проскочил все залы на втором этаже, спустился на первый...

Нигде их не было.

Я понял, что они не дождались меня. Ушли. Не дождались каких-то две минуты.

А может, они и вовсе не ждали? Сразу взяли да и ушли? Ну конечно, они меня бросили. Бросили, как те гвоздики в воду.

Не захотелось мне больше оставаться в Третьяковке. Я вышел на улицу, медленно побрел сам не зная куда.

Как же я ругал себя! «Так тебе и надо, дураку. Зачем же ты с ними связался? Мало, они от тебя вчера удрали, ты опять к ним примазываешься. Так и надо тебе! Так и надо!» «Встретимся у контроля», — вспоминался Танин голос. Не у контроля, а у девятой колонны. Так бы и сказала.

Я усмехнулся и вслух проговорил:

— У девятой колонны.

Настроение было — хуже не придумаешь.

Я не знал, что мне делать, не понимал, чего я хочу. Я был зол на всех, а на себя особенно.

Друзей своих я потерял, и теперь был один в этом громадном городе, совсем один. И завтра так будет и послезавтра.

«Уехать», — появилась в голове смутная мысль. Появилась и не пропала, а, наоборот, становилась все яснее и четче. «Уехать! Скорее в Уярск!.. Сегодня же!.. Сейчас же!..»

В справочном бюро я узнал, когда отправляются поезда на Уярск. Оказалось, что только вечером в восемь.

В восемь!.. А я хотел сию же минуту очутиться в поезде. И чтобы хоть как-то приблизиться к этому желанию, я решил поехать на вокзал и взять билет.

Лишь только я увидел привокзальную суету и мелькание, мне сразу же стало легче. А когда я сказал кассирше: «Один билет на Уярск», — и вместе со сда-

чей получил из окошечка маленький картонный билетик, то и зовсе успокоился. Билет в кармане — это уже одной ногой в поезде.

Недалеко от вокзала я пообедал в какой-то столовой (суп рыбный, котлеты с макар., компот), а потом стал раздумывать, на что же потратить оставшееся время.

До восьми у меня было целых четыре часа. Примерно в шесть вернется с работы тетя Гекта, а может, и Дим Димыч. Я представил, как они будут расспрашивать, отчего я уезжаю да почему не хочу остаться еще на несколько дней, и мне сделалось кисло. Разговор этот будет тянуться, тянуться, как резина.

Нет, нужно забрать поскорее свою спортивную сумку, пока никого нет дома, — и гудбайчик. Объяснить все можно в записке. Мол, уехал, спасибо, привет. Коротко и ясно, и никакой резины.

Я спросил, как лучше добраться до Кривоколенного, и мне сказали, что самое удобное — сесть в метро и выйти на станции «Кировская», а там рукой подать.

Метро так метро. Даже совсем неплохо, что метро. Я ни разу там не был, а только слышал про движущиеся лестницы и поезда, которые несутся в темноте под землей.

Знакомство с метро началось с того, что меня чуть не хватанул по ногам контрольный автомат. Оказывается, я сунул монетку в один автомат, а проходить стал возле другого. Вот второй автомат и рассвирепел: зарычал и задвигал своими клешнями-заслонами. Только пока он их то выпускал, то убирал, я все равно прошел.

— Мальчик, вернись! — слышался чей-то голос.

Я обернулся. Дежурная возле автомата махала мне рукой. Пришлось мне подойти.

— Ты почему безобразничаешь?

— Я?!

— А то кто же, я, что ли!

— Это ваш автомат безобразничает. Монету проглотил, а не пускает. Он у вас неисправный.

— Сам ты неисправный! Никогда, что ли, на метро не ездил?

— Ага, — сказал я, — не ездил.

Тут уж дежурная совсем рассердилась.

— Ишь ты, — сказала она, — огрызается. А еще с цветком ходит.

Только сейчас я вспомнил про красную гвоздику, которую все это время держал в руке.

— Кто огрызается, — спросил я, — автомат?

— Ладно, ступай. Больно умный стал. Давно ремня не пробовал.

— Давно, — согласился я. И вдруг подумал: «А не подарить ли ей мой цветок?» Но потом решил, что глупо отдавать его первому попавшемуся. Встретятся ведь и другие люди.

Что мне сразу понравилось, так это эскалатор. Стоишь спокойненько на ступеньке, а длинная лестница тянет тебя куда-то вниз. Лишь мелькают по бокам фонари, вытянувшиеся и застывшие, как часовые.

Внизу выяснилось, что на «Кировскую» я оттуда не попаду, потому что спустился на кольцевую линию. Вообще-то кольцо — штука интересная: катайся по нему сколько хочешь, хоть до одурения. Но сейчас я торопился, мне нужна была другая линия, и пришлось по переходу уйти с кольца.

На платформе стояла уйма народу. Наверное, на все три вокзала одновременно пришли поезда и все люди хлынули в метро. В электропоезд я вошел не сам, а внесла меня какая-то общая сила.

Вагон был уже набит полностью, но подоспевшая мощная тетенька сказала: «Вомнемся, граждане», — и так поднадавила, что действительно вмялась. После этого я мог свободно отрывать ноги от земли, и та же общая сила держала меня со всех сторон. «Невесомость», — отметил я про себя с удовольствием. Но на следующей остановке это космическое явление пропало, а на своей «Кировской» я выходил уже совершенно самостоятельно, без посторонней помощи.

Дома никого не было. Правда, на подоконнике появилась куча красных помидоров. «Наверное, заезжал Дим Димыч», — подумал я и увидел на столе записку. «Эдька, — было нацарапано в ней, — будешь подогревать котлеты, не забудь выключить газ. Следи за электроприборами и водопроводом. Дим Димыч».

Если б я уже не знал Дим Димыча, я бы, конечно, разозлился. Но теперь я понимал, что это ни к чему. Я перевернул записку и на обратной стороне написал Дим Димычу успокоительные слова:

«Котлеты ел холодные, телевизор не включал, свет в уборной выключил, кран закрыл, уехал в Уярск, до свидания. Э.».

В несколько минут я собрал свои манатки, потом завернул в газету два куска хлеба, две помидорины и две котлеты (а вдруг в поезде захочу есть?) и тоже сунул все это в сумку. Сверху положил туда и цветок.

Затем я запер дверь, и вдруг рука моя словно окаменела: ключи! Ведь нужно их отдать. Не увозить же ключи с собой.

Мое положение лишь в первый момент показалось мне безвыходным. Хорошенько поразмыслив, я увидел, что все можно уладить. Ключи я спрячу в коридоре, а в записке укажу то место, где они спрятаны. Наружную дверь закрою на один только английский замок — захлопну дверь.

Я отыскал отличное место для ключей в ящике с обувью и вернулся в комнату. Моя, как мне казалось, остроумная записка теперь мне почему-то не понравилась. Я не стал вписывать в нее слова насчет ключей, а выдрал из блокнота лист бумаги и набросал новую записку.

«Тетя Гекта и Дим Димыч!

Из-за важных обстоятельств я должен уехать домой в Уярск. Спасибо за все. Приезжайте к нам тоже в гости. Ключи я спрятал в старой левой галоше».

Теперь записка получилась вежливой и деловой, как у взрослых. Я подумал и приписал:

«Уважающий Вас Эдик».

Потом еще малость подумал и решил, что нужно добавить Р. С. (то есть «позабыл сказать»):

«Об электроприборах не беспокойтесь, с ними все было в норме». И пометил на записке число.

А еще появилась у меня в голове такая мысль: «Может, оставить здесь мою гвоздику? Вон как раз пустая ваза стоит». Я вынул гвоздику из сумки. А если выкинут? И, представив, как Дим Димыч огромной ручищей сминает проволочный цветок, я опять засунул его в сумку.

Я запер дверь, спрятал в галошу ключи, потом захлопнул вторую дверь и вышел на улицу.

Я шел не спеша. Времени у меня было много, и я не знал, что с ним делать. На глаза мне попалась телефонная будка. «Позвоню Нине, попрощаюсь», — подумал я и стал искать двухкопеечную монету.

Вначале были короткие гудки: занято. Я набирал номер несколько раз — все та же история. Наконец

раздался продолжительный гудок, и я услышал Нинин голос:

— Да?

— Это опять я.

Мне казалось, что Нина удивится, но она сказала:

— Тут что-то с телефоном случилось. Ну ладно, Сережа, слушаю.

Не знаю почему, только сделалось обидно, что она меня перепутала. Я хотел повесить трубку, но Нина опять сказала:

— Слушаю.

— Это говорит Эдик. Я уезжаю. Уже взял билеты. До свидания, — выпалил я.

— Ах, Эдик... А я тоже только что говорила с моим однокурсником про билеты.

— Куда? — спросил я машинально.

— На экзамен, — засмеялась Нина. — Все грызу, но, кажется, безуспешно.

Мне тоже стало весело.

— Что, крепкий гранит? — поинтересовался я.

— Ужасно.

— Оставь немного зубов для других экзаменов.

— Постараюсь.

— Ладно, — сказал я, — не буду занимать у тебя время. Если еще приеду в Москву, позвоню.

— Звони обязательно. Счастливо.

— И тебе счастливо. — Я повесил трубку.

Бывают же такие люди: о чем с ними ни поговоришь — сразу хорошее настроение появляется. Как это здорово, что я встретил в Москве Нину! Вот кому я бы сразу отдал свою гвоздику.

Я шел, помахивал спортивной сумкой, поглядывал по сторонам.

Возле одного решетчатого забора я остановился. Там во дворе играли в футбол. Играли четверо на четверо. А недалеко от ворот сидел на лавочке мальчишка и тоже смотрел на играющих.

Раза два мяч перелетел через забор, и тогда я подбегал к нему и сильно с руки бил. Мяч возвращался на поле, и ребята мне приветливо кивали головой.

Затем кто-то из нападающих ударил по воротам, и мяч, пройдя намного выше, опять устремился в мою сторону. Для меня это была как бы отличная навесная подача. Вот мяч, теряя силу, стал круто спускаться прямо надо мной, вернее, чуть позади меня. Я бы-

стро развернулся и с ходу ударил через себя назад. Мяч снова взлетел вверх и опустился в центре поля.

Наверное, это был красивый удар, потому что проходящий мимо морячок сказал:

— Ловко! — и улыбнулся.

Мальчишка, что сидел на лавочке, встал, подошел к забору и сказал:

— Хочешь сыграть? У меня как раз пары нет...

— Можно, — сказал я и пошел к калитке.

Через минуту я уже гонял со всеми мяч.

Несколько раз я хорошо выходил к воротам, но от волнения бил мимо.

— Мазила, — сказал наш капитан, черноволосый парень с узким лицом.

Он мне нравился: играл энергично, выкладывался весь. Что я мог ему возразить?

— Подавал бы уж мячи за воротами, — отозвался мальчишка из другой команды, наш противник. У него были очень светлые, почти белые волосы и пухлые губы. Играл он плохо.

— Сам-то, — не стерпел я, — только губами можешь хлопать.

— Что-что?! — надвинулся он на меня.

— Что слышал!

— Ладно, играем, — сказал наш капитан, — потом разберетесь.

Постепенно я вошел в форму, лучше стал понимать своих. И когда узколицый капитан прорвался по правому краю, а потом дал навес на штрафную, я был на месте: прыгнул и сыграл головой. Вратарь не ожидал этого удара и рыпнулся лишь тогда, когда мяч влетел в ворота.

Я побежал к центру поля, наклонив голову, а капитан догнал меня и хлопнул слегка по спине. Он ничего не сказал мне, но я понял, что он простил мне прежние неверные удары.

И тут я вошел в раж: то ли соскучился по футболу, то ли охватила меня азарт, и даже какая-то злость появилась, — но я так, наверное, никогда не играл. Я носился по всему полю: был защитником и нападающим, я делал финты, стрелял по воротам сам и выводил на удар других. Голы в ворота противника так и посыпались. Счет был разгромным.

Наконец после очередного гола мальчишка с пухлыми губами сказал нашему капитану:

— Чего с вами играть? Вы вон кого взяли. Сладили, да?

— Кого взяли? — спросил капитан.

— Я его знаю. — Губастый кивнул на меня. — Он в «Динамо» играет за мальчиков.

— Ты что! — удивился я. — Ты...

Но губастый не дал мне договорить:

— Знаю, знаю. А вначале прикидывался. — Губы его стали еще более пухлыми. — Ведь за мальчиков играешь... Скажи, за мальчиков, да?

— За девочек, — бросил я.

Все рассмеялись, но тот упрямо повторил:

— За мальчиков, знаю.

Ему сказали:

— Ладно, Толястый. Чего пристал к человеку!

А Толястый покосился на спортивную сумку, которую я взял в руки, и снова буркнул:

— Знаю.

Эх, знал бы он, что в сумке у меня лежат не бутсы и футболка, а котлеты и помидоры! Да я уже не стал разубеждать Толястого. Пусть думает, что угодно.

— Приходи к нам завтра, — сказал узоколицый капитан.

— Я уезжаю. — И показал на сумку.

— Понятно, — подскочил опять Толястый. — С кем играете?

— Ни с кем. Я домой уезжаю. В Уярск.

— В Уярск, — надулся Толястый. — Там небось и про футбол-то не слыхали.

— Пока, — сказал я, пожал руку капитану, потом другим ребятам и зашагал.

У прохожего я спросил время. Оказалось, что до поезда остается еще полтора часа.

Я подумал, что Дим Димыч уже прочитал записку и отыскал в галоше ключи. Тетя Гекта, наверное, делает салат из помидоров. Нина сидит за билетами, вгрызается в науку. Таня... В это время она, видно, готовится к спектаклю. А может, она сегодня и не занята. Тогда она пойдет с Виталькой в кино. Нет, на вечерний сеанс их не пустят. Ну просто так будут гулять по улицам. Не пропадут...

Черт возьми! А я из-за них уезжаю. Не из-за них — из-за нее...

Лучше об этом не думать. Как-то невесело становится. Нужно думать о другом, о приятном. В футбол,

например, хорошо поиграли. Отличный парень этот капитан. Да и другие ничего, даже, пожалуй, Толястый со своими губами. Если б не уезжал, и завтра можно было бы сыграть. Но я-то уезжаю. Для чего это «если б»? Если бы да кабы...

Вособще-то неплохо сесть где-нибудь отдохнуть немного. В игре я здорово вымотался. Ноги у меня гудели, спину поламывало.

У какого-то подъезда я увидел наконец скамеечку, но на ней сидел старик с палкой. Что же, остается и мне сесть рядом с ним и поглядывать на прохожих? Я пошел дальше.

Так доплелся я до станции метро. И тут я вспомнил про кольцевую линию. Нужно лишь попасть на нее, а там садись и кружи сколько угодно. Ну конечно, не совсем сколько угодно: так ведь и на поезд опоздаешь. Но все же круга два сделать можно — и отдохнешь, и станции посмотришь.

На этот раз я правильно опустил пятак, и автомат на меня не зарычал.

Я доехал до «Комсомольской» и там по переходу выбрался на кольцо. На часах, между прочим, было пять минут восьмого, и я решил, что мне вполне хватит одного круга.

На платформе уже не было той густой толпы, и никто не раздвигал закрывающиеся двери и не кричал: «Вомнемся!».

Я вошел в полупустой вагон и сел. Пассажиры вокруг были притихшие, утомленные. Многие еще только возвращались с работы, наверное, хотели есть. Я, например, после уроков бываю прожорлив, как этот метровский автомат, что без конца глотает пятаки.

Напротив меня расположился грузный полковник. В руке у него была папка. Он расстегнул ее, вынул какие-то странички, стал читать, но тут же отвел глаза в сторону, задумался. Глаза у него были серые, тусклые. Так и сидел он, позабыв про свои странички.

Сейчас я понимал этих усталых людей. Мне тоже хотелось не слушать чужие разговоры, а ехать, тихонько покачиваясь, и ни о чем не думать. Но не думать ни о чем я не мог. Не по своей воле уезжал я из Москвы. Меня гнала обида. Она жила во мне и ныла, как больной зуб, то глуше, то острее.

На какой-то станции вошли две тетki с авоськами и сумками. Этих сумок у них было видимо-невидимо.

Разве что в зубах не держали. А у одной тетки — она села напротив меня, рядом с полковником, — через плечо была перекинута связка с баранками. Тетка была толстая, все пыхтела и отдувалась. Смотрела она сердито и настороженно.

Рядом со мною разместились вторая тетка — маленькая и суетливая. Одна из ее сумок чуть было не вытеснила меня. Тетка это заметила и улыбнулась:

— Потерпи, милоч.

— Ничего, — проговорил я, — пожалуйста.

Она мне понравилась. Не из-за того, что сказала «милоч», а просто взгляд у нее был приветливый.

На следующей остановке в вагон вошла молодая женщина. За руку она держала малыша. Малыш был одет в ярко-синие рейтузы и белый свитер с красными полосками, а голову его прикрывала синяя шапочка с белой помпошкой.

Молодая женщина села рядом с толстой теткой, а малыш садиться не захотел. Он беспокойно поглядывал то в окно вагона, то на пассажиров.

— Скорее, скорее, — вдруг заговорил он, — пароход отплывает.

— Не пароход, — сказал ему кто-то, — а поезд.

— Это по правде поезд, — живо отозвался малыш, — а понарошку пароход.

Все с любопытством посмотрели на малыша, а одна женщина — в руке у нее был портфель — сказала:

— И верно, пароход. Мы плывем по реке. А на берегах-то смотри сколько земляники!

Поезд в это время тронулся, стал набирать скорость.

— Земляники много, — согласился малыш. — И красная есть. Только мы очень быстро плывем. А вы, — обратился он к толстой тетке, — крепче держите свой спасательный круг. — Малыш показал на баранки. — А то, может, кто упадет в воду.

— Какой же это круг? Это баранки, — принялась растолковывать толстая тетка. — Понимаешь?

— Понимаю. По правде это баранки, а понарошку — спасательный круг.

В вагоне засмеялись. Толстая тетка вначале сердито поджала губы, а потом тоже улыбнулась.

— А я все же сорвала несколько земляничин, — сказала женщина с портфелем. — На вот, возьми... — И она протянула малышу пустую ладонь.

Малыш подставил свою ладошку, и женщина «насыпала» ему земляники.

— Какая вкусная! — объявил малыш, «попробовав» несколько ягод. — И вы попробуйте. — Он повернулся к толстой тетке.

Та неловко «взяла» с ладони в кулак ягоды и «куснула», будто пол-огурца отхватила.

Все опять засмеялись, а громче всех тетка, что сидела рядом со мной.

— Вкусно, — проговорила толстая тетка, почавкав.

— Ой, — сказала женщина с портфелем, — какой-то утенок возле парохода! Давайте чуть повернем.

Малыш внимательно посмотрел на пол.

— Это не утенок, — сказал он. — Это морской цыпленок. Он всюду за мной ходит.

В вагоне раздался новый взрыв смеха.

Глаза у полковника стали голубыми, и он спросил:

— Ты, наверное, в детский сад ходишь, да?

— Нет, я хожу в пятый класс.

— Ну? — удивилась тетка с баранками.

— Понарошку, — уточнил малыш.

— А как тебя зовут? — опять спросил полковник.

— Меня зовут Алешка. — Малыш обвел всех взглядом. — Но это тоже понарошку. А по правде меня зовут Аленушка.

И тут вагон забился в истерику: моя соседка хохотала со взвизгиванием, полковник беззвучно тряся, тетка с баранками вытирала слезы кулаком.

— На-ка возьми. — Я протянул Аленушке свою гвоздику.

— Спасибо! — сказала девочка и, понюхав мой цветок, добавила: — Как пахнет!

Аленка и ее мать вскоре вышли, а пассажиры еще долго переглядывались и улыбались.

И я подумал: это понарошку пассажиры были такие притихшие и мрачные, а по правде-то все они приятные и веселые люди. И еще я был доволен, что моя гвоздика попала в руки к такой чудной девчонке.

Электропоезд сделал круг, и я снова оказался на «Комсомольской».

Когда я выходил из метро, я вдруг почувствовал в себе какую-то неожиданную легкость, будто и не сидела во мне проклятая обида, будто перестала она ныть. И дышать стало свободнее.

«Это понарошку все у меня было так плохо, — ска-

зал я себе, — а по правде ничего страшного. Не пропадать же из-за девятой колонны. Обойдусь я и без Танек с Витальками».

Поезд двинулся так плавно, что я не заметил бы этого, если б не поплыла назад платформа вместе со всеми провожающими. Они кричали, махали руками, посылали воздушные поцелуи.

Шумная платформа быстро улетела прочь, и за окном теперь замелькали дома, краны и заводские трубы.

Рядом со мной возле окна стал пожилой седоволосый мужчина. Он щелкнул зажигалкой, закурил, сказал:

— Что, сосед, гостить едешь?

— Да нет, уже нагостился.

— Значит, домой, — не то спросил, не то сказал утвердительно седой мужчина.

— Ага, — ответил я. — В Уярск.

— Уярск — город красивый, — он затянулся сигареткой, — старинный.

Мне почему-то показалось, что он не бывал в Уярске, а просто говорит известное всем. Наверное, скучно стало, вот он и хочет перекинуться несколькими словами. Вообще-то я не люблю такие беседы, но сейчас мне тоже захотелось с кем-нибудь поговорить.

— Старинный, — согласился я, — даже очень.

— В гостях хорошо, а дома лучше, — изрек седой.

— Конечно лучше, — поддержал его я. — Какое сравнение!

Так и стояли мы у окна, ведя этот неторопливый и «умный» разговор.

А Москва удалялась, удалялась... Башни высотных домов почти скрылись, растаяли в серой дымке.

Из репродукторов неслась веселая музыка. Она словно бы и меня наполняла своей веселостью.

Я что-то отвечал своему спутнику, а сам думал: «Ничего. Я еще побываю в Москве. Обязательно побываю. И все будет хорошо. Ну конечно, хорошо».

И вдруг — я даже вздрогнул — в вагон ворвались знакомые звуки трубы:

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!..

«Неаполитанская песенка»!.. Та самая, которой Силин проел нам все печенки. Та самая, которая выво-

дила нас из себя... Та самая, которую я проклинал вместе со всеми... Та самая...

До чего же ты милая, родная песенка! Как это здорово, что ты появилась! Как будто я уже в Уярске. В своем дворе.

Я даже закрыл глаза, чтобы представить наш двор. Ну конечно, это играет Силин. А сейчас я увижу Костика, и он споет:

Дорогая моя баб...ка,
Поиграй ты мне на скрип...ке...

МОЙ ДРУГ ГЛЕБ ТРАВУШКИН

Плохое забываешь, хорошее остается в памяти. Не знаю, как у других, но у меня так.

Теперь, когда я встречаюсь с Таней, мы лишь здороваемся: «Приветик!» — «Привет!» Вот и все. Ведь не спрашивать же, как там прошли в Москве гастроли или где, мол, вы еще побывали с Виталькой.

Нет, я не был на нее зол. И досады не испытывал никакой. Все, что я чувствовал прежде, как-то отодвинулось в сторону, почти исчезло.

Мне теперь становится неловко, если я встречаю Таню. Лучше бы таких случайных встреч не было совсем: говорить нам не о чем, не говорить — тоже какое-то дурацкое положение. Но мы живем в одном дворе, поэтому иногда встречаемся: «Привет!» — «Приветик!»

Хорошее остается в памяти... А что было хорошего? Сразу, пожалуй, не скажешь. Но что-то было. Конечно, было: «кусочек морского дна», и опера, на которую я прошел без билета; и «Таня+Эдик» на стене, и даже драка с Чикиряем... Да что вспоминать! Много было хорошего. Все начиналось очень хорошо. Одна только ее улыбка, чуть заметная, лишь уголками губ, как она много для меня значила! А теперь: «Приветик!» — «Привет!» И ступай себе мимо, как сказал Некрасов.

Разобраться в этом мне было трудно, и я рассказал обо всем новому другу Глебу Травушкину, тому самому, у которого узкая лошадиная голова и большие крепкие зубы.

С Глебом мы теперь видимся каждый день. Он или заходит ко мне домой, или ждет во дворе. Мама сказала, что голова у него вовсе не лошадиная и что я на-

прасно все это выдумал. «Не лошадиная? — удивился я. — А какая же?» — «А у тебя какая?» Я даже растерялся. «У меня нормальная». — «Ты уверен?» — спросила мама. «Уверен». — «А я не очень». Тут мне все стало понятно. «Ты не думай, — сказал я, — я его не дразню. Но голова...» — «Тоже нормальная, — перебила меня мама. — А лицо очень приятное». — «Почему?» — «Открытое и мужественное — вот почему».

Вообще-то лично мне его лицо даже нравится, хоть оно и узкое и вытянутое. Наверное, потому, что сам Глеб нравится. Но мужественное — вот уж никогда бы не подумал. Только это неважно: все равно ведь Глеб — мой настоящий друг. Интересно, а какое лицо у меня? Я не удержался и спросил у мамы. «Подойди к зеркалу, — сказала она, — увидишь сам». К зеркалу я, конечно, не пошел, тем более при маме. А жаль, она не сказала: интересно бы узнать. Может, и у меня мужественное, только не говорит она это в «педагогических целях» (ее любимые слова).

И вот однажды, гуляя с Глебом по улицам, я выложил ему про меня и Таню. И как это начиналось, и как кончилось.

— Чепуха на постном масле, — растолковал мне Глеб. — Еще древние греки открыли: все течет и все изменяется. Ты меня пол?

— Пол, — кивнул я.

— Жизнь не стоит. Она движется...

«Он будет академиком, — подумал я. — Надо же, так шпарит!» А Глеб продолжал развивать свою мысль.

— Сегодня ты схватил пару, но завтра подучил — и фьють!.. — он присвистнул, — ставят тебе пентух. Или наоборот.

— Или наоборот, — вздохнул я.

— Ты в Москве новую «Волгу» видел?

— Нет.

— Смотри вон тогда. — Он показал рукой. — Хорошо идет, а?

— В порядке. И форма современная.

— А главное — техника. Я недавно читал...

— Я тоже. Прибавили бы силенок.

— При ее весе зачем?

Хоть мне и хотелось поспорить, но я смолчал. Он был прав. С другим я бы все равно поспорил. Только не с Глебом. В машинах он толк знал. Я это еще тогда заметил, возле «мустанга».

Чтобы интересный разговор у нас не кончился, я сказал:

— Да, со старой «Волгой» ее не сравнишь.

— Вот видишь, они правы.

— Кто?

Глеб улыбнулся:

— Древние греки.

С чего это он? Ему про Фому, а он про Ерему.

— Все течет... — пояснил Глеб. — Раньше нам та «Волга» нравилась, теперь другая. Ты «Мужчину и женщину» смотрел?

Я слышал, как девчонки нахваливали эту картину. Она была из тех, на которую до шестнадцати лет не пускают. Но девчонки знали, когда и куда идти (на утренний сеанс в кинотеатр, что подальше от центра). Нет, я не старался посмотреть «Мужчину и женщину». «Какая-нибудь слезливая мура про любовь», — решил я. Жаль, что Глеб перескочил на эту тему. Не стоило говорить ему о Тане: сейчас начнет сравнивать.

— Я, знаешь, Глеб, на такие дамские фильмы не хожу.

— Дамские? — изумился Глеб.

— Конечно, всякая там слезливость.

— Какая слезливость?

— Любовная, какая же еще.

— Да ты что! — захохотал Глеб. (А точнее сказать — заржал, как лошадь.)

Я смотрел на его здоровенные зубы, и мне тоже стало смешно.

— Это фильм про автомобильные гонки, — пояснил Глеб насмеявшись. — А машины там — будь спок!

— Там разве не про любовь?

— Немножко и про любовь, — подумав, согласился Глеб. — Но прежде всего гонки.

— Тогда нужно сбегать.

— Я с тобой тоже. Пять раз смотрел, но это ничего. Айда?

«Странно, — думал я. — Таня мне про этот фильм все уши прожужжала, музыку из него выучила, а про гонки ни слова. Нет, что ни говори — чудной народ девчонки. А Таня особенно».

Ах, эта фуражка!

Маленький, слегка блестящий козырек и верх из

какого-то заменителя под кожу. Края у фуражки не круглые, а угловатые, как бы чуть-чуть подрубленные. Сверху она скорее всего напоминает большущую гайку, только без дырки. Чего бы мы с Глебом не отдали за такую фуражку! Но ее нигде не купишь, ее носят только таксисты.

Шарыгин не таксист. Но он тоже шофер, тоже лихой парень, хотя возит всего-навсего декорации из мастерских в театр. И обратно — из театра в мастерские. А таксистскую фуражку достал ему Чеп, его дружок, который работает в таксопарке.

Шарыгин умеет носить свою фуражку. Он чуть сдвигает ее к правому уху, а из-под козырька слегка выпускает курчавую прядку волос. Прядка, правда, рыжая, но это неважно, все равно он отличный парень, наш Витька Шарыгин. И он не жмот: попросишь примерить фуражку — пожалуйста.

Вы спросите, отчего я вдруг заговорил о Шарыгине и его фуражке? Это так, к случаю.

Просто мы с Глебом стояли возле шарыгинского грузовика, посматривали на Витькину фуражку, болтали о том о сем и поджидали других ребят.

Сегодня воскресенье. Сегодня не идти в школу. Это уже само по себе неплохо. А еще мы ждали этот день потому, что сегодня наш двор озеленяется. Мы едем в лес, выкапываем несколько деревьев и сажаем их во дворе.

Дело совсем немудреное, проще пареной репы. Но почему-то такая мысль никому в голову не приходила. Додумался до этого Виталькин отец Петр Сергеевич. Месяц тому назад было общее собрание жильцов. Вот там-то и выступил Петр Сергеевич и предложил озеленить двор. Комендант нашего дома сказал, что это очень правильно и даже похвально, но для озеленения нет средств. «Не предусмотрено», — пояснил он. Тогда говорят, поднялся с места дядя Вася. Он сказал, что все можно сделать своими руками, была бы лишь машина, а желающие съездить в лес найдутся. «За бесплатно?» — усомнился комендант. И тут стали поднимать руки те, кто согласен был работать «за бесплатно». Даже старик поднял руку — Танин дед. «Ну что ж, — проговорил комендант, — народу, вижу, навалом. А машина? Может, и две понадобятся...» Слово тогда попросил Шарыгин. Он сказал, что, если общественность нажмет на завгара, будет машина, хоть две.

Общественность (то есть наши мамы и папы) была понятливой. Она «нажала» вначале на дирекцию театра, а дирекция — на завгара. Завгар такого нажима не выдержал и согласился. «Смотри, — сказал он Шарыгину, — машины под твою ответственность».

А потом мы помогли взрослым выбирать места для деревьев и копать ямы. Руководил всеми комендант. Только и слышалось: «Павлик велел», «Павлик не велел», «Павлик согласился». Да, я забыл сказать, что коменданта зовут Павликом. Ему лет сорок пять, и он лысый и многодетный дядька, но все равно его все зовут Павликом. Так уж повелось.

Работа кипела. Павлика слушались. Только вот когда прокурор Петр Сергеевич взялся за лопату, Павлик сказал: «Напрасно беспокоитесь: народу-то вон сколько», — и слегка потянул лопату на себя. Он думал, что Петр Сергеевич тут же отдаст лопату и уйдет домой. Но Виталькин отец почему-то смутился и проговорил: «Ничего, ничего. Я поработаю». Лопату он не отпустил, а растерянно оглянулся на стоящих рядом. Павлик тут и вовсе осмелел, прямо рвет лопату из рук: «Позвольте, Петр Сергеевич, позвольте». Со стороны эта борьба за лопату казалась очень смешной. Лысый приземистый Павлик топчется, суетится возле высокого и крупного Петра Сергеевича. «Позвольте, Петр Сергеевич... Негоже вам таким занятием заниматься». Виталькин отец вдруг покраснел да как гаркнет: «А ну отойдите!» Павлик нескладно отскочил на несколько шагов, пожал плечами: «Извините. — говорит, — я как лучше хотел... Как лучше...» Петр Сергеевич выкопал яму до конца, воткнул лопату в кучу свежей земли, сказал: «Если в воскресенье поедете, позовите меня», — и ушел. По-моему, он правильный мужик, Петр Сергеевич. Хоть с его сыном мы почти враги, но Виталька — это одно, а Петр Сергеевич — совсем другое.

Виталька, правда, тоже копал. Но он взял лопату, когда увидел, что из своего подъезда вышла Таня. Может, это просто совпало? Как знать! С некоторых пор я думаю о нем только плохое. Конечно, так нельзя. Так никуда не годится. Но поделать с этим я ничего не могу.

Три дня тому назад Диман предложил: «Ребя, а давай и мы поедем за деревьями, Взрослые на одной машине, а мы на другой». Пошли к Павлику. Павлик сказал: «Идите отседова. Вам в игрушки играть, а

у меня мероприятие идет». Диман хитро взглянул на нас и спокойненько так проговорил: «Ладно, ребя, идемте к Петру Сергеевичу». — «Это зачем?» — остановил нас комендант. «По делу», — уклончиво ответил Диман. «Черт с вами, получите свою машину, — сказал в сердцах Павлик. — Только вы этот манер бросьте, — он постучал по столу пальцем, — чуть что жалитесь». — «Бросим, — обрадовались мы. — Спасибо, дядь Паша».

Он вообще-то добрый, Павлик. Образования у него, говорят, почти никакого, зато работающий: зимой, когда снегу навалит, он трудится вместе с дворниками, орудует и лопатой, и скребком, и ломом. А вон в соседнем доме у коменданта (опять же говорят!) высшее образование. Но во дворе грязь, пыль и «сплошная безобразия», как выражается наш Павлик.

И вот сейчас мы с Глебом стоим, любуемся фуражкой Витьки Шарыгина и ждем ребят. Нас везет Шарыгин, а на другой машине едут взрослые.

Теперь вы спросите: а при чем тут Глеб, ведь озеленяют не его двор, а мой?

Все очень просто. Глеб — мой друг, мы с ним всегда вместе.

— Вить, дай Глебу померить фуражку, — говорю я.

— Бери.

Ну и чудён в ней Глеб! А доволен! Улыбается. Показывает свои громадные зубы. Но сама фуражка!.. Небольшой козырек, уголки по краям верха... Ах, эта фуражка!

Когда машина приехала в лес и Витька Шарыгин заглушил двигатель, мы попрыгали на землю, покрытую осенними листьями, и на какое-то время замерли, приглядываясь и прислушиваясь.

В дороге нас растрясло, и было не очень-то интересно сидеть почти полтора часа в крытом кузове, словно взаперти. Правда, мы горланили песни, но это вначале, а потом поднадоело.

И вдруг мы очутились на просторной поляне. Над головой синее небо, и в придорожных лужах отражается небо, а по сторонам, куда ни посмотри, молчаливо и сонно стоят деревья с голыми ветками. Лишь кое-где чудом уцелели последние желтые листья. Они светились, вспыхивали под солнцем, будто искры.

В лесу стояла тишина: ветра не было, а все живое куда-то разбежалось, разлетелось, попряталось.

Но вот донеслось тарахтение мотора — на поляну выехала вторая машина. Это был тоже грузовик, только открытый. Он остановился неподалеку от нас, и из него стали выбираться родители.

Мы прибежали к ним и закидали советами: какую ногу ставить на колесо, как держаться за борт, куда и как прыгать.

Галдеж этот то утихал, то разгорался вновь.

Последним прыгал Виталькин отец. В линялой, простенькой гимнастерке он казался помолодевшим. Едва он подошел к борту, как мы опять закричали. А Павлик протянул обе руки, словно собирался поймать Петра Сергеевича. Если б он и в самом деле прыгнул на протянутые комендантские руки, от Павлика, очевидно, осталось бы мокрое место. Но Павлик тем не менее тянул руки и приговаривал:

— Прошу, Петр Сергеевич, прошу...

Виталькин отец вдруг как-то неожиданно оттолкнулся одной рукой от борта и при всей своей громоздкости легко перемахнул через коменданта. Павлик смеялся. По-моему, он закрыл глаза.

— Вот и все, — сказал Петр Сергеевич и ударил несколько раз ладонью о ладонь. — Все в сборе? Тогда идемте.

Мы подхватили лопаты и отправились.

Я шел вместе с Глебом и дядей Васей. Вначале я пошел было рядом с отцом, но он меня сразу же спросил, не забыл ли я дома свой бутерброд.

— Нет, — буркнул я и поспешил отойти в сторону: ведь через некоторое время он непременно поинтересуется, съел ли я свой бутерброд, или скажет, чтобы я застегнул пуговицы на куртке, или потребует, чтобы я вынул из кармана шарф и прикрыл горло.

Я, конечно, понимал, что он выполняет поручения мамы, но от этого мне было не легче.

Дядя Вася прихватил с собой этюдник и штатив, который называл «ногами».

— Опоздали, дядя Вася, — сказал я, вспомнив левитановскую картину, — осень уже не золотая, лес плохой, весь осыпался.

Я думал, дядя Вася мне поддакнет, и Глеб тогда увидит, что я запросто разговариваю с художником на такие специальные темы.

Но дядя Вася сказал:

— Лес плохим не бывает. Ты посмотри, — он появился, провел рукой, — хорошо ведь, а?..

Ну какой же я кретин! Только что стоял и сам любовался, а теперь захотелось показать: вот, мол, как-ов я, вот как во всем разбираюсь!

Я разозлился на себя и ничего не ответил. Но дяде Васе, наверное, и не нужен был мой ответ. Он шел, внимательно всматриваясь то в одну сторону, то в другую, и, казалось, забыл про меня и Глеба.

А впереди нас вдруг появились Виталька с Таней. Я стал смотреть на них. Виталька держал за ремешок свой фотоаппарат, слегка помахивал им и рассказывал что-то смешное: Таня то и дело заливалась.

Она шла чуть склонив голову. На плечах у нее красовалась незнакомая мне серо-голубая куртка. Куртка блестяла и была прострочена ромбами.

Тане простительно: она девчонка. А вот зачем Виталька напялил на себя новенькие синие джинсы? Вообще-то джинсы — вещь! И наклейка на заднем кармане мне тоже нравится (уверен, что моя мама сразу же бы ее отпоролла). Но ведь сегодня будем возиться с землей, перепачкаемся.

Глеб словно прочитал мои мысли.

— Вырядились, — сказал он, кивнув на Витальку и Таню.

— Подумаешь! Нам-то какое дело. — Я срезал ножом прутик и, насвистывая, принялся старательно его обстругивать.

Уж что-что, а насвистывать я умею. Я выбрал песню из кинофильма «Тишина». Ту самую, где есть слова:

...Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят...

Отличная песня. Когда слышу ее по радио, даже как-то жутко делается. С самых первых звуков. Лишь только начинает играть труба.

Глеб мне подсвистывал. И мы чувствовали, что готовы броситься друг за друга в огонь и воду. И смутная тревога уже сейчас кралась за нами следом.

Не знаю, слышали ли нас Виталька и Таня. Может, слышали, а может, и нет. Потому что в лесу уже было шумно: трещали сучья под ногами, кто-то пел песню, только совсем другую, не нашу.

Уйти подальше в лес мы не смогли. Впереди оказался крутой, глубокий овраг. Его решили не обходить: кругом вполне хватало и деревьев и кустов.

Павлик пересчитал все лопаты и просил не забывать их в лесу, не то, мол, «кому сплошная удовольствие, а кому — плати из своего кармана». Павлика живо успокоили и тут же принялись за дело. Нужно было выкопать шесть молоденьких березок и четыре рябинки.

Работали мы втроем: дядя Вася, я и Глеб. Мы кричали, кричали и чертыхались, а над нами вздрагивала, ожидая своей участи, пугливая березка.

Не подумайте, что выкопать дерево — пара пустяков. Пока подроешь все корни, семь потов сойдет. К тому же мне лопата попалась тупая и рукоятка из нее все время выскакивала.

Потом мы с Глебом приподняли и понесли березку, а дядя Вася — три лопаты: они были полегче, а он здорово устал.

Когда мы вышли на поляну, увидели Витальку и Таню: они тоже несли деревце и уже подходили к машине, но их березка была намного меньше нашей, ее можно было без труда нести одному. Вслед за ними шел Диман — тащил три лопаты.

Возле машины Виталька поставил березку, и Таня взялась за нее правой рукой, в левую руку он сунул ей лопату, после чего отбежал на несколько шагов, вынул фотоаппарат и стал наводить на фокус.

К Тане подошел Диман и спросил:

— А мне можно?

— Пожалуйста, — сказала Таня.

Виталька сделал шаг влево, посмотрел в аппарат, потом шагнул вправо, снова посмотрел, затем чуть продвинулся вперед и, опять же посмотрев, сказал:

— Диман, ты не вступишь в кадр. Понимаешь?

— Понимаю, — смущенно улыбнулся Диман, хотя было видно, что он ничего не понял.

— Так что ты отойди, — пояснил ему Виталька.

— Зачем?

— Ну сказали же — не вступишь!

— А чтоб войти, нужно выйти. Понимаешь? — не сдержался я.

На этот раз Диман все понял и, обиженно поджав губы, отошел.

— А ты не вмешивайся, — сказал мне Виталька, — без вшивых обойдемся.

— А по шее? — проговорил я.

— Что — по шее? — спросил Виталька.

— Без этого ты, кажется, не обойдешься. — И я пошел на него. Вместе со мной пошел Глеб.

— Двое на одного? — начал отступать Виталька.

— Нет, — сказал Глеб, — я только посмотреть. В случае чего, помогу тебе подняться.

— Ребята!.. Ребята!.. А ну, перестаньте! — подошел к ним дядя Вася.

Виталька и Таня ушли. Появившийся откуда-то Павлик сосчитал лопаты, взглянул на деревья и похвалил:

— Молодцы! Теперь гуляйте.

Мы с Глебом вызвались было еще сходить за березкой, но комендант не разрешил.

— Делов на всех хватит. Вы свое сделали. — Он собрал лопаты и сердито добавил: — Кому сказал, гуляйте!

Тогда мы отправились гулять. Ходили-ходили по лесу и вышли к оврагу.

Мы пошли вдоль края. Заглядывали вниз, сбрасывали туда камни и смотрели, как они падают, кувыркаясь, почти по отвесной стене оврага, сбивая по пути другие камни и поднимая фонтанчики пыли.

Хорошо было бы, конечно, спуститься. Но сделать это мы не могли: слишком уж круто уходили вниз стены. Да и уступов никаких не было видно. Полезешь — наверняка загремишь.

Иногда край обрыва нависал над пропастью острым выступом. На одном из них, возле дерева, мы увидели дядю Васю. Рядом с ним стоял, растопырив ноги, штатив.

Дядя Вася держал в руке палитру и смешивал краски. Поколдовав немного над ними, он наносил мазок, потом, взглянув куда-то через овраг, будто хватал тюбики, выдавливал из них и снова начинал лихорадочно смешивать краски.

Нас дядя Вася не видел.

— Подойдем, — сказал я.

— Не помешаем?

Я удивился:

— Чем же мы помешаем?

— Смотри, как торопится.

Меня все же тянуло подойти и посмотреть, а еще мне хотелось, чтобы Глеб лишний раз убедился, какие мы приятели с дядей Васей, поэтому я сказал:

— Ничего, не на поезд опаздывает. Идем!

Совсем близко уже был дядя Вася, когда я вдруг заметил, как недовольная, досадливая гримаса появилась на его лице. Причиной были не мы, нас он по-прежнему не видел. Просто у него что-то не получилось, и он вновь и вновь поглядывал все в ту же сторону, через овраг, и хватался за тюбики с красками.

Мы остановились.

И что он так спешил? Ведь действительно не на поезд. Я стал смотреть туда, куда поглядывал дядя Вася. За оврагом небольшое поле с пожухлой травой и черный лес. Нет, не совсем черный: зеленым островком выделялись сосны. А над лесом солнце. Оно висит низко. Оно большое и красное. На него можно смотреть. И облака снизу тоже красные. Будто солнце их подожгло. А повыше они желтеют, еще выше теряют понемногу свет и становятся синевато-серыми.

Мне очень захотелось посмотреть, как нарисовал это дядя Вася, и я шагнул несколько раз, но опять остановился.

— Ты что? — спросил Глеб.

— Тихо, — шепнул я, — подожди.

— Ага, — тоже прошептал Глеб.

Почему мы перешли на шепот и почему не решились приблизиться к дяде Васе, наверно, мы и сами не понимали. Но то, что подходить не нужно и нельзя, мы поняли одновременно, в один какой-то миг.

И я снова принялся смотреть на лес, и на солнце, и на облака. Внизу они уже не горели, не поджаривались, а затухали, густели. И сверху облака тоже изменились — потяжелели, стали темно-синими и фиолетовыми.

— Идем. — Я коснулся Глебовой руки, и он, ни о чем не спрашивая, повернул назад.

Уходили мы осторожно. Раза два оглянулись. Дядя Вася нас не заметил.

Мы сделали крюк и снова выбрались к оврагу.

Солнца не было видно. Оно спряталось за дальним лесом. Облака висели черные, мрачные. Лишь

внизу, на самом доньшке, еле проглядывал еще чуть теплый розовый свет.

Теперь мы не сбрасывали вниз камни, а тихо шли тропинкой, что вилась по самому краю. В одном месте мы наконец нашли спуск. Это был не настоящий спуск. Но стена здесь казалась не такой уж крутой, и из нее выступали крупные камни, на них можно было бы стать ногой.

Но мы решили отказаться от этой затеи: пока спустишься да поднимешься, кто знает, сколько пройдет времени. А потом возле машин все раскричатся: мол, мы вас давно ждем, беспокоимся, совесть нужно иметь, и прочей чепухи наговорят, даже тошно станет. Лучше не связываться. Приедем в следующее воскресенье сами и тогда уж весь овраг облазим.

Мы прошли еще метров двадцать, и крутизна снова была такой, что захватывало дух, стоило лишь посмотреть вниз.

Мы как раз говорили о том, что нужно будет хватить длинную веревку, если приедем сюда, как вдруг Глеб замер на месте:

— Гляди!

Я взглянул, куда он показывал, и тоже стал как вкопанный.

«Слабонервных просим закрыть глаза!» — слышал я где-то такое выражение.

Таня!..

Она стояла на камне, который торчал из отвесной стены обрыва. Над ее головой на самом краю был пень, из которого, как щупальца из осьминога, тянулись вниз корни.

Стройненькая, в своей блестящей куртке и эластичных брючках, она стояла, держась за корни, и улыбалась, как улыбается циркачка, расхаживая по проволоке.

Ее фотографировал Виталька. Он стоял на краю обрыва, над Таней, метрах в трех от пня-осьминога. Пока он целился в нее из своего аппарата, сердце мое нехорошо заколотилось.

— Голову чуть левее! — кричал Виталька. — Порядок... Повернись больше в мою сторону...

— Так? — спросила Таня.

И камень под ее ногами пошатнулся и рухнул.

С криком Таня соскользнула вниз, но успела перехватить корни и повисла на руках.

Мы бросились к ней.

Виталька подскочил раньше. Он лег на край обрыва и протянул руку, и Таня схватилась за нее правой рукой. Но вытянуть Таню у Витальки не хватало сил.

— Пусти, — заговорил он, задыхаясь, — упадем вместе... Пусти... я сбегаю за Шарыгиным... он рядом.

Таня отпустила его руку и опять схватилась за корень.

Виталька приподнялся и побежал, крича:

— Шарыгин!.. Шарыгин!..

А мы уже были возле пня.

— Держись, — сказал я и тоже лег, как Виталька.

И Таня опять схватилась за руку, на этот раз за мою руку, и я подтянул ее немного. Совсем немного. Чуть-чуть.

— Я не могу, — выдохнула Таня.

Я понимал, что она слабеет, под ногами у нее не было никакой опоры. Но что я мог сделать?

— Держись, — говорил я, — держись... — А в глазах туманилось от слез.

И тогда через край обрыва переметнулся Глеб.

Перехватывая руками другой корень, он спустился пониже Тани и подставил ей свои плечи.

Теперь он подтягивался кверху, а я продолжал тащить Таню за руку.

Вот показалась ее голова. Вот Таня легла животом на край обрыва.

В висках у меня раздавались удары. Я ничего не мог сказать.

Таня молча смотрела в одну точку. Рот ее был открыт. Она тяжело дышала.

Сзади слышались крики Витьки Шарыгина. Он бежал. Топот его приближался. Я ощущал его так же, как удары в висках.

И тут я услышал другое. За Таниной спиной раздался треск. Зацокали, зашелестели мелкие камешки. Глухо ударились...

— Глеб! — крикнул я.

Шарыгин оттащил Таню и глянул через край.

— Глеб! — крикнул Шарыгин. Помолчал. И совсем тихо проговорил: — Глеб...

Я хожу к нему в больницу. У него перелом ноги и двух ребер.

Он неподвижно лежит в гипсе, но не киснет, а всегда улыбается, показывает свои здоровенные зубы.

— Глеб, — говорю я, — ты герой. Про тебя в газете хотят написать.

— Иди ты!

— Чтoб мне лопнуть! — говорю я. — Во двор журналистка приходила. Материал собирает.

— Трепач! — смеется Глеб.

— Не веришь — не надо, — обижаюсь я. — Тебе интервью давать, не мне. Подготовился бы.

А лицо у него все же не мужественное. Мама тогда, видно, нарочно сказала. Только при чем лицо?..

За окном уже снег. На дворе белым-бело.

— Съездим туда на лыжах, ага? — говорит Глеб.

— Хочешь вторую ногу сломать?

— Знал бы ты, как я на лыжах хожу. Будь спок!

— Посмотрим.

Я еще не говорил ему про шарыгинский подарок. Витька передал мне для Глеба свою фуражку. Ту самую, таксистскую. Но я отдам ему, когда будет выходить из больницы. Вот обрадуется! А сейчас что давать: все равно не разрешат лежать в ней.

Сегодня я пришел к Глебу, смотрю: у него Таня.

— Приветик! — кивнул я ей.

— Привет! — Она поднялась со стула. — Желаю тебе, Глеб, поскорее выздороветь.

— Посидела бы еще. — Глеб чуть заметно подмигнул мне.

— У нас завтра контрольная... — замялась Таня.

— Пусть идет, — сказал я, — а то пару схватит.

— До свидания. — И она пошла к двери.

С Виталькой я ее теперь не встречаю. А вообще-то, какое мне дело?

Вчера, правда, возвращался вечером и захотелось мне взглянуть на «кусочек морского дна» — на ее зеленое окно. Я слепил снежок, а потом подошел, задрал голову — зеленое окно было темным.

«Нет дома, — подумал я. — Жаль: снежки сегодня хорошо лепятся». Я запустил снежок в стенку. Он разлетелся во все стороны белыми брызгами.

Даже хорошо, что ее нет дома. А то бы выглянула, увидела меня. Потом бы при встрече остановилась, спросила: «Ты что кидаешься?» А что бы я ей ответил?

ЮРОК И НАСТАСЬЯ

Повесть





БОМБА

Опять этот жуткий свист!

Настя затыкала уши. Нет, никуда от него не денешься. Он ширился, нарастал, вонзался в сердце. Сейчас ударит гром. И дрогнет земля. И накроется все чернотой... Но взрыва не было. Настя подолгу так сидела с зажатыми ушами. Потом отнимала кулаки.

Снова и снова чудилось ей, вот уж который день подряд, что на нее падает бомба. И все повторится: грохот, и короткий вскрик матери, и стоны контуженой тети Ксюши...

А было так. Когда немцы принялись бомбить Никольское, мать с Настей и тетя Ксюша кинулись к огороду, где была вырыта яма, в которой они уже не раз прятались. Окопчики или ямы были в селе у каждого. Это считалось надежнее, чем отсиживаться в подвале. Во-первых, немец будет целить по домам (зачем ему огород?), а во-вторых, прятаться в подполе опасно: не дай бог что — завалит обломками, не выберешься. И вот когда они сидели в яме, совсем над головой завыла бомба. Взрывом тряхнуло землю, и Насте показалось, что внутри у нее все перевернулось.

— Никак в наш дом, — услышала она голос матери сквозь новый свист и вжала голову в плечи.

А мать не утерпела — выглянула. В это время опять гроыхнуло, да посильнее прежнего. Мать крикнула, повалилась на тетю Ксюшу, и Настя, лежащая под низом, сразу почувствовала, как ее придавило ко дну ямы.

Первая бомба упала за огородами возле оврага, там занимала позицию противотанковая батарея. Вторая ухнула совсем близко — в саду — повырывала яблони, разнесла бревенчатый сарай. Одно из бревен, описав дугу, отлетело к яме. Всей своей тяжестью оно ударило в голову матери.

Настю вытащили из ямы отступавшие красноармейцы — слышали ее плач. Мать была уже бездыханной. Тетя Ксюша потеряла слух.

В тот день в село вошли немцы.

ШОКОЛАД И ОКУРКИ

Никольское стояло на пересечении двух дорог, и темно-серые танки с разводами и крестами в белой окантовке, не задерживаясь, двинулись дальше. Потом по главной улице долго двигалась на грузовиках и пешком серо-зеленая масса солдат. Случалось, войска размещались в селе на несколько часов или на сутки, чтобы передохнуть.

Солдаты были веселы. Громко переговаривались, смеялись, играли на губных гармошках, фотографировались. Они никого не трогали; кур, правда, перестреляли и пообрывали яблоки в садах. Напившись, орали песни.

В доме у Сыромятниковых тоже останавливались немцы. Пробовали заговаривать с Настей на ломаном русском языке, иной раз улыбались, но она боялась их, молчала, смотрела исподлобья. Один немец, белобрысый с голубыми глазами, достал плитку шоколада — она была в круглой картонной коробочке, — отломил кусок, протянул.

— Ты, — сказал он, кивнув Насте, — тебе... брать... — И пояснил, видя ее замешательство. — Без рубли... брать...

Настя отродясь не видела такого шоколада, но понимала, что немец что-то ей предлагал. Зачем? Ей ничего от него не нужно. Они все враги, а прикидываются добрыми. С ними воюет отец, их бомбой убило мать.

— Тебе, тебе, — уверял голубоглазый Настю.

Но она, сжавшись, отступила на шаг.

Немец посерьезнел, обернулся к своим.

— Какая глупая! — сказал он солдатам. — До чего запугана большевиками. Боятся, что шоколад отравленный. — Он убрал отломанный кусок назад в коробочку, сунул ее в ранец.

Неуютно было немцам у Сыромятниковых. Девочка дичилась, тете Ксюше тоже ничего не скажешь: она полностью оглохла после той бомбы. Видя, что спрашивать у женщины бесполезно, немцы начинали хозяйничать сами. Дом, где раньше все блистало чистотой, теперь был завален всяким хламом и мусором, на столе — объедки и грязная посуда. Из горшков с геранью торчали окурки сигарет, затоптанный пол тоже был густо ими усеян. Кровати стояли неприбранными, со скомканным серым бельем.

Насте и тете Ксюше не хотелось теперь даже заходить в дом. Спали они на сеновале.

— Русские свиньи, — говорили каждый раз новые пришельцы, оглядывая комнаты. — Какая грязь!

Когда фронт отодвинулся, в село прикатила на мотоциклах полевая жандармерия — начала наводить порядок и устанавливать власть.

АЙ ДА ФЕДЮХА!

Старостой на селе стал Федор Сивоконь. Раньше он одно время был в конторе счетоводом, со всякими бумагами дело имел, но что-то намухлевал, присвоил колхозные деньги, за что был посажен. Вернувшись, он устроился ночным сторожем, но работник был никудышный, по ночам спал на крыльце склада, запахнувшись в овчинный тулуп. Несколько раз так его и заставляли поутру — спящим, под ногами бутылка из-под вина. Незадолго до войны склад был ограблен. Вор проник через окно, подпилив ножовкой запор на ставнях, и унес десять пар сапог. Поговаривали, что не обошлось тут без самого Федьки. Началось было следствие. Федор от всего отпирался, твердил одно — мол, знать ничего не знаю, никого не видел.

— Как же так, — говорил прибывший к месту происшествия милиционер Сысоев, — вор битый час ножовкой орудовал, а ты ничего не слышал?

— Спал, — нагло заявил Сивоконь и улыбнулся, зыркнув на Сысоева желтым глазом. Была у Федора такая редкая особенность — разноглазье: один глаз желтоватый, как у петуха, второй — серый, линялый. — Был грех — уснул. С кем не случается.

— Вот и будешь отвечать.

— Я?! По какому закону? Тоже мне — нашли мальчика. Нет уж, — Сивоконь тарашил глаза, тряс головой, лицо налилось краской (разыгрывать психа был его излюбленный прием), — сперва докажите. Где доказательство?.. Дуриком хотите взять, на шермачка... Нет уж! Теперь дураков нет. Перевелись. А вы под меня не копайте. Сами свалитесь. Я вам... Я на вас напишу куда надо. — Он брызгал слюной, размахивал руками, потом вдруг высунул язык, сомкнул веки и свалился на пол.

Федора направили на экспертизу к психиатрам. Следствие затягивалось. А тут грянула война, и не до

Федьки уже было с его выпученными глазами и припадками. Отпустили, хотя никто не сомневался, что украденные сапоги — дело его рук.

И вот теперь этого Сивоконя назначили немцы старостой: грамотный — в конторе работал, обижен на Советскую власть, никольских жителей знает. Первое, что сделал староста, — перебрался из своей запущенной избенки в просторный, только что срубленный пятистенок бригадира Григорьева. Бригадир на третий день войны добровольно ушел на фронт. В новом доме оставалась жена Катерина с двумя ребятишками.

Не все обошлось гладко с переселением старосты на новую квартиру. Катя была женщиной бедовой и на язык острой. Сивоконь, зная это и не желая вступать с ней в излишние объяснения, решил схитрить. В конторе, где теперь размещался полицейский участок, он одним пальцем настучал на пишущей машинке нужную для себя бумагу. Содержание ее было таким:

«Согласно сему документу, жительнице села Никольское Григорьевой Е. П. надлежит освободить занимаемый ею дом в 24 часа, как жене бывшего бригадира-ударника, а ныне солдата Сергея Григорьева, воюющего против великой Германии».

В конце Сивоконь хотел было пометить: «Староста села Никольское» и расписаться. Но передумал, понес бумагу на подпись начальнику местной полиции Артюхину. Тот, пробежав глазами по листку, сразу все скумекал, криво улыбнулся, но подписал.

— С тебя, Федор, причитается.

— За мной не засохнет, — подмигнул Сивоконь. — Первым гостем на новоселье будешь.

— Ладно, — сказал Артюхин, — действуй!

«Теперь все законно», — радовался староста, направляясь с бумагой к дому Григорьевых: он хотел сам увидеть, как отнесется ко всему Катерина. Конечно, он мог линком открыть дверь и крикнуть: «Выметайтесь!» Но Сивоконь был еще неопытным старостой, решимости не хватало, да и хотел он управлять своими людьми «по-хорошему». Чтоб все как по маслу шло, без косых взглядов, без криков и ругани.

Подходя к дому, он лишний раз полюбовался добротными стенами, свежекрашеной крышей, высоким крыльцом. «Мое! — сладко екнуло сердце. — Ай да Федюха! Ай да Сивоконь!» Хотелось сразу по-хозяйски отворить дверь, но все же постучал.

— Вот ознакомься, Катерина, — сказал он с порога и протянул бумагу.

Катерина отошла от печи, куда только что поставила чугунок с картошкой, вытерла о полотенце руки, взяла листок.

— Да что же это, Федя... — проговорила она растерянно.

— Федор Степанович, — поправил староста.

Но она будто не слышала.

— Ты поговори там, Федя, в конторе...

— Не в конторе, а в полицейском участке. Была контора, да вся вышла. Так-то вот, Катерина.

— Да куда ж мне с ними... — она показала на смирно стоявших у окна сына и дочь. Мальчику было четыре года, девочке — шесть. — Сам знаешь, дом только что срубили, ты скажи там, кому надо...

Она по-прежнему видела в старосте Федюху — мужика непутевого, но не вредного, а главное, своего, не немца.

«Кончать надо разговор», — подумал Сивоконь.

— Куда, куда, — передразнил он. — Я почему знаю? Твое дело. Тебе бумагу прислали, не мне. — И тут пришла ему в голову мысль: а что, если поговорить с ней по-доброму, спокойно, так, чтоб сама поняла — против силы не попрешь, чего попусту на рожон лезть. — Хочешь, в мой дом перебирайся, — проговорил он, и по тому, как прикусила нижнюю губу Катерина, понял — зря он это сейчас сказал.

— К тебе? — произнесла она певуче-насмешливо. — Да на кой черт ты мне нужен. У меня муж есть. Или ты Сережу моего не знаешь?

Сивоконь нахмурился. Совсем не тот разговор у него получается.

— Ты мне тоже не нужна. Много о себе думаешь. А про мужика своего забудь. — Федор потер лысеющий затылок. — Я тебе вот что предлагаю: ты в мой дом переселишься, а я в твой, поняла? Немцы все равно тебя в таком пятистенке не оставят.

— Поняла, — тихо произнесла Катерина, разглядывая пришедшего к ней человека, будто **видела** его впервые, и вдруг взорвалась: — Вон отсюда! А ну — живо! Проваливай, червяк бумажный...

— Та-ак, — протянул Сивоконь, отступая к двери. — Ты что на меня орешь, дура. Я ж над тобой начальство.

— Плевать мне на такое начальство. Тьфу!

На лице у старосты выступили пятна, желтый петушиный глаз его нервно дернулся. Сивоконь был переполнен злобой, но в эту минуту он ничего сделать не мог. Катерина стояла перед ним крепкая, плотная. Тронь — не обрадуешься.

— Ну, падла, держись, — выругался староста и хлопнул дверью.

«Не так... Не так с ними нужно. Палкой, а не пряником. Лапоть!.. — бранил он себя. — Ничего, вы еще в ногах у меня повалаетесь. Сочтемся. Власть переменилась...»

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Вечером по дороге домой Сивоконь заглянул к бабке Васёне — у нее он иногда покупал самогонку. Сейчас у Федора денег не было, не успел еще разжиться на новом месте, но все же решил зайти, хотя знал, бабка в долг не дает.

— Нету, — сказала она, разводя руками. — Вчерась две последних бутылки полицаям отдала.

— Васена, — кашлянул Сивоконь, — ты знаешь, я заплачу. Вдвое заплачу. Выручи.

— Вдвое, ишь! — недоверчиво улыбнулась бабка, и темное лицо ее, сморщившись, стало похоже на усохшую грушу. — Откуда? — Но внезапно морщинки исчезли, словно кто спугнул их, и она спросила: — Люди брешут, будто тебя, Федя, старостой поставили, а?

— Федор Степанович, — заметил он и опять кашлянул, но на этот раз значительно, со смыслом.

— Надо-ть, — шамкнула бабка, уяснив для себя всю достоверность дошедшего до нее слуха. — Да ты садись, Федор Степанович, в ногах-то правды нет.

Сивоконь сел.

— Погодь малость, — сказала хозяйка. И куда-то ушла.

Появилась она с миской огурцов и граненым стаканом, наполненным мутной жидкостью.

— Вот, — поставила она это добро на стол. — Себе сберегла, а для гостя-то чего не жаль.

Сивоконь выпил, закусил огурцом.

— Да-а, — протянула Васена, — времена нынче... — и выжидательно замолчала.

Но гость не поддержал разговора. Сидел, задумавшись. Петушиный глаз его уставился в стакан.

— Принесла бы еще, — сказал наконец староста.

— Рада бы, да где взять. — Бабку все же брало сомнение: вдруг люди пустое мелют, а Федька-то и рад стараться. — Через два дня заходи, — сказала она, прикинув, что к тому сроку все прояснится окончательно.

Придя домой, Сивоконь поставил к расшатанному столу колченогую табуретку и сел, подпер подбородок рукой. Долго так сидел. Потом встал, огляделся. Да, незавидно он жил. На стене — грязные обои, под толком лампочка, засиженная мухами, без абажура, болтается на шнуре, по углам паутина. Из мебели — старый шкаф, у которого не закроешь покосившуюся дверцу, продавленный диван со стонущими пружинами, стол да эта вот колченогая.

Сивоконь со злостью пнул табуретку. Она ударилась о шкаф, раскололась. Из шкафа с полки упало несколько тарелок и блюдец. Замызганный пол покрылся белыми осколками. Федор забежал по комнате, яростно давя их каблуками. Эх, да что там — бей, круши все!

Он подскочил к шкафу, дернул полку — посыпалась остальная посуда. И разве это посуда — с отбитыми краями и трещинами?! Не ее же нести в новый дом. Там у Катерины небось сервиз имеется.

Федор наслаждался, слушая, как хрустят под ногами осколки. Все!.. Но жажда громить, топтать не проходила. А это что — стакан на подоконнике? И его туда же! Р-раз об пол! Не пригодится. У Катерины рюмочки есть разных калибров, сам видел — за стеклом стоят, посверкивают.

Стой!.. А вообще что ему нужно из этого хлама? Ничего. Ровным счетом ничего.

Он метнулся в сени за топором. Вбежал, тяжело дыша. Желтый глаз горел огнем. На миг Сивоконь остановился. С чего начать? Ага — шкаф! Хрясть топором. Сочно лопнула боковая доска, и топор ушел в пустоту.

— А-а! — взвыл Федор. Пальцы в кровь зашиблись о край расщепленной доски.

Пытаясь выдернуть топор, он пнул шкаф ногой, и тот развалился с треском, похожим на жалкий стариковский вскрик. В мелкие щепы изрубил он шкаф и ошалело поднял голову. Ага — стол! Шарах по нему топором, шарах... И от стола гора щепы.

Никогда в жизни с такой охотой и так ненасытно не работал Сивоконь.

А теперь... Он опять побежал в сени, вернулся с керосиновой лампой. Отвинтил пробочку, поплескал везде керосином.

Ничего ему тут не нужно, ничего.

Федор достал коробок, чиркнул спичкой. Языки огня побежали по полу, по дивану, по груди щепок. Федор отошел к порогу. Ах, как жадно все захватывает огонь! Вот уже и стены загорелись. Сивоконь хотел было выскочить за дверь и вдруг замер. Господи! На стене-то портрет матери — фотография под стеклом в рамочке. И смотрит на него. С пронзительной грустью смотрит. Как же не заметил, забыл снять, а? Сгорит... Он шагнул вперед, но надвинувшийся жар и огонь заставили его отступить.

От подожженного дома он уходил торопливо, не оглядываясь. Гори все синим пламенем! По горло сыт он прежней жизнью в своей развалюхе. К черту все! С прошлым покончено, и дома этого, стоявшего на отшибе, больше не будет.

Но, поднявшись на взгорок, Сивоконь не выдержал, обернулся. Избушка, охваченная огнем, не выглядела жалкой и покосившейся. Сейчас она даже обрела какую-то красоту. Жуткую и трагическую, но красоту. Федор хотел идти дальше, а ноги как приросли, и не мог он оторвать взора от горящей избы.

Ночевать он пришел к бабке Васене. Она встретила его настороженно.

— Ты что, Федор Степанович, сказала ить, нету больше.

— Я у тебя заночую, — вымолвил он глухо.

— Чего-о? — удивилась бабка, а сама подумала: «Нет, не староста он. Стал бы староста просить у старухи ночлега».

— Дом у меня сгорел, — все тем же тяжелым голосом сказал Сивоконь.

— Да ты что, Федя? — всплеснула она руками. — Ты что говоришь-то...

— Дотла, — помолчав, произнес он.

— Как же? Аль поджог кто?

— Партизаны, — неожиданно для себя выпалил Сивоконь и мертвой хваткой вцепился в сказанное. — Партизаны, понимаешь. Ничего, немцы им за меня прижмут хвост. Увидишь.

«Точно — староста, — решила Васена, — а я-то ду-
реха...»

— Как же, как же, Федор Степанович, — засуети-
лась она, — понятное дело, прижмут. А ты, верно, за-
ночуй у меня. Хошь, на печке тебе постелю, хошь — на
лежанке.

На следующий день все село знало про сгоревшую
избу старосты. Немцы выставили охрану возле тех до-
мов, где остановились.

Сивоконь напускал на себя мрачный вид, старался
вышагивать степенно, первый ни с кем не заговаривал.
Уже одно то, что он пострадал от партизан, выделя-
ло его.

— Надо ж! — провожали его взглядами. — Федь-
ка-то...

Лишь в полицейском участке узколицый, желчный
Артюхин заметил, слегка ухмыльнувшись:

— Сам-то цел остался и ладно. Остальное прило-
жится. Сегодня вселяешься?

— Угу, — кивнул Сивоконь. — Только это... Вместе
бы нам подойти.

— Не хочешь один на один с Катериной? — напря-
мик спросил Артюхин.

— Дак ведь... — помялся Сивоконь, потирая шишко-
ватый лоб, — для порядка бы...

— Ладно, сходим, — махнул рукой Артюхин. —
И немцев с собой прихватим... Для порядка.

Через два часа возле дома Григорьевых остано-
вились два мотоцикла с колясками. Во двор вошли нем-
цы и Артюхин. Староста остался сидеть в коляске —
ждал.

Он слышал крики, шум, плач. Затем видел, как же-
ну бригадира с детьми вытолкнули на улицу.

У Катерины было разбито лицо. Чтобы не встретить-
ся с ней взглядом, Сивоконь отвернулся.

— Ну вот, — сказал ему Артюхин, подмигнув, —
заходи в свой дом.

ОТЕЦ И СЫН ГУРОВЫ

Шесть человек из отряда «Мстители», прижавшись
к стволам деревьев, то и дело замирали, напряган слух.
Каждый держал трехлинейную винтовку, лишь у одного
был трофейный автомат «шмайссер».

Командир группы — учитель Петр Николаевич нерв-

ничал: пора бы показаться грузовикам из Сысоевки, или немцы другой дорогой поехали? Столько прождать их тут — и зря?

— Мотор! — произносил иногда кто-нибудь из партизан.

Но вскоре все понимали: почудилось. Прислушиваться еще мешал ветер, трепавший листву на берегах и осинах. Он дул и дул как назло.

Уйти же отсюда, покинуть эту часть дороги, которая на короткое время ныряла здесь в пролесок, было нельзя: неподалеку в зарослях орешника стояли две пустые подводы — на них после захвата грузовиков партизаны собирались доставить продукты для отряда.

О том, что немцы через день развозят по окрестным гарнизонам продовольствие, сообщил сысоевский связной — старик Гуров. Рассказал он и подробности: утром приезжают две крытых брезентом машины, их частично разгружают, а затем после обеда они отправляются дальше — в Дубки. Добраться в Дубки можно двумя дорогами, но немцы едут этой: она хоть и длиннее, да лучше, меньше колдобин.

Когда доложили обо всем командиру отряда Берсеневу, тот приказал напасть на грузовики и доставить продовольствие в лес.

С Гуровым договорились так: как только машины приедут, он залезет на крышу своего дома — якобы будет ее ремонтировать. Партизаны увидят его в бинокль с края леса и устроят засаду.

Все было рассчитано и подготовлено. Уже были подпилены деревья — оставалось ударить топором по веревке, и они рухнули б на дорогу, преградив путь машинам.

Не знали партизаны лишь одного: старик их предал. Накануне к нему вернулся сын Игнат, дезертировавший из армии. Гуров растерялся, хотел было сначала спрятать сына в яме, но потом передумал: сколько ж его там держать, немцы-то вон как жмут, того гляди Москву захватят, а там и войне конец. Не гнить же ему всю жизнь в яме.

— Может, с партизанами тебя свести? — неуверенно предложил Гуров сыну.

— Не, отец. Я по лесам во как нагулялся. Будет. Уж лучше вместе с немцами...

— Тише!.. — испугался старик. — Что, сдурел?! От партизан пулю получить хочешь?

— А то у немцев нет их, пуль-то. Небось поболее. Старик вздрогнул и после недолгих размышлений повел его к властям с повинной, а заодно рассказал о своем уговоре с партизанами.

— Игнат мой — парень толковый, — нахваливал Гуров сына, — не пьяница, всегда при деле. А на фронт пошел — так призвали, сам не просился. И воевать-то он не воевал, а все за баранкой. Шофер он, не стрелок...

Немцы больше интересовались не Игнатом, а партизанами.

Обер-лейтенант Штрекер дважды требовал, чтобы старик говорил обо всем подробно. Слушал очень внимательно, переспрашивал, уточняя кое-какие детали. Затем отпустил, сказав, что Гурову дадут награду тысячу рублей, а сына возьмут на службу в полицию.

— Спасибо, — отвесил поклон Гуров и толкнул сына, чтобы и тот поклонился.

Они ушли. Штрекер тут же схватил телефонную трубку, стал звонить начальству.

— Вот и порядок, — говорил Гуров сыну, — пристроился.

Но не успел Игнат рассмотреть на себе толком черную форму с серыми обшлагами, как за ним пришел солдат.

— Ком, — сказал он и мотнул головой к двери.

— Чего это он? — Игнат взглянул на отца.

Старик пожал плечами.

— Иди, коли велят.

Потом солдат показал старику наверх и, улыбнувшись, произнес:

— Бум, бум, бум... — При этом он сделал жесты, словно стучал молотком.

— Понятно, — сказал Гуров и полез на крышу.

Через час Игнат уже крутил баранку первого из двух грузовиков, которые направлялись, как всегда, к Дубкам. Только везли они теперь не хлеб и не ящики с консервами. Под брезентовой крышей в машинах сидели автоматчики.

Куда они ехали, зачем — Игнат не знал. Ему лишь кивнули на дорогу да велели двигаться не спеша. И он вел машину, пока перед ним в пролеске не упало на дорогу дерево. В тот же миг автоматная очередь полоснула по кабине. Игнат почувствовал, как ударило его в грудь, нестерпимо обжигая и выворачивая все внутри.

Крикнуть уже не хватило сил. Почему-то накренилась дорога, и деревья, и кусты...

Партизанская пуля сразила его насмерть.

ОТХОД

— Стой!.. Назад! — закричал Воробьев своим людям, когда увидел, как из машин посыпались, стреляя на ходу, автоматчики.

Но пока партизаны остановились, пока вскинули винтовки, огненные струи уже настигли троих. «Как же так?» — задыхаясь от ярости и бессилия, спрашивал себя Воробьев и, прижавшись к дереву, бил, бил из винтовки по накатывающейся цепи гитлеровцев.

— Отходи, командир, отходи, — кричал Моргунок, кудрявый светловолосый парень, — прикрою.

Воробьев швырнул «лимонку» в гущу серых фигур.

И третий из оставшихся партизан — длиннорукий Федот тоже в это время бросил гранату. Два взрыва один за другим разметали переднюю цепь.

У Моргунка с прошлой недели был «шмайссер», и он ловко научился им действовать — хорошо стрелял и прицельно и навскидку «от живота», как немцы. Сейчас он строчил, все время перемещаясь в кустах, и гитлеровцы считали поэтому, что партизан гораздо больше.

В сущности, только автомат Моргунок и сдерживал наступающих. Да еще гранаты помогали. Но их было мало: по две-три у каждого.

Немцам все же пришлось залечь. Партизаны, воспользовавшись этим, спешно отходили к лесу.

При последней перебежке — вот он уже близко, рукой подать, настоящий дремучий спасительный лес — Воробьева ранило. Пуля, вошедшая в бок, задела легкое. Захрипев, командир споткнулся, упал.

Моргунок кинулся к нему в открытую, не пригибаясь — рядом шмелями загудели пули, — подхватил под руки, потащил к лесу.

— Потерпи, Петр Николаевич, потерпи. Мы сейчас... Сейчас...

А что — сейчас? Воробьев терял сознание. Струйка крови текла у него изо рта.

Гитлеровцы уже близко. Перестали стрелять, хотели взять живьем.

— Рус, сдавайся!

Длиннорукий Федот метнул в них последнюю грана-

ту, немцы попадали на землю. У Моргунка не было сил тащить раненого. Обливаясь потом, он все же донес Воробьева до первых кустов, вставил новый рожок в «шмайссер», и автомат его опять заработал, изрыгая треск, огонь, смерть.

Сунуться в лес фашисты не решились. Они долго еще обстреливали окраинные кусты и деревья, но партизаны ушли, унося с собой Воробьева, в котором еле теплилась жизнь.

«МИША... МИША...»

Тук... тук... тук...

В лесу стучал дятел. Он был где-то неподалеку от партизанских землянок. Юрка постарался найти его глазами, не удалось. Надо же так спрятаться. Ведь совсем рядом. «Вот отец все равно бы тебя разыскал», — подумал Юрка.

И опять стало ему тревожно на душе. Он всегда очень беспокоился, если отец уходил на задание. Хоть и часто такое случалось — отец руководил одной из групп отряда, — но никак Юрка не мог к этому привыкнуть.

Ему не говорили, куда и зачем уходят партизаны. Считали, мал еще. Повариха тетя Вера звала его ласково Воробушек, старалась подсунуть лишний кусочек, налить погуще. Юрка хмурился, а она: «Ешь, ешь, Воробушек. Тебе расти». Партизаны смеялись: «Точно, Воробушек, вырастай в воробья — командиром сделаем». Его бы и в отряд не взяли б, если не отец.

Когда фронт приблизился, Петра Николаевича вызвали в райком, предложили остаться в тылу. Воробьев был на хорошем счету, активист, здоровьем, правда, не мог похвастать, из-за этого и перебрался из Брянска в отдаленный лесной район («Воздух — лучшее лекарство», — говаривал Петр Николаевич). В райкоме Воробьев коротко ответил:

— Хорошо. Останусь.

— Мы так и думали, — секретарь пожал ему руку. — Командиром отряда будет наш работник Георгий Сергеевич Берсенев. Вы его знаете.

— Знаю, — кивнул Петр Николаевич.

— Когда уходить в лес — сообщим. Вопросы есть?

— Есть, — ответил Воробьев. — Одно меня беспокоит — сын Юрка. Ему зимой будет четырнадцать. На

кого оставить, не представляю. Живем мы с ним вдвоем. Жена умерла.

— Да, да, нам это известно. Сына эвакуируем с детским домом.

— Когда?

— Сообщим. Пока не могу сказать: не решено. Дело у нас вот так. Все охватить не успеваем. Я уж которую ночь в кабинете ночую. Вон в том углу стелю матрас. Телефон — возле головы. Два, три часа поспишь — значит, повезло. — Секретарь натужно улыбнулся.

С эвакуацией детдома дело затянулось. То ожидали какие-то документы, то не могли подобрать сопровождающих, то не было вагонов. Но вот детей посадили в теплушки.

— Прощай, Юрок! — обнял отец сына. — Что бы ни было, будь честным и добрым. Не гнись ни перед кем. Ну... слезы лить не будем. Ты ж у меня мужчина... Прощай.

Поезд медленно набирал скорость. Юрка, стоя в проеме широко раздвинутой двери, махал ему рукой. Отец шел по платформе, замедляя шаг. Остановился. И вдруг что-то сжало Юрке горло, а в глазах расплылось, и уже не только отца он не мог различить, но и вся толпа, заполнившая перрон, слилась в какую-то непонятную массу, где нельзя было видеть ни лиц, ни людей с их чемоданами и узлами.

— Папка!.. — крикнул он сдавленно.

Тощая воспитательница со строгим лицом (Юрка сразу прозвал ее Воблой) крепко взяла его за руку:

— Мальчик, упадешь.

Только что отец говорил ему «мужчина», а она — «мальчик». И стало ему совсем нехорошо. Ушел он в темный угол теплушки, сел на свой чемодан. У воспитательницы в этом же вагоне ехал сын Миша. Он был моложе Юры года на два. «Вот и плавала бы вокруг него, — досадливо подумал Юрка, — а то будет во все нос совать. Приставучая, видно».

Поезд отмахал километров семьдесят, когда на него налетели «юнкеры». Юрка их не видел, он только услышал надвигающийся гул. Рванули первые бомбы, и никто не понял, в чем дело. Гром, что ли? Но вот поезд словно со всего хода налетел на стену. Теплушку так потрянуло, что все попадали друг на друга.

Воспитательница кинулась было к двери, но тут ударил новый взрыв, и дверь откатилась сама. Юрка, по-

винуясь какому-то нечеловеческому инстинкту, метнулся к проему.

— Куда! — дико закричала воспитательница.

Свист бомбы вдавил Юрку в канаву, что была за насыпью. Удар!.. И все под Юркой разверзлось... А сверху сыпался песок, летели куски земли, щебень.

Когда он приподнялся, самолетов уже не было. Горели некоторые вагоны, паровоз лежал на боку. Под ним растекалась вода, с шипением откуда-то выходил пар. Вся железная машина казалась теперь огромным поверженным чудовищем. Теплушка, в которой он ехал, тоже перевернулась. Возле нее были красноармейцы — вытаскивали ребят. Юрка сунулся, но его не пустили.

Вдруг он заметил неподалеку воспитательницу. Она сидела на земле, смотрела на него. «Сейчас влетит», — подумал Юрка. Широко раскрытые глаза ее были какими-то застывшими, очень спокойными, тонкие губы вздрагивали:

— Миша, — сказала она ему изменившимся, но ровным голосом, — ты иди в школу, опоздаешь. — Попыталась встать, ноги у нее подкашивались. — Дай я тебя почищу, подойди...

Это было самым страшным. Страшнее, чем стоны ребят и чем тела убитых, накрытые шинелями.

Юрка повернулся, медленно побрел вдоль разбитого поезда.

— Мальчик, ты куда? — крикнула ему воспитательница из другой группы.

Он не ответил. Только шел и шел. Застывшие глаза со стеклянным блеском стояли перед ним. И глухой голос, как из подземелья, обращался к нему: «Миша... Миша...»

До дому Юрка добирался двое суток. Где он спал (спал ли?) и что ел, он не мог после вспомнить. Он шел как в бреду. Лишь когда увидел перед собой знакомую дверь с табличкой «Воробьевы», он очнулся и надавил на кнопку звонка.

— Ты?.. — изумленно смотрел на него Петр Николаевич.

— Папка... — больше он не в силах был ничего произнести. Припал к отцу.

А через полтора часа Воробьевы уходили в лес с партизанским отрядом (ему дали название «Мстители»). Вернее, шел Петр Николаевич, а Юрка идти не

мог. Он спал в одной из четырех телег, на которых везли оружие, боеприпасы, продовольствие.

— Мальчишку-то зачем взяли? — спросил кто-то из партизан. — На телеге кататься?

Ему не ответили. Говорить не хотелось: каждый думал о своем. Только в душе у всех сидела занозой одинаковая боль — тяжело было оставлять родное.

Впереди был долгий путь. В лесу предстояло разбить лагерь, вырыть землянки, расставить посты.

ОБИДЕЛСЯ

Тук... тук... тук... Стучал дятел.

Юрке вспомнилось, как они с отцом пришли в лес — это было в конце апреля — и тоже слышали дятла. Юрка был тогда хмур и отправился в лес без охоты.

— Слышишь? — сказал отец.

— Что?

— Дятел.

Они замерли. Но ожидаемого стука — размеренного и однообразного — Юрка не услышал. В тишине, нарушаемой лишь пением птиц, зато вдруг раздался резкий короткий треск — словно быстро провели палкой по ребрам штакетника. Та-та-та-та-та...

— Что это? — спросил Юрка.

— Я же говорю — дятел. Так они стучат весной — токуют. А когда выискивают себе корм в стволе дерева, стучат совсем по-другому.

Петр Николаевич родился и рос не в городе, как его сын, а в деревне, лес любил и знал.

— А хочешь, послушаем, как токует бекас. Вот за рощей заболоченная низинка. Там наверняка бекасы есть.

И они пошли. А едва миновали рощу, как послышалось блеяние барашка. Воробьев-младший огляделся, но никого не увидел. И вдруг опять прямо над ним: бэ-э-э. Юрка запрокинул голову — вверх летала кругами маленькая птица, иногда она как бы срывалась вниз, и в это время раздавалось блеяние.

— Бекас, — сказал отец. — Ишь резвится!

— И так кричит?

— Это не крик. Когда бекас летит вниз, раздвигает на хвосте перья. Они режут воздух, колеблются, и возникает такой звук. Махни прутом — ты услышишь

свист. А перья у бекаса дрожат, один звук накладывается на другой — отсюда и блеяние.

— Интересно, — проговорил Юрка.

Он и не заметил, как прошла у него обида на отца. А разобиделся он вот из-за чего.

Шестой класс, в котором учился Юрка и в котором преподавал математику Петр Николаевич, сбежал с урока. Правда, к звонку на этот урок — а он был последним — Петр Николаевич не появился. Более того, директор знал, что математик заболел, поэтому в соседнем пятом классе урок Воробьева заменили на другой. Собирались так сделать и в шестом, но Юрий сказал, что отец придет (Петр Николаевич хотел получше подготовить шестиклассников к четвертной контрольной работе) и просил передать это директору.

До школы учитель добрался с трудом — он плохо себя чувствовал, — опоздал на пять минут. Открыл дверь класса, а там пусто. Всем это сошло с рук, но Воробьеву-младшему снизили оценку по дисциплине. Так настоял Петр Николаевич.

— За что? — кипятился Юрка. — Будто я хуже других.

— В данном случае — хуже.

— Почему?

— Потому что ребята могли не знать, что я всегда сдерживаю свое слово, а ты знаешь.

Юрка потупил голову.

— Все уходили. Если б я остался, меня бы называли «папенькиным сынком»: думаешь, приятно? Так ведь сперва и говорили, когда мы сюда приехали. Ты знаешь.

— Знаю. Но потом же перестали, увидели, что я к тебе справедлив — и отметки не завышаю, и спрашиваю строго, без поблажек. Я понимаю, ты не хотел противопоставить себя всем. Смалодушничал.

— Я?.. — Юрка так и взвился.

— Конечно. Иногда бывает: все неправы, а прав один. Ему трудно убедить остальных, но он должен попытаться это сделать.

— Легко сказать.

— Остался бы — тебя ж за это после уважали бы.

— Если б ты не был моим отцом. А так и получается — «папенькин».

— Зря стесняешься правильных отношений с отцом. Ложный стыд.

Разговор на этом закончился, но Юрка все же чувствовал обиду.

И вот сейчас в отряде, вспоминая ту довоенную жизнь и тот случай, Юрка ругал себя. Ну и пусть называли бы «папенькиным». Он же любит отца и гордится им.

Лишь бы отец поскорей возвращался с задания.

СКАЖИ МНЕ, ДЯТЕЛ

А дятел все стучал: тук... тук... тук...

Юрка отошел от землянки.

— Ты куда? — спросила тетя Вера.

— Дятла посмотреть.

— Что его смотреть? Посиди со мной. — А сама подумала: да разве усидишь, волнуется мальчик, отец-то не по грибы пошел.

Все же разыскал Юрка дятла. Он оказался пестрый, с красной макушкой, как и тот, который тогда токовал, быстро-быстро стуча клювом. После он видел с отцом и других дятлов — зеленого и большого черного. «Лесные лекари», — называл их отец.

— Дятел, дятел, — сказал ему Юрка, — может, ты тот самый? Ты не улетай далеко. Завтра я покажу тебя отцу.

Но когда же отец вернется? Конечно, он должен вернуться, пока светло. Иначе по темноте лошадь в лесу не пройдет. Одна прошла бы, а вот с груженой телегой...

Юрка знал, что лошадей берегли. Их осталось три. Одну пристрелили: она провалилась ночью в яму, сломала ногу. Отец не допустил бы, чтоб такое случилось и с этой лошастью.

...Что-то скрипнуло — не колесо ли?.. Нет. Почудилось.

Юрка вернулся к тете Вере.

— Придут, — сказала она беззаботно, — куда денутся.

Но она переиграла со своим беззаботным тоном. Юрка уловил это, и стало ему еще муторнее. Смеркается уже, а группы все нет.

«Спросить бы у командира, — думал он. — Георгий Сергеевич знает, когда придет отец. Конечно, могут и задержаться на задании. Но примерно-то знает». Юрка вздохнул. Только как командир посмотрит на это?

Скажет: «Да, взяли мы тебя в отряд, а зря. Не дорос ты еще до партизанской жизни. Разве не знаешь, что спрашивать о таких вещах нельзя. Все задания — это военная тайна?» — «Знаю», — ответит Юрка. «Чего ж ты тогда?» — усмехнется Берсеньев.

Командиру в отряде не просто подчинялись — его любили. Вместе с ним каждый чувствовал себя как за каменной стеной. Да и внешне он походил на крепость — широкоплечий с крупной головой, волевым подбородком. Его уверенности и выдержки хватало на всех. Он был немногословен, говорил прямо, без обиняков, самую суть. Иногда шутил, но коротко, без булды. С подчиненными держался ровно, терпеть не мог пустых поддакиваний, хорошо играл в шахматы, громко подтягивал, когда пели, хотя слух у него был неважный («Медведь на ухо наступил», — говорил он о себе). Партизаны между собой называли его Жора.

Уже не видно было той сосны, на которой Юрка приметил днем дятла. Она слилась с другими деревьями в густеющем мраке.

— Ложись спать, — сказала тетя Вера. — Завтра увидишь отца. Утро вечера мудренее.

Он лег, но долго не мог уснуть, прислушивался, ворочался с боку на бок. Беспокойство давило его, отгоняло сон...

ПРОЩАНИЕ

Петра Николаевича доставили в лагерь в середине ночи. Он по-прежнему был без сознания. Моргунок и Федот валились от усталости. Лошадь и телегу они бросили. Вернуться к ней было опасно — можно нарваться на засаду.

Партизанский врач Седых кинулся к Воробьеву. Раненый потерял много крови, губы посинели, пульс еле прощупывался. На бревенчатом столе при свете коптилок Седых сделал ему несколько уколов, осмотрел рану.

— Как? — спросил Берсеньев.

Плечи у Седых опустились.

— Нужна кровь и условия для операции.

— Кровь? — переспросил командир отряда.

Седых его понял. Берсеньев первый бы предложил взять у него кровь для учителя.

— Да, кровь. — И пояснил: — Но определенной группы. Тогда еще, может быть...

— Сделайте все возможное, — приказал Берсенев и ушел, чтобы выслушать Моргунка и Федота.

Через некоторое время Петр Николаевич открыл глаза.

— Командира... — выдохнул он еле слышно.

— Не надо, — проговорил врач. — Моргунок обо всем доложит.

— Командира, — повторил Петр Николаевич, — и Юрку.

— Юрку-то зачем? Пусть спит. Утром увидите.

— До утра не дожить... — и попросил: — Скорее...

— Хорошо. Сейчас придут.

Первым прибежал Юрка. Бросился к отцу.

— Осторожно! — предупредил врач. — Петр Николаевич ранен.

Можно было не говорить. В обострившемся лице Петра Николаевича ни кровинки, щеки как провалились.

— Папка... папка... Ты как?.. Больно, папка?..

Воробьев-старший чуть повернул голову, попытался улыбнуться, не получилось.

— Возьми... мою руку.

Юрка положил ладонь на отцовские пальцы. Они были холодные.

— Папка... пожалуйста, не... — слезы душили Юрку.

— Вытри слезы, Юрок... В тебе моя жизнь... моя кровь... ты продолжишь... за меня...

— Папка... пожалуйста.

— Держись...

Вошли командир отряда и начальник разведки Доронин.

Берсенев произнес своим громовым голосом:

— Ну что, Петр Николаевич, царапнуло? — Он хотел подбодрить раненого, но сразу понял: нет, ни к чему.

В наступившей тишине учитель прошептал:

— Ловушка... Это Гуров... Другого быть... не...

— Проверим, Петр Николаевич. Не беспокойся, — громыхнул голос Берсенева.

Дыханье у Воробьева сбивалось. Он перевел глаза на сына.

— Юрок... тебе помогут... ты не один... Юрок... Поцелуй меня... и не плачь... Будь мужчиной...

Утром Петра Николаевича похоронили. Могила ему вырыли под сосной, на которой Юрка видел дятла.

Для прощанья с Воробьевым выстроился весь отряд.

Прогредел залп. Срезанная пулей ветка упала на могилу.

НАЗАД ПУТИ НЕТ

Игнат, скошенный очередью Моргунка, лежал на боку в кабине. Все сиденье и пол были залиты липкой кровью. Одна рука осталась на руле — пальцы сжали баранку, и со стороны можно было подумать, что водитель просто на миг наклонился, но вот-вот выпрямится и заведет мотор.

Немцы подтащили к машинам своих убитых — их было девять — и по приказу офицера занесли всех в один кузов.

Офицер — лейтенант Хубе — был удручен. Он думал, что майор Крафт устроит ему нагоняй: такие потери, и все впустую, не захватили ни одного партизана. Конечно, распекал подчиненных — это не то, что самому сунуться в лес. Майор привык только сливки снимать с этой грязи и крови, а черную работу приходится выполнять ему, Хубе. Ко всему же лейтенант в этом бою с партизанами был ранен. В общем-то ерунда — пуля перебила мизинец. Но Хубе считал, что он недурно играет на пианино (он не профессионал, разумеется, но все же), и вот теперь с музицированием придется распрощаться. Ладно бы еще эта проклятая пуля покалечила ему руку где-нибудь в Париже или Амстердаме. (Можно было бы посожалеть среди друзей, показывая кривой мизинец: «Париж лишил меня возможности сыграть вам Баха, господи».) Но потерять палец тут, в дыре, в схватке с бандитами...

Открыли дверцу переднего грузовика. Голова Игната сразу же запрокинулась через край сиденья, и он, подавшись всем телом, чуть не вывалился из кабины, но рука, сжимающая руль, удержала его.

Немцы дернули новоиспеченного полиция посильнее, и тот рухнул наземь возле колеса.

— Что с ним делать? — спросили у лейтенанта.

— Пусть лежит, — Хубе морщился от боли, палец нестерпимо дергал. — По машинам! И скорей поехали.

Заревели моторы. Грузовики развернулись и двинули в обратный путь.

Когда старик Гуров пришел к полицаям спрашивать насчет сына, ему сказали:

— Там он, в лесу.

— Где? — переспросил Гуров и почувствовал, как внутри у него все сковало.

— Иди по дороге — увидишь.

Не заглядывая домой, Гуров тяжело пошел к лесу.

Сколько раз шагал он по этому пути, знакомому до мелочей. Знал он здесь каждый бугорок, каждую выбоинку. Помнил любой камень на обочине, куст или дерево.

Вот эту березу на повороте помнил маленькой — кудрявая была, веселенькая. Тогда и сам он был мальцом — в лес по ягоды мимо той березки бегал. Потом вытянулась она, зимой на нее смотришь издали — ровненькая, стройная, как свеча в церкви. Бывало тетеревов на ней видел, сидят на верхушке, хвост у каждого, как усы закрученные. Жалел, что ружья с собой не брал, да все равно близко не подпустили бы. Годы шли, раздалась береза, округлилась, кора на ней огрубела, потрескалась. Ездил мимо нее старик и на санях, и на телеге. Случалось, летом ложился в ее тень передохнуть, если жара замаривала. И с Игнатом под ней располагался, когда с покоса шли. Сена нужно было для двух коров заготовить немало. Раньше косить ходили ближе. Потом, когда луга отошли к колхозу, Гуровы косили на окраинных лесных полянах. Уж сколько исходил-изъездил старик по этой дороге, сложи версты все вместе — до края земли доберешься.

А вон тот камень на взгорке — считай, с бочку сорокаведерную. Побился как-то Гуров об заклад с силачом Коляной, что тому слабо сдвинуть камень с места. Три бутылки вина выставлялось. И что же — пыхтел, пыхтел Коляна, на лбу от натуги чуть жила не лопнула, а все зря. Выиграл Гуров, вот так-то...

Но сейчас ни до чего было Гурову. Шел он как с пеленой на глазах, и ноги ступали словно не свои, словно ватные, не чувствовал он их. И дорогу не узнавал, и просто брел, загребая пыль сапогами и ощущая одну лишь тяжесть, пока не вошел в пролесок и не натолкнулся на сваленное поперек дороги дерево.

Старик как бы очнулся. Что за дерево — не грозой ведь? Кому понадобилось?.. И увидел Игната.

Сын лежал в нескольких шагах от него, уткнувшись лбом в землю. Ноги его были слегка подогнуты в коленях, одна рука вытянута и пальцы сжаты почти в кулак, будто собирался он что-то схватить.

Гуров даже не очень удивился, увидев его здесь. Хотел подойти — ноги совсем одеревенели. Кое-как все же приблизился он к Игнату. Сел рядом на землю. Повернул голову — непривычно холодную и тяжелую. Посиневшее лицо казалось чужим.

— Игнат, Игнат, — почти беззвучно прошептал старик. — Кто ж тебя?

Вопрос этот вырвался у Гурова так, без смысла, помимо воли. Старик не раздумывал, кто пристрелил Игната — немцы ли, свои. Он видел лишь одно: этот человек в черной форме с серыми обшлагами на рукавах, лежащий сейчас перед ним, — его сын. Был его сын. Не стало...

— Это я тебя... — прошептал Гуров. — Я...

Потом он подумал: закопать бы. Да как без лопаты. А за лопатой не дойти. Ноги не двигаются.

— Назад пути нету, — сказал он себе.

Через силу он оттащил Игната с дороги под ель. Потом поглядел наверх. Толстые сучья были невысоко.

Гуров снял с себя ремешок. Сделал петлю. Короткий конец получился — не привяжешь. Надвязать бы чем. Стянул ремень с Игната — надвязал. Подошел к стволу ели — а залезть как? Ноги, ноги-то не гнутся совсем.

Вспомнил: овраг рядом, пень на краю — с одного боку впился он корнями в землю, с другого толстые корни прямо над оврагом торчат.

Приковылял Гуров к оврагу. Конец ремня на корне закрепил. Лег рядом, головой в петлю влез и так вот, лежа, перевалялся через край оврага...

У СЫРОМЯТНИКОВЫХ

После того как староста выгнал Григорьевых из дому, они пришли к Сыромятниковым: Катерина была родственницей Настиному отцу.

Приоткрыв дверь и чуть подталкивая оробевших ребятшек, она проговорила с порога:

— Мы к вам... Пустите?

Настя шагнула навстречу.

— Теть Катя... Ой, что с вами? — Она увидела разбитое лицо.

— Мы не в гости, — напрямик сказала Катерина. — Жить к вам просимся.

— Правда?! — Настя впервые после долгих горьких дней улыбнулась. Дом казался мертвым. Тетка все время молчала, не с кем было словом перемолвиться.

— А то нет! — проговорила вошедшая. — Уж не до шуток. Вон как разукрасили.

— Немцы?

Катерина кивнула.

— Сивоконь теперь в моем доме.

— Федька?.. А вещи?

— Все там осталось. Выкинули нас на улицу и катись, как хочешь.

Настя опять ойкнула:

— Ой, тетя Катя... — И протянула руки малышам. — Антошка, Галя, идите ко мне.

С того дня зажили они все вместе.

Особенно была рада Настя четырехлетнему Антошке. Малышей она любила и раньше мечтала, что будет у нее маленький брат или сестренка. Но вон как все повернулось...

Антошка был упрямый и непоседливый, все время приставал к Насе с какой-нибудь ерундой, вечно путался под ногами, что-то ломал, ронял, опрокидывал, но это и нравилось Насе. Притихший было дом наполнился детскими голосами, смехом, писком, возней. Ожил дом, и Настя сама понемногу оттаивала, на короткое время забывала, что осталась одна без мамы и отца.

Галя — тоненькая, большеглазая, со светлыми косичками-хвостиками — была поспокойнее брата, к тому же понимала: не у себя живут, да и вообще — война.

Что такое «война», малыши понимали по-своему. Но главное им было ясно: война — это плохо. Ушел отец. Куда? На войну. Не стало конфет, сахару и других вкусных вещей. Почему? Война. Из своего дома перебрались. Зачем? Опять война.

Пуще всего наказывали Антошке и Гале не выходить со двора: в село пришел враг — «злые дядьки». Говорить с ними ни о чем нельзя. Про отца — ни в коем случае! Если во дворе появится кто чужой, подзовет — молчите, рта не открывайте.

— Все понятно? — заканчивала свои наставления Катерина.

Малыши кивали головами.

— Повторите, что я вам велела?

Старшая отвечала очень серьезно:

— Не говорить ни в коем случае.

Младший, подпрыгивая на одной ножке:

— Не открывать рот. — И спрашивал: — Мам, а злые дядьки когда уйдут?

— Уйдут, голубчик. Вот наступит время... — начала обстоятельно отвечать Катерина, но не сдерживалась: — Еще как уйдут!.. Если смогут ноги унести.

— А если не смогут? — спрашивала Галя.

— Ты-то помолчи. Большая уже, — спохватывалась мать. — Господи, что за жизнь!

А жилось трудно. Сидели на одной картошке, но и ее было недоволь. Тетя Ксюша запрягала в подвале два мешка так глубоко, что сама еле до них добиралась. Картошку иной раз меняли на что другое. Плохо было с одеждой. Для Катерины еще удавалось подобрать кое-какие вещи из оставшегося, хотя она была крупнее Настинной матери. А вот для детей ничего не было.

Настя советовала:

— Теть Катя, сходите домой, заберите что нужно. Детское-то Федька отдаст — зачем ему?

— Не могу, — вздыхала Катерина. — Как увижу его в своем доме — прибью гадину. Не совладать мне с собой. Хуже будет.

— Теть Катя, а давайте я к вам схожу, — предложила однажды Настя.

— Да ты что?! — взглянула на нее Катерина с удивлением, но, подумав, согласилась: — Перво-наперво забери зимнее: шубенки детские в шкафу — в нижнем ящике, шапки там же, платки, варежки, носки шерстяные. Все там лежит, нафталином пересыпано. Завернешь, значит, в простыню, в узел, а я тебя на улице буду ждать у колодца.

Они шли по улице не спеша. И чем ближе подходила к своему дому Катерина, тем еще медленнее двигались ее ноги, а сердце стучало сильнее.

— Погоди, — проговорила она, остановившись. — Я тебя здесь обожду.

— А сказали, у колодца.

— Нет. Ты ступай, а я здесь буду. Да, на чердаке

сундук — в нем обувь. Валеночки маленькие возьми. До колодца оставалось еще пять домов, и от него до Григорьевых столько же. Настя пошла одна.

ЛИСТОК ИЗ ТЕТРАДИ

Не могла знать она, что идет напрасно: Сивоконь расплачивался вещами Григорьевых с бабкой Васеной за самогон. В ход шли постельное белье, посуда, одежда, в том числе детская. Кроме того, Васена получала вещи от старосты и за то, что прибирала в доме. Правда, порядка хватало ненадолго. К старосте то и дело навещался Артюхин со своими полицаями, и после их пьянок в доме оставались замызганные полы, горы тарелок с объедками и стойкий сивушный дух. «В хлеву и то чище», — сокрушалась Васена.

Калитка оказалась незапертой, и Настя прошла во двор. Затем, поднявшись на крыльцо, постучала, но никто ей не ответил. Она толкнула дверь, и та легко отворилась. «Нет, что ль, никого? — подумала Настя. — Вот и хорошо».

Вошла — и напугалась. В комнате был погром, как после коротких солдатских постоев в те дни, когда через село катилась наступающая армия: все сдвинуто, свалено в кучу, на столе опрокинутые стаканы и бутылки. На кровати в верхней одежде и сапогах лежал человек. «Убитый», — ужаснулась Настя и замерла. Но тут же услышала ровное дыхание. «Спит».

Она выдвинула нижний ящик — пусто, лишь повеяло устоявшимся запахом нафталина. Дернула за ручку другого ящика — пусто, лишь какая-то бечевка валялась на дне. Посмотрела на полках шкафа — голо, хоть шаром покати.

Настя вспомнила про сундук на чердаке. Из сеней туда вела лестница. К счастью, сундук был нетронутым. Не догадался еще на чердаке порыскать Сивоконь. Из сундука Настя вынула несколько пар валенок — детские и большие, сапоги резиновые и кирзовые. Там же оказался и старый брезентовый плащ. Настя завернула в него всю обувь, спустилась в сени. И тут, спустившись, увидела в углу большой узел — что-то было увязано в клетчатую скатерть, а рядом валялся медвежонок. «Возьму, — подумала Настя. — Пусть будет игрушка у ребят». Она подобрала медве-

жонка. Он был лишь с одним глазом — оранжевой стеклянной бусинкой.

Настя так и зашагала по двору — в левой руке медвежонок, в правой — плащ с обувью, который она держала за связанные рукава. Шла торопливо: а вдруг Сивоконь проснется. Хоть и не ему все это принадлежало, а все же тревожно она сейчас себя чувствовала. Не встретить бы кого.

И только она об этом подумала, как скрипнула калитка, и во двор вошла Васена.

Бабка, ощутив тяжелым взглядом Настю и то, что она держала, сразу все поняла.

— Куды тащишь — твое, что ль? — зашипела Васена.

И в Насте — она и сама после удивлялась — вспыхнул вдруг какой-то яростный, ожегший ее огонь. Она тоже поняла, что за узел был в сенах. Ну, конечно же, не в дом Сивоконь что-то принес, а наоборот, приготовлено все для отдачи.

— А ваше?.. — зло выпалила она. — Ну-ка! — И, оттолкнув бабку, выскочила на улицу.

Васена, получив такой решительный отпор, подумала: Федька дал, видать, неспроста; видать, рассказала ему девчонка про чтой-то.

Но когда вошла в избу и увидела старосту, спящего мертвецким сном, ее досаде не было края.

— Собаку тебе надо, Федор Степанович, — было первым, что услышал Сивоконь, когда проснулся. — Чуешь?

— Что? — хмуро уставился он на бабку. Его мутило, и вступать в разговор он не хотел.

— Собаку, говорю, тебе надо. Не то — все растащат.

— Кто? — буркнул староста.

— Кто, кто — люди. Проспишь все — опять голым станешь. Я тебе собаку приведу, чтоб чужих во двор не пушала.

И точно — привела. Какой-то грязный пес непонятной породы стал бегать по двору и всех надрывно облаивать, пока его не пристрелил спяну кто-то из полицейских.

А вскоре бабка Васена перестала наведываться к Сивоконю. Конечно, добра в доме поубавилось настолько, что и позариться уже было не на что. Но главная причина заключалась в другом. Однажды появился на

калитке у старосты лист бумаги — из школьной тетради в клетку. Печатными буквами синим карандашом там было написано:

«Красная армия вернется.
Смерть немецким оккупантам
и полицаям!»

Подпись: «Партизаны».

Потом кто-то подставил (только другим карандашом) вторую букву «к» в слове «оккупанты».

Когда староста вернулся домой, поднял переполох. Сам Артюхин с другими полицаями приходил смотреть. На селе только и было разговоров про записку.

— Нет уж, Федька, — бормотала Васена, возвращаясь к себе, — ноги моей в твоём доме не будет. Ты — власть. Ты — ты одно дело, я — другое. Сам те перича перед партизанами отвечай.

А вскоре на заборах и на домах забелели другие листы — отпечатанные распоряжения властей. Расклеивал их сам староста. Местное население предупреждалось, что:

- 1) за предоставление ночлега партизанам,
- 2) за оказание им любого содействия виновные будут расстреляны, постройки их будут сожжены.

Читали люди эти листы, хмуро молча расходились. Но вот про небольшой листок, что висел несколько часов «на Федькиной калитке», помнили, говорили о нем потихоньку друг другу.

ШКОЛА НА ДОМУ

Учительница Лидия Федоровна видела все сама. Нет, не партизаны прикрепили тот листок, а девочка. Лидия Федоровна знала ее — Настя Сыромятникова, ученица пятого класса, прилежная, больше любит литературу и выразительно читает стихи, впечатлительная. Что еще? В математике не из лучших. Ладно, не столь важно. Да, прекрасно знает лес и животных. Ну, конечно, отец — егерь.

Лидия Федоровна помнила, как зимой ходили всем классом на лыжах, и Настя сразу за околицей показывала следы зайца: «Видите, здесь он быстро бежал, след растянулся. А вон там полегоньку прыгал: след коротенький, тесный». Потом, когда прошли дальше, она кивнула на ровный, будто цепочку на снегу положили, след: «Гляньте, лиса куда-то спешила». И кто-то доба-

вил: «По куриным делам». Все засмеялись. Затем слушали разных синиц — желтобоких и голубых, видели, как сновал по стволу дерева поползень, понаблюдали за трескучей сойкой и вдруг наткнулись на следы глубокие и размашистые. «Лось!» — сказала Настя.

Вспоминая все это, Лидия Федоровна улынулась. Какое было безмятежное, счастливое время. И вроде совсем недавно. Как все страшно переменилось.

Но что там прикрепила Настя на калитке? Лидия Федоровна подошла, прочитала. Оглянулась — никого. В кармане кофты у нее лежал карандаш (давняя привычка!), быстро достала, исправила на листке ошибку, пошла дальше.

И это прикосновение к ученической страничке, эта исправленная ошибка вдруг всколыхнули в Лидии Федоровне, казалось бы, уже утраченное, невозможное желание побыть среди ребят, говорить им, видеть, как они слушают, смотреть в их лица, в их глаза. Такие разные глаза — внимательные, рассеянные, простодушные, хитрые, открытые, озорные.

Нужно бы собирать ребят, думала она. Хотя бы понемножку. Пусть будет школа на дому. Нельзя, чтоб забывали.

Но Настя... Настя... Как неосторожно. А если б увидел кто другой. «Но и ты тоже хороша», — сказала она себе. — Исправила ошибку. Не удержалась. Любой посмотрит, поймет — кто ж еще, как не учительница. Вернуться — снять листок? Рука не поднимется...»

А через несколько дней она собрала у себя шестерых ребят. Все пятиклассники. По домам ходила не сама, чтобы лишний раз никому глаза не мозолить. Только к одному зашла, попросила позвать остальных, да еще предупредила — идите, мол, не гурьбой, а поодиночке.

К Насте с поручением учительницы заглянул Саша Корнеев, он жил от Сыромятниковых через два дома.

— Завтра учимся, — сказал он. — Два урока будет. Русский язык и естествознание...

— Как?.. В школе?

— Дома у Лидии Федоровны. К одиннадцати часам придешь. — Он взглянул на старенькие ходики на стене. — Поняла?.. Только никому. — Саша приложил палец к губам. — Ясно?..

Когда к Лидии Федоровне пришли все шестеро, она сказала, улынувшись:

— Ну вот, ребята, будем учиться. — И добавила: — Если хотите, конечно.

И все было заулыбавшиеся тоже погасили свои улыбки: слишком непривычными показались последние слова учительницы.

В неловком молчании Настя произнесла:

— Хотим, Лидия Федоровна. Как же не хотеть.

— Заниматься будем небольшими группами, — опять приободрилась учительница. — После уроков я прошу вас сообщить об этом... — она стала называть фамилии тех ребят, кому нужно прийти завтра.

— И отметки будете ставить? — спросил Саша Корнеев.

— А как же. Только мы начнем с повторения. Сегодня у нас будет диктант — посмотрим, что вы помните и что забыли. Но это на втором уроке, а на первом я расскажу вам об электричестве. Вы помните, как ярко горела тоненькая пружинка в лампах?.. Помните, в клубе был радиоприемник, и по праздникам мы слушали Москву?.. — Она чуть приостановилась. Вгляделась в лица. Жадно, не отрываясь, смотрели на нее шесть пар глаз. И тихо было, как ни на одном уроке раньше. — Помните, нам привозили в клуб кинокартины? Может, вспомним названия?.. Хотя бы последнюю картину... Ну?.. Сережа, говори.

— «Антон Иванович сердится».

— Правильно. Еще вспомним.

— «Трактористы».

— Верно, Валя... Еще?

— «Подкидыш», «Джульбарс».

— Молодец, Настя.

— Саша, а ты вспомнил? — Она смотрела, как светлели их лица, и тоже радовалась. — Ну, говори.

— «Чапаев».

— Так, верно, — проговорила она, стараясь не выдавать своего волнения. — Кто видел эту картину?.. Все. Очень хорошо.

— Я видел три раза, — сказал Саша.

— Прекрасно.

— И я...

— Значит, все вы ее хорошо помните. — Ах, как хотелось подробнее поговорить о «Чапаеве». Она чувствовала это по зажегшимся глазам ребят, по стуку собственного сердца, которое забилось сейчас свободно и радостно. Но, преодолев себя, Лидия Федоровна произ-

несла: — Итак, что же это за удивительная сила — электричество, сила, которой мы так широко пользовались?..

...А потом был диктант. Лидия Федоровна раздала всем карандаши, по листку бумаги и сказала:

— Тетрадок у нас не будет. Пишите на листках. И поплотнее, пожалуйста, одну строку к другой. Бумагу будем беречь. Значит, я вам вначале читаю предложение до конца, затем несколько раз повторяю. Слушайте внимательно: «И случилось так: с Павлом поравнялся рыжеусый конвоир, Корчагин неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, резким движением пригнул ее к земле...»

Расходились ребята опять по одному. Последней должна была уйти Настя. Когда они остались вдвоем с учительницей, Лидия Федоровна сказала:

— Настя, напиши слово — оккупанты.

«Окупанты», — написала девочка.

— Во-первых, запомни, в этом слове пишут два «к». Вот так. — Она поправила своим карандашом. — Во-вторых, разве можно на виду у всех вешать такую записку? Тебя же сразу схватят.

— Я оглянулась.

— Но я-то тебя увидела. А если б, полицаи?

— Я их ненавижу.

— Я тоже. Но ведь нельзя быть неосторожной. Партизанам ты так не поможешь. А если хочешь сделать что серьезное, подожди. Я тебе скажу.

— Вы, Лидия Федоровна?

— Да, я. Сама пока ничего не предпринимай, договорились?

ЮРКА-ЮРОК

«...и не плачь. Будь мужчиной...»

После смерти Воробьева все стали звать Юрку Юрок. Так называл его отец.

В отряде насчитывалось около шестидесяти человек, и Юрок нередко думал, что, будь их отряд совсем небольшим, тогда бы и к нему, сыну Воробьева, относились иначе, видели бы в нем такого же партизана. Или будь кто в отряде еще помладше, чем он, — тоже было бы хорошо: к нему, к самому маленькому, все бы и лезли со своими заботами.

Юрок был по-прежнему при тете Вере возле каст-

рюль и котлов. И все так же подсовывала она ему, если была возможность, кусок сахара. «Ешь, родной, — говорила, — ты растешь. Сахар тебе нужен».

И вдруг появился возле кухни человек из штаба — Юрок в это время мыл картошку — и четко по-военному сказал:

— Воробьев, картошку отставить. Командир вызывает.

— Меня? — не поверил своим ушам Юрок.

— Воробьев ты у нас?

— Я.

— Давай живо!

В тот день Юрок впервые вошел в штабную землянку. За приземистым столом рядом с Берсеньевым сидел начальник разведки Доронин.

— Юрок! — ласково проговорил командир, а сам пристально приглядывался. — Проходи. Садись с нами. Есть у нас к тебе дело. Очень серьезное...

* * *

Через два часа Юрок выходил из лагеря. Это уже был совсем другой мальчишка — жалкий оборвыш в драном ватнике и разбитых ботинках с котомкой через плечо. Его проводили до первых партизанских постов. Сказали:

— Ну, Юрок... бывай! Ждем тебя, как стемнеет.

Он должен был пройти в село Сысоевка, понаблюдать за домом Гурова, увидеть, с кем старик встречается, куда ходит.

— И все, — предупредил Юрка Доронин. — Ничего от тебя больше не требуется. Будь зорек и внимателен. Глаз и голова для разведчика — главное. Хорошенько все запоминай. Как найти дом Гурова, помнишь?.. Если у тебя спросят, кто ты, ответишь — беженец из Смоленска, ходил с матерью, но потерялся, голодаешь. Да, в котомку мы положили тебе лепешку из картофельных очисток. А сейчас, мол, бродишь по деревням — прощишь милостыню. К Гурову не заходи, но постучись к его соседям, хорошо бы ненадолго остаться у них, может, что выведаешь.

Это первое задание оказалось для Юрка несложным. Сердобольная женщина, жившая рядом с гуровской избой, покормила оборвыша пустыми щами и сказала:

— К соседу, милый, не ходи. Никого там нет.

— Уехали? — постарался понаивнее спросить Юрок.
— Хозяин на себя руки наложил. Полицаи теперь дом забирают.

— А-а, — равнодушно протянул Юрок.

Ночью он вернулся в отряд.

— Поздравляю с отличным выполнением задания, — серьезным рокоочущим голосом сказал Берсеньев и пожал ему руку.

Юрок был счастлив. Он стал таким же партизаном, как и все. Зачем он ходил в захваченное врагом село, он толком не знал. Но ведь зря бы не послали. Значит, нужно. А спрашивать не положено.

— Что ж, Юрок, будешь у меня разведчиком, — проговорил Доронин. — Займемся тобой всерьез.

От радости Юрок чуть было не подпрыгнул на месте, еле сдержался. Но затем командир произнес менее приятные слова:

— А тете Вере все же помогать придется. Забот у нее по горло. — И, заметив чуть пригасшие глаза мальчика, добавил: — Ты чего?.. Дело тоже почетное. Без поваров мы ноги протянем. Что скажешь, Доронин?

— Точно.

КОРМИЛЕЦ

Чаше и чаще сыплет дождь. Земля почти не просыхает, и под ногой уже не шуршат желтые листья, как еще совсем недавно: они промокли насквозь, набухли, отяжелели.

Плохо горят сырые дрова. От них больше дыма — он лезет в лицо, щиплет глаза, въедается в волосы, в одежду. Вода в баках и котлах нагревается медленно, а ведь нужно и кашу варить, и суп, и печь хлеб.

Только летом, когда люди приезжают в лес отдохнуть от города, разбивают где-нибудь на берегу тихой реки палатку и разжигают костер, приятно сидеть возле него, поглядывая на языки огня и закипающую в котелке воду. И дымок тогда кажется душистым, и головешки так славно постреливают, и все чувствуют себя уютно и вольно.

Юрок помнит такие прекрасные дни с отцом. И палатка, и костер, и рыбалка, и самодельный плот. Но было ли все это? Может, снилось?

А сейчас... Дрова не горят. Вода не закипает. От дыма все на тебе прокопtilось. У костра — тепло, отой-

ди на три шага в сторону — холодно. Юрок и тетя Вера все время простужены. На тетю Веру нападает такой кашель, что она чуть не падает с ног, сгибаясь пополам.

И каждый день одно и то же: дрова, котлы, огонь, вода, крупа. Иногда картошка. И совсем редко — мясные консервы. Несколько раз партизаны заваливали лос-ся. Свежее мясо варили, немного жарили. Это было как праздничный стол. Правда, недавно одна из групп принесла с подорванного эшелона сгущенное молоко, сыр, колбасу. Каждому досталось на один зубок. Потому что всегда главное — побольше унести захваченного оружия, патронов, взрывчатки.

С оружием в отряде стало получше. Почти у всех уже были автоматы. Моргунок теперь обучал даже Юрка стрелять из автомата. Не каждый день это случилось, а все-таки...

Но когда же, наконец, закипит вода? Юрок сдвинул горящие поленья поплотнее, подsunул несколько полешек.

Иной раз командир выделял на кухню еще кого-нибудь в помощь тете Вере и Юрку. Но не часто. Дел хватало у каждого. Сегодня вот опять почти все разошлись по заданиям. В лагере остались лишь охрана, раненые и доктор Седых.

А повариха чувствовала себя совсем плохо. Ее то кидало в жар, то бил озноб, кружилась голова, подкашивались ноги. С утра она старалась всю работу выполнять сидя, то и дело просила Юрка что-нибудь подать или принести.

Когда Юрок ушел с ведром за водой, она попыталась приблизиться к котлу, но сделала два шага, все поплыло у нее перед глазами, и повариха упала. Так и нашел ее Юрок, вернувшись.

— Тетя Вера!.. Тетя Вера, встаньте... — Он хотел поднять ее.

Она тяжело дышала.

— Я сейчас, Юрок... Сейчас, — и закашлялась.

С трудом он довел ее до землянки, а сам побежал за доктором.

У тети Веры оказалась температура под сорок, но особенно не понравился Седых ее кашель. Осмотрев повариху, доктор сказал:

— Немедленно в постель. Воспаление легких. С этим не шутят.

— А кухня?..

— Справимся без вас.

Седых прислал на кухню двух выздоравливающих. Юрок стал за старшего, он уже хорошо знал, сколько крупы в какой котел засыпать, сколько класть соли, на каком огне печь лепешки, которые шли вместо хлеба.

— Вот тебе и Воробушек, — говорили партизаны. — Кормилец!

Две недели командовал Юрок на кухне, пока доктор не разрешил тете Вере понемножку вставать.

ПЕСНЯ

Во время налета на село Кресты партизаны подорвали два склада с боеприпасами и оружием. Была перебита охрана, захвачены богатые трофеи, но группа вернулась в лагерь удрученной: пульей навывлет был ранен любимец отряда, балагур и гармонист Вася Зубков. Двигаться он не мог, а гитлеровцы наседали. Партизанам нужно было уходить. Зубкова поместили в доме у пожилой женщины.

— Выхожу, голубчики, не сумлевайтесь, — пообещала она.

— Мы за ним вернемся, — сказали ей партизаны.

Зубков попросил, чтобы ему оставили автомат и две лимонки.

— Всяко бывает, — проговорил он. — Ежели что, живьем не дамся...

...И вот спустя пять дней было решено: провести раненого пойдет в село Юрок.

Задание это было труднее первого из-за того, что партизаны не могли точно описать дом, в котором оставили Зубкова.

— Какой все же он из себя? Крыша, окна, калитка, что там еще? — допытывался Доронин.

Партизаны переглядывались, а что скажешь: и темно было, и в спешке все делалось, пока заслон прикрывал их огнем.

— На улице недалеко от дома старые деревья, похоже, липы, — вспомнил один из партизан. — Я стоял за стволом, отстреливался.

— Так, — кивнул Доронин. — Кто еще что припомнит?

— Вдоль улицы канавка идет, — проговорил другой

партизан — Серегин. — К дому через нее мосток. Ну, не мосток, а две-три доски.

— Не приметя, — отрезал Доронин. — Такие мостки у каждого дома.

— Верно. Только возле того полно гильз. Я там долго лежал — прикрывал группу. Когда отступил, где-то возле мостка граната разорвалась. Должно быть, его повредило.

— Это уже кое-что, — заметил Доронин, — если разбитые доски не заменили другими.

— Вряд ли. Кто будет заниматься? И досок лишних теперь не сыщешь.

Но больше никто из партизан не сумел вспомнить ничего такого, что помогло бы Юрку разыскать нужный дом.

Доронин стал прикидывать: ну хорошо, допустим, Юрок найдет дом неподалеку от старых лип, и мосток там рядом будет — а дальше? Ведь он не знает хозяйку. Что ей сказать? Она может и не открыться: почему она должна верить какому-то оборванцу?

— Вот смотри, Юрок, как все непросто, — сказал он и поделился своими сомнениями.

Юрок задумался. Васю Зубкова он хорошо знал, не раз пел под его гармонь. Сам Зубков любил петь частушки. Но бывало, грустила гармонь, выводила что-то сокровенное. Он обучил Юрка многим народным песням. Всем нравилось: чистый переливчатый голос помогал на миг забыть войну и кровь. В редкий «свободный» час даже командир просил: «Спой, Юрок» и посылал за Васей Зубковым. Вспомнил все это сейчас Юрок и вдруг сказал, серьезно взглянув на Доронина:

— А если спеть?

— Спеть? — переспросил начальник разведки и все понял: — Умница. Только подумай, что будешь петь.

— Зубков любил «Из-за острова на стрежень...».

— Отлично. Ничего подозрительного, а песня наша. Зубков тебя сразу услышит.

Так все и получилось. Бродя с котомкой по селу, Юрок выбирал вероятные по приметам дома, заходил во дворы — якобы просить милостыню, а затем в благодарность пел. В одном из дворов женщина вынесла ему вареную свеклу, а после того, как он спел, перекрестила, сказав:

— Спаси тебя бог.

Юрок не спеша направился к другой избе. А женщина ушла в дом, но вдруг вернулась, догнала.

— Юрок? — произнесла она. Глаза ее всматривались пытливо, но с теплом.

Он кивнул.

— Пошли, — сказала она.

Через минуту Юрок уже сидел возле Зубкова, пожимал его послабевшую руку, говорил:

— Вася, все будет в порядке. Привет от всех наших. Мы еще споем с тобой. Гармошка-то ждет не дождется.

— Споем, — улыбнулся Зубков.

Женщине Юрок передал лекарства — таблетки и порошки. Вспоминая наставления доктора, объяснил, что как принимать.

— Я его травами лечу, — сказала хозяйка. — Вначале все бредил в жару, потом полегчало. Ты приходи, теперь-то знаешь. А за песню спасибо, уважил. У меня внучок тоже хорошо пел. Где он сейчас, не знаю.

Я ИХ ЗАДЕРЖУ

Самолет вынырнул из облаков. Теперь лейтенант Лобанов видел под крылом сплошной лес. Он казался сверху гигантской распластанной шкурой. Кое-где проплешинами светились небольшие поляны.

Лобанов знал, скоро лес кончится, за ним будет поселок, а там уже потянется ниточка железной дороги. У лейтенанта были две бомбы, каждая по пятьдесят килограммов. Хорошо бы не просто метнуть на полотно, а накрыть вражеский состав. Конечно, его Як не бомбардировщик, но все же при точном попадании... Ага!.. Вот он, поселок.

И сразу ударила зенитная батарея. Лобанов снизился, полукругом обойдя поселок, повис над железнодорожным полотном. Эшелонов, как назло, не было. Он повел самолет на бреющем. Четко, как на учениях, метнул бомбу. Она разворотила пути, и тогда он решил: пользуясь случаем, пока нет помех, нужно так же прицельно сбросить и вторую.

А впереди уже показался другой поселок, за которым лентой блестела река с перекинутым через нее мостом.

Мост!.. Да к нему небось не подступишься. Вокруг наверняка поставили батарей. Огонь будет плотный. А у Лобанова одна бомба, и попасть нужно с одного за-

хода. Нет, нереально. Топливо на исходе — осталось лишь дотянуть до аэродрома.

Он начал набирать высоту, чтобы уйти вправо и, развернувшись, сбросить бомбу на станцию.

Опять заговорили зенитки. Несколько снарядов разорвалось неподалеку. Лязгнули по обшивке осколки. Но мотор работал как зверь — Лобанов выжимал из него все, что можно. «Пронесло», — подумал он, вслушиваясь в рев двигателя, и сбросил вторую бомбу. Затем он ударил из пулемета по машинам, что стояли у станции. Одна из них загорелась. Но тут самолет встряхнуло, и от жгучей боли в плече лейтенант на миг потерял сознание...

Первое, что выплыло из тьмы, это был щиток приборов. Глаза Лобанова впились в стрелку высоты. Она падала. Летчик через силу повернул голову — острая боль так и пронизывала, — увидел языки пламени. За самолетом широким черным хвостом клубился дым.

«Прыгай!» — приказал себе лейтенант.

Самолет поравнялся с лесом. Лобанов взглянул на щиток — высота продолжала падать. Мешкать было нельзя. Здоровой рукой он поправил на себе лямки парашюта. Мысли путались, лихорадочно мелькали одна за другой. Разобраться в них не было времени. Но главное ясно — появилась надежда уйти от немцев. Лес!.. Пусть все, что угодно... Раненый. Один в лесу... Пусть упадет на дерево, повиснет... Только не к ним. Не в их лапы. Не в плен...

«Скорей!.. Прыгай же!..»

Он перевалился через борт.

Покачиваясь под куполом парашюта, лейтенант глядел, как приближалась к нему земля. Сколько он смотрел на нее раньше — на родную, мирную, теплую, затем на военную, израненную, пылающую, захваченную, и опять на свою, но тревожную, ждущую боя, напряженную. И вот сейчас она приближалась — спасительная и страшная, земля-мать и земля-ловушка. Что там?..

Ветром парашют относило не в гущу леса, а к окраине.

«Черт!.. Попадешь, как кур в ошип. До станции небось километров десять».

И хотя он опустился все-таки в лесу, а не в открытом поле, к месту приземления уже ехали от поселка три мотоцикла с автоматчиками. Земля была раскис-

шей, и мотоциклы кое-где увязали в ней, но каждый раз, вытолкнув рычащую машину из грязи, немцы садились и упорно брали намеченное направление.

* * *

Юрок возвращался из разведки. На этот раз ему было поручено увидеть, где и как разместился гарнизон, охраняющий мост за поселком Шубенки.

В последнее время Доронин часто давал ему задания. И уже не мальчиком, робко и неуверенно входящим в новую для него роль, был Юрок. Пробираясь в села, захваченные врагом, он насмотрелся всякого. Но из того мрака, наполненного болью и горем, вышел он не придавленный, а закаленный, не растерянный, а собранный, не свыкшийся со смертью, а восставший против нее.

Он развил в себе то, что требовалось от разведчика, — наблюдательность, терпение, находчивость. Он был исполнительным, запоминал советы опытных разведчиков, но умел и сам быстро во всем разбираться, найти единственно верный ход. И в то же время в нем оставалось еще мальчишество, и хорохорился он перед собой по-мальчишески, и картины рисовал в своем воображении невероятные, героем которых был он, Юрий Воробьев. Никто не знал об этих особых «геройствах», и беды в том, конечно, не было.

Но не зря говорят: «Конь о четырех ногах, и то спотыкается». Однажды неподалеку от большака в брошенном окопе, возле которого уткнулась стволом в землю покореженная противотанковая пушка, Юрок нашел в ящике «лимонки». Он перетаскал гранаты в лес, а потом передал их партизанам. Но не все: четыре «лимонки» тайно оставил себе. И не просто спрятал где-нибудь, а стал две из них носить с собой в карманах ватника, когда уходил на задания, благо «лимонка» — граната небольшая, незаметная. Зачем? На всякий случай. Это было неосторожно и глупо. Пришло бы кому в голову обыскать мальчишку-нищего — все, пропал бы. И Юрок задумывался об этом. Но решил: «Скажу — подобрал. Мол, видел, как такими штуками рыбу глушат. Жрать-то нечего. Не поверят? Поверят. Прикинусь дурачком...»

Сейчас, возвращаясь из Шубенок, он видел, как над поселком прошел самолет, слышал взрыв бомбы, паль-

бу зениток. В это время он находился уже на окраине леса и видел, как из горящего самолета выпрыгнул летчик и как парашют понесло к тому месту, где был он, Юрок. И пока снижался парашют, он уже знал, что сделает, — он приведет летчика в отряд. Только поторапливаться нужно. Немцы ведь тоже парашют видели. Юрок кинулся прямо в гущу кустов навстречу летчику.

* * *

Лобанов спустился удачно — не застрял, не повис на дереве — лишь ногами чиркнул по концам веток и ткнулся в землю. Не устояв, упал и сразу же, лежа, услышал, как кто-то лез к нему через кусты. Он выхватил пистолет.

— Дядя, не стреляйте. — Из густых зарослей выскочил Юрок.

— Ты кто?.. Откуда?..

— Я свой.

Зрачок пистолета все еще смотрел на мальчишку.

— Я вас могу отвести к партизанам, — сказал Юрок и тут же подумал: да кто же ему поверит, мальчишке, оборванцу? Тогда он полез в карман, высунул часть «лимонки»: — Смотрите.

— Немцы близко?

— Близко.

Летчик встал. Юрок увидел у него пятно крови на левом плече.

— Вы ранены?

— Помогите отстегнуться, — вместо ответа попросил летчик.

Вдвоем они отстегнули лямки.

— Пошли, — сказал Лобанов и двинулся было с места, но, увидев, как вдруг замер Юрок, тоже застыл.

Со стороны поля слышалось тарахтенье моторов.

— Мотоциклы, — определил Юрок. — Вы бегите, а я их задержу.

— Одной «лимонкой»?.. С ума сошел.

— У меня две. Вы бегите все время вот так, — он показал направление. — Скоро начнется густой ельник. Они туда не сунутся — партизан боятся. Бегите же!.. Я к вам подойду — два раза свистну.

— Давай вместе, — предложил Лобанов. — Уходим.

Он никак не мог представить: он, взрослый, пусть

раненый, но скрывается, а мальчишка остается лицом к лицу с врагом.

Юрок догадался:

— Не бойтесь, дядь. Я здесь каждый куст знаю. Мне легче. Скорей бегите.

Мотоциклисты подкатили к окраине леса. Соскочив, немцы сразу вскинули «шмайссеры» и, пока деревья были редкие, шли быстро, растянулись неширокой цепью. Но вот деревья стали погуще, поплотнее, с кустарником — солдаты замедлили шаг, а сами, чуть пригнувшись, готовые в любой миг вспороть тишину яростным треском автоматов.

Юрок их видел. Он переместился в кустах, чтобы кинуть гранату сбоку в ноги крайнему.

— Где-то здесь, — негромко сказал один из немцев и остановился, оглядываясь: очень уж не хотелось ему идти дальше.

— Эй, Шульц, не отставай, — одернул фельдфебель. Но едва Шульц двинулся дальше, как перед ним что-то плюхнулось.

«Это же...» — леденя, понял немец.

В ту же секунду гроыхнуло.

Шульц был сражен насмерть, автоматчика, шедшего поблизости, ранило.

Лежа, немцы еще долго палили из «шмайссеров», поливая кусты длинными очередями. Потом отступили.

Фельдфебель по возвращении доложил: приказ выполнен, лишь бой с партизанами не позволил захватить летчика живым.

В это же самое время доктор Седых, осматривая рану Лобанова, говорил:

— Ты, пилот, в рубашке родился. Зацепило бы чуть ниже — пришлось бы с тобой крепко повозиться. Сейчас получишь свой осколок на память — вот он сидит. Такую дыру сделал, а кость цела. Счастливчик!..

В штабе отряда, куда Юрок явился, чтобы увидеть Доронина, рядом с начальником разведки и Георгием Сергеевичем сидели двое незнакомых — рыжебородый здоровяк с кобурой у широкого пояса и остроскулый человек в командирской гимнастике, тоже при оружии.

— А вот и наш Юрок! — прогремел Берсенев. — Проходи, садись. — И он подвинулся на сбитой из жердин скамейке.

— Я, может, потом приду? — Юрок все еще стоял у

входа, смущаясь, что все смотрят на него, оторвавшись от карты, разостланной на столе.

— Проходи и все рассказывай, — приглашающе махнул рукой Доронин.

— Сейчас? — переспросил Юрок: всегда он докладывал начальнику разведки наедине или при Берсеневе.

Доронин, уловив его замешательство, пояснил:

— Это, Юрок, наши боевые товарищи из штаба партизанской бригады...

В тот день Юрок узнал, что его отряд скоро станет частью крупного партизанского соединения.

Ну а о том, что операция «Мост» будет проводиться общими силами, пока еще не говорили никому.

«ПОДАРКИ С ФРОНТА»

Из волости Сивоконь и Артюхин возвращались удрученными. Они ездили туда на совещание полицейских и старост, которое проводил бургомистр и еще какой-то «чин» из волостной управы.

Бургомистр — маленький вертлявый лысый человек — стучал кулачком и, брызжа слюной, кричал:

— Саботажники! Даром вас только кормят! Не хотите помогать Великой Германии — пеняйте на себя. Наше терпение лопнуло. Почему по всей волости сорваны заготовки продовольствия?.. Почему не можете собрать налоги?.. Знаю ваш ответ. Нет, мол, ни продуктов, ни денег. И для кого нет?.. Для немецкой армии, для ваших освободителей. Сами-то обжираетесь и пьянствуете... А партизан сколько развели! От этих бандитов не стало житья...

— Кто развел? — тихо буркнул Сивоконь.

Но лысый человечек услышал. Он умолк, окинул взглядом собравшихся. Отыскать недовольного среди них было трудно: у всех лица одинаково угрюмо-настроженные или отрешенные.

— А ты кто такой?.. — произнес бургомистр. — Встать.

Староста приподнялся.

— Ты кто? — колюче уставился на него бургомистр.

— Сивоконь. — Федор пригладил рукой нечесанные редкие волосы.

Бургомистр взял список, пробежал глазами.

— Так, — сказал он, багровея. — Из Никольского?

— Оттуда.

— С тобой у меня разговор особый, — опять сорвался на крик бургомистр: — Ты на самом последнем счету, дармоед. Через неделю не соберешь налоги, так я с тебя, сивый конь, шкуру спущу. Понял?

Сивоконь как-то неопределенно хмыкнул.

— Понял?.. Тебя спрашиваю, мерзавец.

— Чего ж не понять? — вяло произнес староста.

— Заруби себе на носу — со мной шутки плохи. Садись!.. Так вот, насчет партизан. Я вам зачитаю новый приказ коменданта: «В целях усиления борьбы с партизанскими отрядами вменить в обязанность всем сельским старостам и волостным старшинам при появлении неизвестных вооруженных лиц:

1) немедленно сообщить в комендатуру;

2) при наличии возможности задержать и доставить в комендатуру».

Бургомистр, закончив чтение, сурово оглядел полицейев и старост.

— А что ждет за невыполнение приказа — сами знаете... Ты, Сивоконь, знаешь?

— Известно, — выдохнул Федор.

— То-то же!

Затем выступил «чин» из управы. Это был мрачный черноволосый тип с глубоко утопленными глазами. Говорил он резко, отрывисто, будто лаял. Он сказал, что участились диверсии партизан и что власти начинают беспощадную борьбу с бандитами.

— Успехи этой борьбы зависят и от вас. Я требую самых решительных мер в поддержке властей. Вы обязаны направить местных жителей к железной дороге, чтобы вырубить деревья и кусты на сто — сто пятьдесят метров от полотна. В селах и деревнях старосты должны составить списки жителей и против каждой фамилии отметить «свой» или «чужой». Поясню: «свой» — это коренной житель деревни, «чужой» — это те, кто прибыл во время войны. Далее. На опушках леса необходимо поставить щиты с предупреждением: «Вход в лес запрещен! За нарушение — расстрел».

Произнеся это, чернявый тип так же, как и бургомистр, спросил:

— Всем ясно?.. Я спрашиваю — всем?

В тяжелой тишине кто-то кашлянул.

Чернявый вдруг кисло улыбнулся:

— Молчание — знак согласия, — сказал он. — Теперь приятное сообщение. Мы все благодарны великой Германии — нашей освободительнице, и будет очень хорошо, если мы выразим свою любовь в виде подарков для немецких солдат и офицеров. Вернее, это будут подарки не только для них, но и для их семей. Эти подарки они отошлют домой своим матерям, женам, детям. Словом, это — «подарки с фронта». Представьте, как приятно получить такой подарок дома к рождеству? Предупреждаю, это очень серьезное поручение. Выполнить его велит нам наша добрая воля. Всем понятно?

Сивоконь, решивший, что пора хвататься за дело двумя руками, не то верно худо будет, спросил:

— А неновое брать можно?

Чернявый, поморщившись, взглянул на бургомистра.

— Желательно новое, — сказал бургомистр. — Это на подарки идет, а не на рынок.

— Где ж его взять, новое? — простодушно заметил Сивоконь.

— Сядь, — дернул его Артюхин за брюки, — разберемся. — И тихо добавил: — Наше дело сдать. Пусть сами сортируют.

* * *

Сивоконь с утра расклеивал еще один приказ военного коменданта:

«Настоящим сообщается, что все теплые вещи, как-то: шубы, меховые жилеты, шапки-ушанки, шарфы, рукавицы, валенки, а также одеяла и покрывала — конфискуются».

Затем с полицией на подводах староста двинулся вдоль домов отбирать теплые вещи. В одну из подвод складывалось то, что поновее — это были «подарки с фронта».

Полиция действовала жестко, не слушали просьб и причитаний. Они уже походили на солдат: с наступлением холодов им выдали немецкие шинели, лишь к рукавам велено было прикрепить белую повязку — отличительный знак полицейского.

К тому времени, когда подъехали к дому Сыромятниковых, телеги были почти наполнены.

— Здорово, хозяева, — буркнул староста, ввалива-

ясь в дом (как и полицаи, он был выпивши). — Приказ читали?

Тетя Ксюша молча смотрела на него; что она могла сказать, ничего не расслышав. Катерина отвернулась к окну — видеть тошно ей было Федьку.

Сивоконь и не ждал ответа. Ведь нужно было что-то сказать, прежде чем приниматься за грабеж.

— Давай по-хорошему, — опять проговорил он просто так, без всякой надежды. Федькин петушиный глаз сновал по комнате, не находил, на чем остановиться.

— По-хорошему?.. — Катерина повернула голову. — С тобой?..

Сивоконь не ожидал такой встречи. Он хоть и знал (ему говорили), что Григорьевы поселились у Сыромятниковых, но не вспомнил сейчас об этом перед порогом.

Ему хотелось поскорее уйти. Недобрым огнем сверкали глаза Катерины. Что-то подсказывало Федьке — прочь, прочь отсюда. Да неловко было перед усатым полицаем, с которым он зашел в избу. Будь он один — точно, махнул бы рукой и с глаз долой. Но усатый...

— Ладно, — кивнул ему Сивоконь, — посмотри, чего там.

Усатый пошарил в шкафу, в сундуке — все рвань, старье (Настя выходила на улицу, видела, что творится, поэтому заранее все припрятали). Он бросал хлам на пол, отшвыривая ногой в сторону, если мешало, ругался.

На кровати сидели Антошка и Галя. Усатый стряхнул их, словно котят, сдернув одеяло. Настя подошла к ним, стала успокаивать.

— С детьми воюешь, — проговорила Катерина. — Оно полегче, не с мужиками.

Складывая одеяло, усатый желчно взглянул на нее, плюнул на пол. Связываться ему не хотелось, надоело: в каждом доме одно и то же — крики, всхлипы, слезы, ругань. Он уже кулак отшиб — скольким пришлось замазать раз-другой.

— Пошли, — сказал ему Сивоконь.

— Бандюги! — бросила им Катерина.

Настя коснулась ее руки.

— Не надо, тетя Катя. Пусть уходят. — Она чувствовала, вот-вот должно случиться нечто страшное. Еще миг, и грянет гром. Как перед грозой, когда все потемнело и наполнилось тревогой.

Староста и полицей были у двери.

— Бандюги! — повторила Катерина.

Усатый со злостью огляделся — что бы еще сделать, и вдруг увидел: Галя держала в руках игрушку — плюшевого медвежонка. Он не спеша подошел, разжал пальчики, взял игрушку. Чем не «подарок с фронта»?

И случилось неминуемое.

Катерина кинулась, выхватила у полицей медвежонка и с силой наотмашь ударила усатого игрушкой по лицу. От неожиданности он выронил одеяло. Но вот опомнился, сорвал с плеча карабин и, держа его за ствол, широко размахнулся. В ту же секунду тяжелый приклад обрушился бы на голову Катерины. Метнулась тетя Ксюша, оттолкнув Катерину... И сама попала под удар. Упала с перебитой ключицей.

Катерина вцепилась в полицей, ярость устроила ее силы. Она давила его книзу, и он, хрипя, пытался вырваться из ее крепких рук. Стонала тетя Ксюша, громко вопили дети. Что-то кричала Катерина и не слышала себя — она лишь видела мелко дрожащий от натуги затылок полицей и гнула, гнула его голову, чтобы наступить на горло, растоптать, изничтожить.

Сивоконь некоторое время стоял у двери — не вмешивался, выжидал. Он и предположить не мог, что дела усатого будут столь плохи. Теперь же — хочешь не хочешь — приходилось и ему влезать в драку. Сивоконь дернул Катерину сзади за волосы, она слегка разогнулась, и тогда усатый, вырвавшись, ударил ее сапогом в живот.

Полицей продолжал бить ее и лежащую, а сам с придыханием вскрикивал, все больше распаляясь. Потом, тяжело дыша, направился к двери. Одеяло и одноглазого медвежонка он забыл.

Уже было не до «подарков с фронта».

В ДОЗОРЕ

По лесу кто-то шел.

«Или почудилось?» Юрок затаил дыхание, прислушался. Тишина. Только было слышно, как пересвистываются поблизости синицы, да вдалеке каркнул, пролетая над лесом, ворон.

Опять хрустнула сухая ветка.

Юрок сдернул зубами варежку с правой руки. Палец лег на холодную скобу автомата. Так он и стоял несколь-

ко мгновений — с варежкой в зубах и наставив автомат в сторону темнеющих кустов.

Но было тихо. Юрок не стал надевать варежку. Он сунул ее в карман полушубка, а сам до боли продолжал вглядываться в силуэты деревьев и гущину кустов. Ноябрь стоял черный, бесснежный. «На снегу было бы виднее», — подумал Юрок.

Он вдруг представил, как бьет по этой темноте из автомата: заплесали отсветы выстрелов, повалились подкошенные пулями враги. А потом командир отряда громкоголосый Георгий Сергеевич объявит ему перед строем благодарность. «Служу Советскому Союзу», — ответит Юрок.

Но автомат ему давали не всегда, а только на то время, пока Юрок находился в дозоре. Его ставили на третью линию — она была самой близкой к партизанскому лагерю. И всякий раз, когда приходил другой дозорный, чтобы сменить его, Юрок знал — сейчас отберут автомат, и вновь превратится он из партизана в обыкновенного мальчишку. Будут ему улыбаться, шутить иной раз, как с маленьким, а тетя Вера — подсовывать кусочки сахара.

Юрок был неправ в своих обидах. Задания давались ему не из легких. Сколько раз узнавал он, много ли сил у противника, где штаб, где склады боеприпасов, как охраняется мост, да мало ли чего он выводывал.

Но хотелось совсем другого. Хотелось бить гитлеровцев, хлестать по ним жгучими очередями, видеть, как они падают, слышать, как они кричат. Юрок нагляделся на их работу. Замученные и расстрелянные красноармейцы, повешенные партизаны, отец с кровавой пеной у рта — все это осталось в памяти и в сердце, давило до боли, до слез. «Мстить, — шептал Юрок, — мстить...» Ко всему же и отряд назывался «Мстители». Только какой же он мститель, размышлял Юрок о себе. «Погоди, — говорили ему на все его просьбы, — твое время придет».

Вот и теперь Юрок стоял на своем посту в дозоре, сжимал автомат и рисовал в воображении разные картины. Врагу удалось пробраться через первую дозорную линию, вторую... Бесшумно крадутся, вцепившись в тупорылые «шмайссеры»... А тут вдруг он, Юрок! «Гады, — крикнет он, — получайте!..» И резанет, резанет из автомата.

Да знает Юрок — не пройдет враг сквозь первые до-

зорные линии. Заметят партизан, сразу дадут сигнал.

И снова какой-то шорох в кустах.

Юрок вытянул губы, три раза свистнул птицей. Никто не отозвался. Кто же там? Чужие? Настороженно и чутко прислушивался он, пока не понял, что из кустов никто не выйдет, что там, видно, тоже пережидают, чтобы он ушел или же чтобы совсем стемнело. Что делать? Дать сигнал тревоги? А может, там просто заяц прыгает?

Юрок вскинул автомат на изготовку, пошел в сторону кустов.

В кустах кто-то с треском приподнялся, ойкнул, метнулся прочь.

— Стой!.. — крикнул Юрок на бегу. — Стрелять буду!

А когда подбежал, увидел перед собой девочку лет двенадцати. Голова ее была замотана платком, из-под него испуганно смотрели глаза, губы тоже были искажены гримасой отчаяния. Но вот в лице ее что-то дрогнуло, и губы растянулись в широкой улыбке.

— Ты... — сказала она, — ты не полицей? — И сразу добавила: — Не полицей, вижу.

— Кто такая? — постарался спросить Юрок как можно суровее.

— Из Никольского я. Зовут Настасьей Сыромятниковой. А я к вам шла, к партизанам. Ты меня к самому главному веди. У меня до него дело. А куда идти, не знаю. Хорошо, тебя встретила.

«Раскудахталась», — с неудовольствием подумал Юрок и строго сказал:

— А ты почему знаешь, что я партизан? Может, полицей?

Но девочка лишь рукой махнула.

— Какой же ты полицей! Нешто пацаны идут в полицей?

— Ладно, — нахмурился Юрок. — Пошли. — И даже автомат наставил на нее для пущей важности.

— К партизанам-то? — с веселой певучестью проговорила Настя. — Пошли, пошли. Я и говорю тебе, у меня дело есть. Я ведь не просто так, я ведь...

— Замолкни, — прикрикнул на нее Юрок и передразнил: — Ведь, ведь. Иди давай. Там разберемся.

Как хотелось Юрку вот так вот вести под дулом автомата пленного немца. Лучше всего, если б он захватил офицера. «Шнель, шнель, — говорил бы ему

Юрок. — Пошевеливайся». А тут приходится вести девчонку.

Так и есть, когда оказался он с ней посреди партизанских землянок, со всех сторон посыпалось:

— Братцы, Юрок «языка» доставил.

— Погоди, Юрок, сейчас поможем, убежит.

И уж совсем некстати кто-то ляпнул:

— Ну вот, Юрок и невесту себе отвоевал.

Последняя шутка ему особенно не понравилась, но он смолчал, и лишь когда подошли к землянке, в которой размещался штаб, коротко скомандовал:

— Стой!

НАСТАСЬЯ

В штабе Юрок доложил обо всем Берсеньеву, и командир, выслушав его, произнес как-то неопределенно: «Добро», а затем начал допрашивать девчонку.

Она опять бойко затараторила, что зовут ее Настасья Сыромятникова, живет в Никольском, и дело у нее к самому главному партизану. А про Юрка сказала, что приняла его сперва за полиция, потому и схоронилась в кустах.

— Погоди, Настасья, — остановил ее Георгий Сергеевич, — давай обо всем по порядку. Я и есть командир отряда. Выкладывай, какое у тебя дело.

— Ой, правда? — вырвалось у нее.

От подобной наглости Юрка так и передернуло, но девчонка смотрела на командира доверчиво, серьезно.

— Лидия Федоровна велела мне только главному сказать, а больше никому говорить не велела, — и она покосилась на Юрка и на Доронина.

— Кто это, Лидия Федоровна? — спросил командир.

— Учительница наша.

— Добро, — сказал Берсеньев, — оставь нас, Юрок.

Юрок вышел. Командир, проводив его взглядом, повернул голову к Насте:

— Ну?

Тогда она принялась рассказывать. Говорила быстро, словно боялась, что не дослушают до конца: найдется у партизан кое-что и поважнее.

Но командир и начальник разведки слушали ее внимательно. Георгий Сергеевич даже вроде бы подбадривал. «Так, так, — приговаривал он, — добро». Доронин больше молчал, барабанил пальцами по столу, лишь

иногда переспрашивал, желая уточнить ту или иную подробность.

Вот что узнали партизаны. В село Никольское стали прибывать грузовики с солдатами. Это были какие-то особенные немцы. И формой они отличались, и полицаи при них старались всю выслужиться — сделались еще злее, еще придирчивее. По селу пошли слухи, будто немцы эти специально присланы против партизан. Кто-то из полицаев проговорился, болтнул спьяну, что партизанам теперь будет крышка.

Настя сказала, что послала ее сообщить обо всем учительница Лидия Федоровна. Но в действительности никто ее не посылал. Об этих слухах учительница узнала от самой Насти, потому что последние дни не выходила из избы, старалась лишний раз не показываться на улице: на селе начались аресты. Учительница и так рисковала: время от времени она собирала у себя ребят — немного, по пять, по шесть — и занималась с ними. Такие уроки проводились не каждый день и в разное время, чтобы не привлечь внимания, но все же, несмотря на эти меры предосторожности, учительница беспокоилась — узнают гитлеровцы, ей не поздоровится.

Когда Настя заговорила о том, что немцы готовят расправу с партизанами, Лидия Федоровна произнесла лишь одно слово: «Тише» и приложила палец к губам. Но Настю нелегко было остановить. «Лидия Федоровна, — горячо зашептала она. — Партизанам бы рассказать, а, Лидия Федоровна?» Учительница улыбнулась в ответ (эх, мол, дорогая моя Настюха) и, проговорив: «Да, да...» — кивнула на книгу, лежащую на столе (это был «Дубровский» Пушкина): «Читай». Пока Настя читала урок, учительница думала: «Рассказать партизанам... А где они? И как выйти из деревни? Разве немцы кого пропустят?..»

Настя, вернувшись домой от учительницы, вспомнила ее неожиданную улыбку, ее короткое «Да, да...», и чем больше она над этим раздумывала, тем яснее становилось ей, что именно она, Настасья Сыромятникова, должна разыскать партизан и все им сообщить.

Где партизаны — знать она не могла. Но лес, который начинался сразу за селом и уходил на многие десятки километров, был хорошо знаком ей. Конечно, не так, как ее отцу, а все же.

И она решила: пойду в лес. Скорее всего думала

она, партизаны стоят на Медвежьих буграх — и место глухое, дальнее, и холмы — с них в случае чего видать лучше. А кругом болот полно. Кто прохода не знает, не полезет.

Из села Настя вышла рано утром. Она верно рассчитала, что в темноте никто ее не заметит, а по знакомым местам идти нетрудно. Потом же, когда совсем развиднеется, она будет уже далеко, и к вечеру придет к Медвежьим буграм.

Настя шла быстро. Иногда останавливалась, слушала. Тихо было. Ветер только шелестел иной раз в деревьях, словно просыпался, но тут же умолкал опять. Настя думала, что раньше в этот час слышно было, как поют на селе петухи да какая-то дурная собака вдруг начинала брехать. Петухов давно поели. Собак постреляли. Но больше думала Настя о встрече с партизанами, думала, как нужно им все то, о чем она скажет. И не первому попавшемуся скажет, а самому главному. Так велела Лидия Федоровна. И пока шла Настя, сама поверила насчет Лидии Федоровны и ее наказа.

Сквозь партизанские посты она проскользнула. Получилось так, что дозорные сами себя выдавали. Заслышав издали ее шорох, они свистели птицей, и Настя, хорошо разбираясь в птичьих голосах, сразу же определяла: то не птица, то человек укрылся. Она не знала, что это условный свист и что на него надо ответить. Подходить она не решалась: вдруг полицаи. Притаившись, Настя переждала, а потом, немного отойдя назад, огибала опасное место и шла дальше...

— Как же ты, Настасья, наших дозорных обманула? — прогромыхал Берсеньев после допроса.

— А я маленькая, — весело ответила Настя. — Шустряя.

— Да за то, что ты такая шустрая, с них нужно головы поснимать. — Командир мрачно взглянул на начальника разведки.

— Учтем, — отозвался Доронин.

— Ладно, Настасья, пойдешь сейчас к Вере, покормит тебя.

Когда Настя вышла, Георгий Сергеевич приподнялся из-за стола, походил (пять шагов туда, пять обратно: больше не позволял размер землянки) и вдруг, резко остановившись, спросил:

— Что скажешь, начальник разведки?

Доронин ответил не сразу, побарабанил пальцами.
— Известия дрянные, командир. Кое-что уточнить не мешало бы.

ПЛЯСКА

Наутро, опять по темноте, Настя возвращалась в Никольское. На этот раз она шла по лесу не одна, рядом в рваном ватнике шагал Юрок. Нужно было поточнее выведать, кого привозят грузовики в Никольское и какова численность противника.

Отряду было невыгодно покидать обжитый, удобно расположенный лагерь. Но главное заключалось не в этом. В двадцати трех километрах к югу от Никольского возле деревни Шубинки партизаны готовились взорвать мост. Уже было известно, как он охраняется, где протянуты провололочные заграждения и где заминированы участки. Если бы пришлось уходить с Медвежьих бугров, операция «Мост» намного бы усложнилась. Со стороны Никольского раньше никакой опасности не предвиделось: там в основном были только полиция. И вдруг такие гости пожаловали. Видно, не зря стал вертеться над лесом двухфюзеляжный самолет-разведчик — «рама».

В штабе строили такие планы: что, если не дожидаться немцев, что, если самим неожиданно напасть на Никольское и перебить всех карателей? Новые воинские силы будут присланы не сразу. А тем временем с помощью партизан из бригады можно устроить нападение на мост.

Чтобы прийти к какому-то определенному решению, командир и послал в село Юрка и Настю.

В Никольское они пробрались задами дворов.

— Сперва идем ко мне, — сказала Настя. — С нашего чердака школу видно.

— Ну и что? — удивился Юрок. — Зачем мне школа?

— Возле нее машины стоят. Посмотришь.

«А она — ничего, — одобрительно подумал он о Насте. — Котелок варит».

Они прошли немного по улице. Когда встречались немцы, Юрок поджимал левый уголок рта и приподнимал бровь над правым глазом. На такого не то дурачка, не то контуженого не обращали особого внимания. Ко всему же Юрок умел как-то ссутулиться, сжаться.

Так они и шли — несчастный дурачок-оборвыш и де-

вочка, утонувшая в ветхом материнском платке. Больше всего Юрок не хотел встречаться с полициярами: те хорошо знали своих деревенских. Поэтому, еще издали приметив полицияра, он толкал локтем Настю, и они ныряли в какую-нибудь калитку и спешили спрятаться за избой или забором.

— А где школа? — спросил он тихо.

— Вон, — показала Настя, — отсюда только крышу видать.

Двухэтажную школу закрывали высокие старые липы.

— Поближе подойти можно?

— Можно, только там немцев полно. Я ж говорю, с чердака посмотрим.

Юрок уже понял, что в Никольском эсэсовцы и что разместились они, видимо, в школе, поскольку машины стоят возле нее. Ему хотелось взглянуть на школу с разных сторон, так как знал, что Доронин попросил нарисовать план: где стоит школа, есть ли рядом боковые проходы или проезды. Но, подумав, Юрок решил, что осмотрит школу с чердака, раз это наиболее безопасно.

Они свернули в узенький проулок между заборами, вышли на какой-то пустырь, где среди обломков кирпича и ржавых балок лежала на боку разбитая обгоревшая легковушка. С другой стороны к пустырю примыкала еще одна улица.

— Нам туда. — Настя потянула Юрка за рукав, но тут же остановилась: по улице протарахтели два мотоцикла. На них были установлены пулеметы.

Настя привела Юрка во двор, забежала в избу, чтобы показаться на глаза тете Ксюше, потом выскочила назад и опять потащила Юрка за рукав.

— На чердак из хлева полезем — там легче.

Окошко на чердаке было мутным и маленьким. Но школа находилась рядом — через два дома, и Юрок мог хорошо рассмотреть пять грузовиков, стоявших возле нее, и бронетранспортер, приткнувшийся к небольшому кирпичному домику, который примостился на том же дворе.

— Что за домишко? — спросил Юрок.

Настя тоже заглянула в окно.

— А-а, — протянула она. — Директор жил. Иван Матвеевич.

— Теперь там тоже начальство остановилось, — заметил Юрок.

— Не знаю, — пожала плечами Настя.

— Вон и мотоциклы. Те самые. Два. Небось гоняют при штабе.

— Ага, при штабе, — повторила Настя, хотя еще не успела рассмотреть, где стоят мотоциклы.

— Ну вот, — он отошел от окна. — Дело сделано. Можно уходить. Ты проводи меня по селу, слышишь.

— Я с тобой, — вцепилась в него Настя. — Я в отряд хочу. Даром я, что ли, к вам по лесу бегала.

— Даром не даром... Слушай, что тебе говорят.

— Я буду тете Вере помогать. Обеды варить, мыть кастрюли. Я смогу, вот увидишь...

— Без тебя управимся, — рассердился Юрок. — Что тебе Жора сказал, помнишь?

— Какой Жора?

— Георгий Сергеевич, — поправился Юрок, — командир наш. Сказал, чтоб выполняла мои приказы... А ты?!

Она неожиданно всхлипнула.

«Связался», — досадливо подумал Юрок, но почему-то захотелось вдруг успокоить девчонку.

— Ты нам здесь нужна. Понимаешь?

— Понимаю. — А в глазах стояли слезы. — Идем.

Она снова заскочила в дом, выбежала с двумя вареными картофелинами, протянула одну ему:

— Бери.

Жевали на ходу. По улице опять шли, взявшись за руки — ссутулившийся оборванец с сестренкой. Возле последней избы перед пустырем приостановились. Со двора слышались пьяные голоса, смех.

Неожиданно ворота распахнулись, и на улицу вышла подвода. Правил усатый полицаи, позади на сене сидели немец в очках и Артюхин с гармошкой на коленях. Немец правой рукой обнимал свиной окорок. За спиной был набитый чем-то ранец.

Артюхин рванул гармонь, хрипло запел:

Когда б немец-е-ел златые-е горы
И реки, по-о-олные вина...

— Тпру-а, — закричал полицаи-возница и обернулся к Артюхину. — Дай-ка!

Тот протянул флягу, обшитую войлоком, и усатый, запрокинув голову, стал пить. Острый кадык его так и заходил. Но вот полицаи поперхнулся, стал кашлять, трести головой, ругаться.

— Дура, — сказал ему Артюхин, — добро только переводить. — Он отобрал флягу. — Хочешь? — предложил он немцу.

Тот блаженно улыбался, щеки его свекольно пылали. Он был уже хорош.

— Найн, — выдавил он с трудом.

— Ну и хрен с тобой. — Артюхин тщательно завернул крышечку, спрятал. И снова заорал:

Все отдал бы за ласки-взоры...

Телега двинулась, загремели колеса по мерзлой земле. Юрок еще больше ссутулился: подвода была совсем близко. Жалобно вякнув, гармонь вдруг умолкла.

— Стой! — приказал Артюхин.

Телега остановилась.

— Чего тебе? — обернулся усатый.

Артюхин ему не ответил. Он смотрел на Юрка и Настю, прижавшихся к забору.

— Иди сюда, — сказал он и махнул рукой не то Насте, не то Юрку. — Иди, кому говорят.

— Я? — шагнула Настя.

— Не ты, а этот... — Артюхин злобно выругался.

Юрок покосился на карабины, торчащие за спиной у полицейских, нерешительно побрел к телеге. Пошла и Настя.

Возле телеги они стали. Юрок улыбался, поджимая левый уголок рта и приподнимая правую бровь. Артюхин так и впился в него колючими глазами. Немец тоже с интересом рассматривал оборванца. Усатый возница глядел равнодушно, позевывая.

— Ты кто? — спросил наконец Артюхин.

Юрок еще шире заулыбался.

— Брат мой, — сказала Настя, — двоюродный.

Артюхин мельком взглянул на нее (Настю он знал) и снова уставился на Юрка.

— Братец я, — прогнусавил Юрок и добавил: — Двоюродный.

— Откуда ж такой придурок взялся? — проговорил Артюхин, размышляя вслух.

— Из города. В городе их доплет.

Настя сама не знала, как хорошо и ловко она ответила. Полицейский не любил городских, считал их бездельниками и дураками. Поэтому он засмеялся, приоткинувшись на сено и подталкивая локтем немца. Тот тоже

улыбнулся, хотя ничего не понял, и стал протирать платком стеклышки очков.

Затем Артюхин взял гармонь и заиграл «Барыню».

— Пляши, дурак, — крикнул он. — Пляши.

Юрок побледнел, он не только плясать, двинуться с места он не мог.

Полицай перестал играть. Лицо сразу сделалось злым, требовательным.

— Не будешь плясать, приблю. — Он шевельнул плечом, на котором висел карабин. — Ну!..

Артюхин начал играть медленно, а сам весь так и подался в сторону Юрка, словно приготовился к прыжку.

— Дядь, давай я спляшу, — вмешалась Настя. — Я умею. Я хорошо умею.

— Замолчи, сучка, — процедил полицай. И опять Юрку: — Ну!..

Гармонь заиграла еще тише, еще протяжнее. Мехи ее теряли силу, выпускали дух...

— Юрок, — умоляюще прошептала Настя и тронула его за руку.

Он словно проснулся. Понял, пропадет сейчас ни за грош, по-глупому. «Пляши, — сказал он себе, — плюнь, а пляши». Дурашливая улыбка его просветлела, оттаяла.

— Дяденька, — проговорил он противным гнусавым голосом, — играй веселей.

Гармонь полицая ожила, мехи заходили, задвигались.

Юрок начал плясать. Это было зрелище жалкое и смешное.

Полицай наяживал на гармошке, а оборванец притопывал, прихлопывал, бил себя по ляжкам, разводил руками.

Барыня, барыня!
Сударыня, барыня...

выкрикивал Артюхин и рвал, рвал свою гармошку. Смеялся немец. Тоненько, по-бабьи. Смеялся до слез, до икоты. Равнодушный возница тоже широко ощерился, выставил длинные желтые зубы.

Настя приоткрыла рот, словно хотела что-то произнести, да так и оцепенела.

— Вприсядку, — кричал Артюхин, — вприсядку давай, дурень!

Оборванец пошел вприсядку.

— Гут, гут, — говорил немец сквозь смех.

Юрок чувствовал, как колотят его по ногам две «лимонки», спрятанные в карманах. Эти «лимонки» были единственным, что оставалось у него сейчас от настоящей жизни. И каждый раз, когда он вскакивал и они били его по ногам, он ощущал, что он человек, а не шут, выкидывающий коленца перед врагом.

Звуки гармошки вдруг резко оборвались. Словно захлебнулась гармонь своим весельем.

— Уморил, — дернул головой Артюхин, — ой, уморил.

Перестал смеяться немец. Усатый спрятал свои желтые зубы. Настя поправила на себе платок. Все успокоились, только на разбитых ботинках оборванца замер веселый оскал.

Юрок тяжело переводил дух.

— Больше не могу, дяденька. — И склонил голову набок. — Все.

— Пойдешь с нами, — сказал Артюхин. — Для господ офицеров спляшешь, а там видно будет. На пожрать. — Он пошарил где-то в сене корзину, вынул соленый огурец, откусил, похрупал, швырнул под ноги Юрку.

И опять побледнел Юрок, как в тот раз, но лишь на миг. Он же голодный оборванец. Он придурок. Юрок быстро нагнулся, схватил огурец, засунул его в рот, мгновенно съел.

— Дай еще, дяденька.

— Плясать будешь, накормят. Иди следом.

— Ему нельзя, дяденька, — закричала Настя.

— А ты ступай домой, — отмахнулся полицей. — Пошли.

Усатый чмокнул губами. Телега тронулась. Зашагал следом Юрок. Настя постояла немного, бросилась догонять.

Немец заворочался в сене.

— Вас ис дас: ба-ринь-ня, ба-ринь-ня?

— Отстань, — сказал Артюхин, лицо его было хмурым, — напился как скотина, помалкивай.

— Ба-ринь-ня, ба-ринь-ня... — бормотал немец. — Вас ис дас?

— Вас-вас, — передразнил Артюхин. Потом тяжело добавил: — И вас и нас заодно. Всех к твоей матери.

— Мутер, — понял немец и попробовал проговорить по-русски: — Ма-тушка.

Полицай запел:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит...

Свой взгляд он вперил куда-то вниз, в край телеги.

— Как поравняемся с тем проулком, бежим, — шепнул Юрок.

— А куда?

— Подумай, куда надежнее.

А коней мои-их
Отдай ба-атюшке,
Переда-ай поклон
Родной ма-атушке...

— Ма-атушка, — пробормотал немец.

— Лучше всего к учительнице, к Лидии Федоровне, — зашептала Настя.

Телега поравнялась с проулком.

— Бежим! — Юрок тихонько толкнул Настю в бок.

И они что было духу побежали к проулку.

— Стой! — заорал Артюхин.

Он сдернул карабин. Бухнул выстрел. Пуля провыла над головой Юрка. Полицай бросил карабин, закричал вознице:

— Гони вслед! Раздавим гаденышей!

Усатый ловко развернул лошадь, и вот уже загрохотала телега по узенькому проулку.

— Гони! — кричал Артюхин.

Возница гикал, нахлестывая лошадь.

Юрок оглянулся. Телега все ближе, ближе. «Догонят! Что делать?» Проулочек как назло попался — заборы с двух сторон, ни калитки, ни щели. «Через забор махнуть? А Настя?..»

Юрок снова обернулся. Совсем близко лошадь. Он выхватил «лимонку». Дернул за кольцо. Швырнул.

Граната угодила прямо в корзину со снедью. Оба полицая были убиты наповал. Немца осколки не задели, но взрывной волной его хрястнуло об забор. Вгорячах он вскочил, машинально все еще прижимая к себе свиной окорок. Очков на немце не было, со лба струилась кровь. Он тряс головой, ничего не понимая и протягивая свободную руку, словно нащупывал в темноте путь.

Ребята, ошарашенные в первый момент всем случив-

шимся, вновь побежали. Но немец тут же свалился, застонал.

Юрок и Настя больше не оглядывались. Но еще какое-то время им было слышно, как кричал немец да предсмертно храпела лошадь.

ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ

— Что случилось? — спросила учительница. — Настюха, на тебе лица нет.

— Лидия Федоровна, спрячьте вот его. Никто не узнает.

— Но что вы наделали, скажи?

— Я партизан, — проговорил Юрок. Он видел, что выкладывать нужно было все вчистую: учительница смотрела на него недоверчиво. — Мне нужно спрятаться.

Лидия Федоровна упрятала его в подвал. Сверху поставила на крышку сундук, чтобы ее не было видно.

Меж собой Юрок и Настя договорились так: он останется в Никольском до темноты, потому что после взрыва гранаты наверняка всех подняли на ноги; Настя же поспешит в лес, чтобы поскорее передать партизанам все, что разведали.

Юрок затаился в подвале, где было тесно, темно и холодно, но он знал, что просидит здесь до тех пор, пока не стукнет условно три раза учительница и не отодвинет сундук. Он слышал, как она ходила по полу, переставляла стул, звякала посудой. Но ждал лишь одного, когда она стукнет три раза подряд — значит, она выходила на улицу, проверила, нет ли опасности, и ему можно будет уходить.

Тем временем к дому Лидии Федоровны уже приближались эсэсовцы. Вел их староста Сивоконь. Он видел, как во двор к учительнице вбежали двое — паренек и девчонка. Это было после взрыва. А раненый немец, хоть и путано, но все же смог кое-что сообщить. «Значит, они, — уверял староста, — кто ж еще».

Дверь затряслась от ударов.

— Кто там? — шагнула к порогу Лидия Федоровна, но дверь уже вышибли прикладами.

— Где они? — закричал Сивоконь. Петушиный желтый глаз злобно дергался.

— Кто? — спросила учительница.

Староста ударил ее кулаком по лицу.

— Не придуривайся!

Лидия Федоровна отшатнулась, кончиками пальцев провела по рту — кровь. Она словно забыла, чего от нее хотят. Растерянно смотрела на пальцы.

Сивоконь еще раз замахнулся, но один из эсэсовцев остановил его руку, заговорил на ломаном русском:

— Ми знайт, ваш дом партизанен.

— Нет, — проговорила Лидия Федоровна, — вы ошибаетесь.

— Не придуривайся, — не сдержался староста. — Я сам видел — бежали к тебе.

Эсэсовец недовольно посмотрел на него.

— Не надо кричайт на фрау. Отчень некарашо. — Он повернулся к Лидии Федоровне. — Я вас... я вам предлагайт обмен. Фирштейн?

— Не понимаю. Какой обмен?

— Ми даль ваша жизнь за партизанен.

— У меня никого нет.

— Ви будет пожалейт. — Он отдал какое-то приказание — солдаты рассыпались по дому.

Юрок слышал, как хлопали дверцы шкафов, что-то грохнулось с треском на пол, звенела посуда, хрустели под каблуками ее осколки.

Несколько солдат побежали осматривать сарай и чердак. Вернулись ни с чем.

— Где подпол? — спросил староста.

— Вот, — произнесла учительница.

У Юрка остановилось сердце, рука сжимала «лимонку».

Где-то в другом конце комнаты хлопнула крышка. «Второй подпол», — догадался Юрок, вытер мокрый лоб.

— Смотрите, — сказала Лидия Федоровна.

В подпол полез староста, солдат светил сверху фонариком. Было слышно, как Сивоконь ворошил в подполе что-то тяжелое, несколько раз чихнул. Потом выбрался назад.

— Нету. — Он виновато посмотрел на офицера тусклым серым глазом.

— Ми отчень... — немец подбирал слово, но, так и не закончив, произнес: — Прощайт!

Староста и солдаты ушли. Перед порогом офицер обернулся и даже вежливо кивнул.

Лидия Федоровна села на опрокинутый туалетный столик, уронила голову на руки. Она понимала, что за

домом установлена слежка, что просто так фашисты не уйдут, что испытания ее не кончились. Немного посидев, она встала, принялась убирать комнату, затем задула коптилку, легла.

Всю ночь она прислушивалась — не идут ли опять? Нет. Стояла черная тишина. Ни звука не доносилось и из подпола, где сидел спрятанный.

Утром к ней пришли дети. Они ни о чем не знали. Только начали решать задачку по арифметике, опять ворвались эсэсовцы. Старосты не было, зато был переводчик, хорошо говоривший по-русски. Переводчик тоже был в военной форме.

— Вспомнила, где партизаны? — спросил он.

— У меня только дети, — она показала на ребят. — Больше никого нет.

— Это мы проверим. Если соврала, расстреляем тебя и твоих щенков. Выходи!

Вышли во двор. Учительнице и ребятишкам приказали стать у забора. Два эсэсовца навели на них «шмайссер».

Дети жались к Лидии Федоровне. Она молчала, только касалась некоторых рукой — подбадривала. Подкатил мотоцикл. Из его коляски вынули канистру. Поплескали на дом. Подожгли.

Юрок слышал все. Он только не мог понять, почему так тихо, что там делается во дворе. Потом догадался — по гулу огня, по треску горящих досок и бревен.

«Прорваться!» — была первая мысль. У него есть граната. Он ловкий. Может, сумеет. Но на крышке сундук. Ничего, как-нибудь приподнимет, пролезет. И сразу вспомнил слова эсэсовца: «Если соврала, расстреляем тебя и твоих щенков». В отчаянии он стиснул зубы. Значит, остается одно — погибнуть? Сгореть заживо или задохнуться в дыму? Сейчас рухнет кровля, загорится пол.

Он чувствовал, как тепло уже начинало проникать в его убежище. Лихорадочно принялся ощупывать вокруг себя. Ящик, лопата, грабли, какое-то тряпье — нет, пустые мешки... Велосипедное колесо (зачем оно здесь?), разошедшиеся бочки... Нет, одна чем-то наполнена — огурцы? Пошарил рукой в прокисшем рассоле — ничего, только укропные стебли. Стало жарко. Скинул ватник, сунул его в рассол, снова надел на себя.

Подпол наполнился дымом. Юрок потер глаза, закашлялся. Нашупал мешки, стал кидать их в ту же боч-

ку с рассолом. Мешки напаялил на себя. Дышать стало легче. Повалился возле стенки. Будь что будет... Не хватало воздуха...

Вздыхнул поглубже... Какой сильный треск... Автоматная очередь?.. Громыкнуло... Обвалилась кровля?.. Или граната?..

Сознание уходило.

* * *

Очнувшись, он увидел над собой много лиц и небо. Серое ноябрьское небо. Оно было очень ярким. Он закрыл глаза.

Послышались голоса. Некоторые из них он узнавал.

— Юрок... Дорогой... Жив!

Это голос Георгия Сергеевича. Не такой громкий, как всегда. Но его голос, конечно, его.

— Юрок, держись! Еще повоюем, Юрок...

Голос Доронина, начальника разведки.

— Юрок!.. Мальчик!..

Нет, этот женский голос он не знает. Чей же?

И еще голос — девчоночий, всхлипывающий:

— Юрок, мы успели. Ты ведь жив, Юрок? Жив, а?

Он разомкнул веки.

Так и есть: командир, Доронин, учительница, партизаны, Настя. «Настасья Сыромятникова...» — вспомнилось ему.

Настя плакала.

Какое яркое небо! Снова закрыл глаза.

— Ты будешь жить, Юрок! Слышишь?..

Это опять Настя.

— Буду, — прошептал он.

ПАДАЛ СНЕГ

После разгрома карателей в Никольском и взрыва моста в Шубенках «мстители» оставили свой лагерь.

Цепочкой по одному, по два уходили они тропой с Медвежьих бугров. Впереди, за болотом, их ждали подводы и люди из партизанской бригады. А пока приходилось нести все на носилках: раненых, ящики со взрывчаткой и патронами, запасы продовольствия, котлы и кастрюли.

С ночи падал снег. Медленно, как-то уютно, по-мирному опускались снежинки. Все было убрано чистым по-

кровом, и ничто не напоминало о войне, а люди, неспешно идущие рядом с Юрком, казалось, вышли просто так прогуляться по белому лесу.

Юрок шагал среди легкораненых. Ему предложили было лечь на носилки, но он так горячо возмутился, что Седых только рукой махнул: «Ладно, пусть как хочет». И тогда Юрок потребовал отцовский вещмешок, и ему дали. Он взвалил его на плечи и потребовал автомат («Руки-то свободные!»). И опять же — ему уступили, хотя знали, не понадобится Юрку оружие: расстается он на днях с отрядом, улетит на маленьком связанном самолете на Большую землю.

Штаб партизанской бригады договаривался насчет рейсов этого самолета по радио. На нем доставляли медикаменты и патроны, свежие газеты и взрывчатку, батареи для рации и махорку. Назад на нем переправляли через линию фронта некоторых раненых, партизанские донесения, документы, захваченные у врага.

До слез было обидно Юрку покидать отряд.

— Георгий Сергеевич, — уговаривал он командира, — вы ж меня знаете — не отсылайте.

— Юрок, дорогой. Знаю — ты смелый боец, хороший разведчик. И все же ты улетишь отсюда... Будешь жить, как другие дети — спать в кровати, есть за столом, учиться.

— Я хочу мстить... за отца.

Берсеньев нахмурился, посуровел:

— Я сказал — ты уедешь.

— Почему?

Командир промолчал.

— Конечно, я теперь вам не нужен.

— Нужен, Юрок... Ой, как ты нам нужен. Только по-другому... как сын.

— Вот и не отсылайте.

— Нет, Юрок. Страшная работа на войне — не для детских глаз и сердца.

— Я не боюсь.

— Знаю. Мы за тебя боимся.

— Бойтесь за меня отвечать, — с вызовом сказал Юрок. — Не бойтесь, ни от кого не попадет.

— Отставить разговоры, — гаркнул Георгий Сергеевич, но тут же обмяк: он досадовал на себя. Где найти слова, как объяснить этому мальчишке — умному и храброму, — что несовместимы человеческая душа и кровавое, тупое, грязное чудовище — война. Да, мы

посылали тебя в разведку: у нас не было выхода. Но теперь в крупном соединении у нас будут другие возможности. Как тебе все это сказать, чтобы ты не обиделся, Юрок, дорогой?

Берсенев обнял Юрка, шел некоторое время так с ним рядом.

И Юрок все понял без объяснения: он прав, этот сильный громогласный человек, почему-то прав. И не-зачем выяснять. Прав — и все.

Он смотрел на сосны и ели, слегка присыпанные первым снегом, и думал: «Все равно я сюда приеду. В эти леса. Потом, после войны. Я найду сосну, под которой лежит отец, коснусь земли: «Папка, я за тебя мстил...» Найду пестрого дятла. «Скажи мне, дятел, ты помнишь моего отца? Мы с ним смотрели на тебя, помнишь?» И еще он думал, что отыщет Настю. Скажет: «Здравствуй, Настасья Сыромятникова...»

Шагали цепочкой партизаны.

Впереди шел Моргунок. Теперь он был вооружен не «шмайссером», а ручным пулеметом «дегтярем». Рядом ступал длиннорукий Федот, увешанный гранатами. Где-то в середине цепочки шел за летчиком Лобановым Юрок, ближе к хвосту шли повариха тетя Вера и учительница Лидия Федоровна...

Снег потихоньку падал, падал.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРЕКРАСНОГО ЛЕТА

Рассказ

Она жила через улицу, напротив моего дома. Я звонил ей по телефону каждый день, думал — может, она вернулась с дачи.

— Леночки дома нет. Еще не приехала, — скрипучим голосом говорила ее бабушка. — А кто спрашивает?

— Знакомый, — отвечал я и вешал трубку.

Сегодня я опять набрал ее номер. И снова подошла бабушка и сказала, что Леночки нет.

— А кто ее спрашивает?

— Знакомый.

— У Леночки знакомых много. Может, вы все же назовете свое имя?

Называть имя не хотелось. Она и так, наверное, запомнила мой голос. Наболтает Ленке — вот, мол, названивал, телефон оборвал. Но это еще нужно доказать. Скажу: нет, не звонил, сам только перед школой приехал, гостил у тетки в деревне.

— Так что же передать Леночке?

Вот въедливая старуха!

— Ничего.

— Как же так — ничего?

— Очень просто.

— Ну, имя ведь нетрудно сказать.

— Скажите, звонил знакомый. — И я поспешил повесить трубку.

* * *

Лена приехала тридцать первого августа, в последний день каникул.

— Здравствуй, это я! — задохнулся я от волнения. «Здравствуй, Димка!» — ожидал я услышать в ответ обрадованный голос.

Но она сказала:

— Кто это?

— Да я же.

— Кто — я?

Может, не туда попал? Но голос-то ее.

— Это я, Димка, — проговорил я неуверенно.

— Димка?

Она помолчала.

— Ну да, Мухин, — сказал я с досадой.

— Здравствуй. Ты что, Димка?

— Ничего. Выходи гулять.

— Да я только приехала.

«Знаю», — хотел сказать я, но вовремя подумал, что тогда она догадается, что это я ей названивал. Бабка небось уже все доложила.

— Ну вечером выходи.

— Нет, — сказала она, — наверное, не получится.

— Почему?

— Потому что... — она помялась немного, — дел много.

Я подумал, что она сейчас начнет перечислять свои дела, и тогда окажется, что у нее действительно совсем нет времени.

— Послушай, — заторопился я, — успеешь все сделать. Я из автомата звоню, тут народ собрался. — Я постучал монеткой по стеклу, будто меня кто-то торопил. — Выходи вечером, слышишь?

— Нет, я не смогу.

— Я буду тебя ждать! — крикнул я и нажал на рычажок автомата.

Последнее слово осталось за мной. Теперь она знала, что я буду ее ждать. Какие тут могут быть дела? Не виделись почти все лето.

Я с ней познакомился в мае. До конца учебного года оставалось две недели. Все уже ходили как шальные: вот-вот каникулы, лето. А я был зол на весь мир и больше всего — на англичанку. Это она мне сказала: «С твоими знаниями, Мухин, в восьмом классе делать нечего». По другим предметам я кое-как карабкался, но по-английскому были одни двойки. Тогда я решил, что и терять мне тоже нечего. К следующему уроку я протянул между рядами тонкую медную проволоку, которую срастил из небольших кусочков. Их коротенькие концы я загнул в разные стороны. Англичанка пошла и тут же порвала чулки. Я громко хмыкнул.

— Остроумно, — сказала англичанка. — Посмотрим, как тебе будет весело у доски.

Было невесело. Я мямлил, заикался, в общем «тянул резину».

— Знания на уровне березового пня. — Она вывела в журнале очередную двойку.

Никто не засмеялся: знали, какие у меня кулаки.

— Остроумно, — сказал я и пошел к своей парте.

Она пожаловалась директору. Он вызвал мать, грозил выгнать меня из школы. Мать расстроилась, плакала. «Мне вас жаль, — говорил директор, — но что я могу сделать? Он у вас совершенно отпетый хулиган». Все же мать упросила, уговорила директора.

То, что я «отпетый», я давно знал. И все так считали. Ребята говорили, что даже учителя меня боятся. Это мне нравилось. Передо мной заискивали не только в моем классе. На перемене я свободно заходил в любую дверь и чувствовал себя как дома. За одних заступался, с другими дрался. Из учителей меня любил только физкультурник. Я хорошо бегал на длинные дистанции, ставил рекорды в тройном прыжке, плавал в бассейне и за сборную школы играл в футбол. «Наша гордость», — говорил обо мне физкультурник. И я посматривал на всех с улыбочкой.

В своем дворе я тоже слыл за шпанистого парня. И тоже со мной никто не связывался: видели, сколько раз я мог подтянуться на пожарной лестнице. Дядя Федя, наш дворник, всех гонял с нее, а мне позволялось. Я лазил по ней на крышу — там стояла моя голубятня. Восемь белых «почтарей» было у меня. Вернее, не у меня, у брата. Но он ушел в армию. Голубятня стала моей.

Еще я любил выжигать. Как-то попало ко мне в руки увеличительное стекло. И стал я выжигать где придется: «Мухин» или просто «Муха». Интересно было смотреть, как под стеклышком появлялась яркая солнечная точка, потом шел дымок, и точка становилась черной. Соединишь несколько таких точек — и вот уже буква М. Потом У. Потом... В общем, трудно удержать руку, она словно сама выводила фамилию.

Но что толку писать везде одно и то же. Тогда под моим стеклышком возникла вдруг веселая рожица с ртом до ушей. И тут пошло — на кусочках фанеры заплясали усатые зайцы, появились кошки с выгнутыми спинами, встали на задние лапы барбосы. Я не знаю, хорошо они получались или нет. Просто мне нравилось этим заниматься. Но я никому не показывал своих зверей. Засмеять меня бы не засмеяли — кто посмел бы! —

а все же... Я выжигал на крыше. И там же складывал все фанерки. Много их накопилось.

Но главным для меня оставались голуби.

И вот однажды — это было в мае, — когда я запускал своих голубей, ко мне подошли девчонка и парень в клетчатой ворсистой кепке. Отличная была кепочка, ничего не скажешь. Новая, широкая, сшитая по последней моде. Только зачем он надел ее — дни стояли жаркие, солнце так и припекало. Девчонку я знал — Ленка, она жила в доме напротив, — а парень был не наш. Он заходил иногда за Ленкой. Заходил, и ладно. Мне какое дело. Это меня не касалось.

Они стояли, смотрели, как я подбрасывал голубей одного за другим и свистел вслед.

Стая делала круги. Белые крылья трепыхались, сверкали в голубом небе.

— Красиво, — сказала Ленка. — Правда?

— Ничего, — проговорил парень.

Это про моих-то голубей — «ничего»! Я насторожился.

— А что это за голуби? — спросила она, шагнув ко мне.

— Обыкновенные, — сказал я, — почтари.

— Барахло, не голуби, — заметил парень, прищуриваясь.

— Что? — Я как раз запустил последнего. — А ну повтори.

— Барахло, — сказал он и улыбнулся. Он, видно, хотел порисоваться перед девчонкой.

— Сам ты барахло. — Я так дернул за козырек, что кепка надвинулась ему на самый подбородок.

Парень что-то мычал под кепкой, не мог ее сразу снять.

— Что ты сказал, керя? — спросил я вежливым голосом и посмотрел на ребят, которые обступили нас, зная, что вот-вот начнется представление. — Мы тебя не поняли, керя.

«Керя» и «кирюша» — это были мои любимые словечки.

Наконец он справился со своей кепкой, надел ее снова.

— Ах ты гад! — Он хотел меня ударить, но я перехватил его руку.

Он махнул другой рукой, я поймал и ее.

— Ты что, дорогуша, пришел к нам во двор, а ведешь себя так плохо.

Все засмеялись.

Парень попробовал вырваться, но я держал его крепко.

— Пусти, — сказал он. — Вцепился, как паук.

— Нет, кiryюша, я не паук, я Муха.

Пацанва опять засмеялась.

Мой «керыя» задержался еще сильнее. То ли он вдруг понял, что очень неудачно нарвался, то ли слышал обо мне.

— Ну пусти, — заговорил он просительно. — Слышишь?

— Вот и познакомились. Очень рад. Оч-чень. — Я дернул его за руки, парень оказался на корточках.

— Отпусти его, — проговорила Ленка.

Парню было очень неудобно сидеть на корточках. Он посмотрел на меня снизу.

— Пусти. Я же шутил, слышишь?

Лучше бы он не говорил этого. Уж очень жалкий вид был у него. Даже бить расхотелось. Слизняк какой-то попался. И все это почувствовали, и девчонка больше не заступалась. Наверное, поняла, что грош цена такому парню.

Я не знал, что с ним делать. Может, врезать разок? Не стоит мараться.

— Я шутил, слышишь? — скулил он снизу.

Но не отпускать же его просто так. Я огляделся по сторонам. И тут на глаза мне попала бочка из-под белил — у нас только закончили ремонт дома. Отличная мысль мелькнула в голове.

— Вставай, — сказал я и отпустил руки.

Он хотел сразу уйти.

— Постой. До угла дома пройдешь в наморднике.

— Каком наморднике?

— Да стой, говорят тебе! -- Я опять надвинул ему кепку до подбородка.

Он попробовал снять. Но я сказал:

— Не трогай, — взял его за руку. — Идем.

Он не двигался.

— Идем, а то бить буду.

Я повел его к бочке.

— Стой.

— Пришли, что ли? — Он хотел было снять кепку.

— Намордник не трогай.

Ребята стояли, надрывали животики. Конечно, смешно: вместо лица серое пятно в мелкую клеточку.

Я заглянул в бочку — так и есть: на доньшке оставалась краска. Тогда я обмакнул палец и стал водить по его кепке. Нарисовал глаза, нос, прямой длинный рот.

— Фантомас! — закричали ребята и попадали от смеха.

Он с усилием снял кепку. Взглянул.

— Что ж ты... — проговорил он и осекся.

— Ступай, керя, домой, — сказал я ласково.

И он пошел.

— Фантомас! — кричали ему вслед и свистели. — Фантомас!

Веселое получилось представление.

А на другой день я опять встретил Ленку.

— Здравствуй.

— Здравствуй, — ответила она.

— Что у тебя за книжечка? — Я выхватил книжку, которую она держала в руке.

«The Gadfly» было написано на обложке. Надо же — английская книга!

— «Ды... ды гад...» — попытался я прочитать.

— «Зе гэдфляй», — подсказала она. — Это «Овод». Читал?

— Читал. — Я вернул книгу. — И кино видел. Толковая вещь.

— А у тебя голуби толковые.

— Угу, — сказал я. — Хочешь посмотреть?

Мы полезли на крышу. Люблю, когда хвалят моих голубей. Мы смотрели на них сквозь проволочную решетку, а потом я достал ей одного, дал подержать.

— Какой чудесный!

Для меня эти слова были как мед. Я совсем раздобрился.

— Запустить хочешь?

— Хочу. А как?

— Очень просто.

Я показал, как нужно взять голубя, каким движением подкинуть.

— Сильно только не бросай.

— Хорошо, — сказала она и подкинула.

Голубь захлопал крыльями, пошел вверх. Я засвистел так, что задрожали в доме стекла.

— Ты меня оглушил, — засмеялась Лена.

— Могу еще сильнее. Хочешь?

— Не надо. — Она замахала рукой. Потом спросила: — А меня можешь научить?

— Пара пустяков. Легче всего в четыре пальца. Язык подгибаешь так. — Я показал. — Ну... Не так. Придержи зубами... Во! Теперь закладывая пальцы и дуй.

У нее поначалу выходило какое-то шипение. Мы смотрели друг на друга, смеялись, потом я опять показывал. Свистеть в четыре пальца научилась быстро. Но в два получалось еще неважно.

— Ничего, — успокаивал я, — научишься.

— Обязательно, — говорила она и смеялась.

Мы поторчали на крыше с полчаса, потом она сказала:

— Мне пора.

— Погоди, успеешь.

— Нет, пойду заниматься английским.

— Тоже мне занятия! А то посвистели бы еще. — Я улыбнулся.

— Нет, — сказала она серьезно. — В следующий раз. Спасибо.

— Как хочешь.

Она шагнула к лестнице и вдруг увидела одну из моих фанерок.

— Ой, что это за песик?

— Да так. — Я поспешил спрятать фанерку. Там был выжжен вислоухий щенок.

— Ну покажи, что ты?

— Чепуха, — сказал я. — Баловался, делать-то нечего. — Но все же отдал ей фанерку.

— Какой славный!

Кроме физкультурника, меня никто никогда не хвалил. Теперь я готов был от смущения провалиться сквозь землю, вернее сквозь крышу.

— Но больше мне нравятся знаешь какие собаки? — проговорила она.

— Какие?

— Лохматые-лохматые.

— Пудели? — спросил я.

— Пудели кудрявые, а не лохматые. Они мне тоже нравятся.

«Попробую сделать пуделя», — подумал я. Настроение у меня было отличное. Мне тоже захотелось за что-

нибудь ее похвалить. Я вспомнил про ее английскую книгу.

— Послушай, а эту «Ды гэдфляй» ты сама читаешь?

— Сама. А что?

— Ну ты даешь! Я думал, родители.

— Родители тоже знают английский. Мама переводчица. А определенный артикль ты неправильно произносишь. Нужно говорить не «ды», а «зэ».

— Я и говорю «ды».

— А нужно «зэ».

— У нас англичанка говорит «ды».

— Да ну тебя! Просто ты не можешь произнести этот звук. В русском его нет. Язык нужно чуть высунуть между зубами. Вот так.

Теперь я мучился со своим языком, а она говорила: нет, не так, слишком высунул, не прижимай его к зубам.

И опять мы смотрели друг на друга и смеялись.

— Вообще это чушь, — сказал я, насмеявшись. — Какая разница «ды» — «зэ». Меня из-за английского и так на второй год оставляют.

— Из-за английского? — Она посмотрела на меня с таким сочувствием, что мне вдруг впервые стало жаль себя. Действительно, сидеть второй год — удовольствие маленькое.

Мы подошли к лестнице, чтобы спуститься.

— Постой, — сказала она. — Хочешь, я буду с тобой каждый день заниматься?

— Ты?

— Ну да. Я же в специальной школе учусь. У нас все на английском. Хочешь?

Я пожал плечами.

— Ну говори. Что же ты молчишь?

— Не знаю, — сказал я.

Что она могла сделать? Я уже давно не брал в руки учебника. Все запустил.

Лена раскрыла книгу.

— Почитай немного. Хоть несколько строк.

Запинаясь, я стал читать, и она меня поправляла. Мягко, даже как-то ласково. Но вот попалось длинное слово, и я стал перед ним, как перед запертой дверью.

— «Вáндерфул», — прочитала она. — Хорошее слово. Ты запомни. Значит — «прекрасный», «удивительный». Придумай с ним несколько выражений.

- Wonderful book *, — сказал я.
- Правильно, — обрадовалась она.
- Wonderful day **.
- Молодец! Ну еще.

От похвал у меня даже голова закружилась. Больше придумать ничего не мог.

— Wonderful summer. — Она улыбнулась. — Прекрасное лето.

— Да, — сказал я. — Wonderful summer.

— Будешь заниматься?

Я опять пожал плечами.

— Эх ты! — проговорила она. — Заранее сдался. Не знала, что ты такой слабовольный.

— Я?!

— Кто же еще?

У меня прямо кулаки сжались. Никто не говорил мне таких слов. Никто не посмел бы. Но она смотрела на меня участливо, хорошо так смотрела.

— Ладно, — сказал я, будто делал ей одолжение. — Давай.

Мы стали заниматься с того же дня. Возле голубятни на крыше стояла скамейка. Там мы и занимались. Мой учебник был для нее все равно что для меня букварь первоклассника. Мы читали уроки, писали упражнения, учили слова. Но больше всего читали.

Я забросил свои дела. Даже голубей не гонял, только кормил их. Вернее, мы вместе кормили. Это было для нас как перерыв, как перемена в школе.

Необыкновенные это были занятия. Может, поэтому они мне и нравились.

Но однажды Ленкина мать заметила, как мы спускались по лестнице.

— Лена, — подошла она к нам, — зачем ты туда лазила?

— Учили английский, — сказала Ленка и засмеялась.

— На крыше?

— А что?

— С ума сошла! Идем домой.

Они пошли, а я остался возле лестницы.

— И вообще не встречайся с ним больше, — сказала мать, приглушив голос. — Это же хулиган. Муха. Его вся улица знает.

— Ну что ты говоришь! — возразила Лена.

— * Прекрасная книга.

** Прекрасный день.

— Не спорь со мной, я знаю, что говорю.

Мы все равно продолжали встречаться. Уезжали на канал и там, на берегу, ложились и раскладывали свои учебники и тетради. Май стоял жаркий, как лето. Мы даже купались. А потом опять начинался английский.

Этот проклятый учебник я не выпускал из рук. Я таскал его повсюду с собой, будто это была книга про Шерлока Холмса.

В восьмой класс я все же перешел. Англичанка спрашивала меня в присутствии еще двух преподавательниц. Целая комиссия. Оказалось, что я знаю на твердую тройку. Англичанка была очень удивлена, я еще больше.

Наступили каникулы. Ленка уехала на дачу, а я — в деревню к тетке, только не на все лето, на месяц. Тетка считала, что меня и месяц вынести — уже подвиг.

Когда последний раз я виделся с Ленкой, она дала мне небольшую английскую книжонку.

— Почитай летом. Ты ее одолеешь, она легкая.

Вгорячах я хотел подарить ей пару голубей, но она сказала:

— Спасибо. Что я с ними буду делать?

Действительно, зачем они ей? И прилетят они сразу же ко мне. Вернутся.

Я подумал, что все равно что-нибудь ей подарю. Непременно. Завтра же. Только что? Ну как же — выжгу для нее пуделя.

Но назавтра она уехала.

Теперь, когда она опять появилась в Москве, произошел вдруг такой дурацкий разговор. «Не могу», «много дел», — вспоминал я ее ответы. Но я ведь успел сказать ей, что буду ждать. Она знает, где. Там, где всегда. Недалеко от дома, у телефонной будки.

* * *

Я заготовил фразу: «I am very glad to see you» *. Это была правда. Я очень хотел увидеть Ленку. За пазухой у меня была фанерка с пуделем.

Время тянулось. Я уже больше часа стоял возле будки, а Ленка не выходила. Сам виноват: нужно было назвать определенный час. Но откуда же я мог знать, когда она освободится!

Прохаживаясь около телефонной будки, я то и дело

* Очень рад тебя видеть!

посматривал на ее подъезд. И все же я пропустил тот момент, когда она из него выходила.

Она шла не одна. Рядом с ней вышагивал какой-то парень в отутюженных брючках и сером свитере с красной полосой. На носу у него были очки, он что-то оживленно болтал, размахивал «оглоблями» и, по-моему, так увлекся, что ничего перед собой не видел.

«Так, так, значит! Дела!»

Я вышел из-за будки неожиданно и остановился перед ними.

— Здравствуй. Значит, прекрасное было лето? — сказал я. — Wonderful summer.

— Димка?.. — проговорила она и отвела глаза в сторону. — А мы, понимаешь...

Но тут она взглянула на меня открыто. Даже головой слегка дернула, словно что-то стряхнула.

— Да, лето было прекрасное. Познакомься. Это Миша. Он жил на соседней даче.

Миша улыбнулся, протянул руку.

— Мухин, — сказал я и сжал ему руку.

Я сжал ее так, что этот парень с соседней дачи потянулся от боли, словно его дернули кверху. Лишь очки блеснули. Вот кто, значит, теперь ее друг... Ну и типчика отыскала!

Резким движением я заломил ему руку за спину. Бедный Миша согнулся, чуть не сел на землю в своих отутюженных брючках. Я стукнул его коленом под зад, и он, нелепо растопырив руки, пробежал несколько шагов.

— Мотай отсюда, керя.

Он бросился на меня, смешно размахивая длинными руками. Но я увернулся. Левой я дал ему под дых, правой — по скуле снизу. Он упал. Поднялся без очков, пошатываясь.

Мне было смешно. Лицо такое обалдевшее. Я мог отлично его обработать. Явился бы домой как конфетка. Мои кулаки, они никогда не подведут. Но у меня не было злости.

— Мотай, пока не поздно, — сказал я ему.

Миша нашел под ногами очки, нацепил. Одно стеклышко треснуло. Я думал, он потопает домой. А он, дурачок, двинулся на меня.

Я сжал кулаки, но стоял спокойно, только правый локоть отвел чуть назад. Он был уже совсем близко. Кулаки мои налились приятной тяжестью.

И тут ко мне метнулась Ленка. От неожиданности я чуть не ударил ее.

— Уйди, Муха! — закричала она. — Оставь его! Убирайся!

Она задыхалась, лицо ее было в красных пятнах, волосы сбились. Я никогда не видел ее такой. Даже не мог представить. Она готова была вцепиться в меня. Рвать, драть меня на мелкие клочки. Она была как дикая кошка. Как зверь, который защищает своего детеныша. Только этот Миша мало походил на детеныша. Он был на голову выше меня.

Я отступил. Как-то нехорошо стало мне. Просто паршиво. Она никогда не называла меня «Мухой», хотя, конечно, знала, что другие так зовут. И эта ярость, обрушенная на меня.

Драться уже не хотелось. Я разжал кулаки.

Пятна на Ленкином лице исчезли. Теперь оно было бледным. Очень красивым.

Миша стоял за ней. Губы его были сжаты. Глаза под очками горели.

«Повезло тебе», — подумал я.

Она повернулась к нему, вытерла платочком грязь со щеки.

— Wonderful summer, — сказал я. И тут у меня выпала эта самая фанерка с пуделем.

— The last day of the wonderful summer. — Лена даже не взглянула ни на меня, ни на фанерку.

Я все понял. «Последний день прекрасного лета», — сказала она, сделав ударение на слове «the last» — «последний».

Они уходили не спеша, спокойно.

Кулаки мои опять сжались. Но я словно прирос к месту и не мог шевельнуться.

«Последний день, — думал я. — Вот он какой. Последний... Значит, другого не будет».

Впервые я чувствовал себя побежденным.

А с фанерки смотрел на меня кудрявый пудель и высовывал язык.

КОРОЛЬ, КОРОЛЕВА И ГЕНКА

Рассказ

Морковка попалась невкусная. Но он терпеливо съел ее, достал из кармана другую. Недавно Генка услышал, что от моркови растут. А он рос медленно — так считал он сам. Вот и пришлось взяться за морковь. Хотелось поскорее стать высоким. Это было необходимо.

На волейбольной площадке еще никого не было. Генка пришел сюда слишком рано. Но занятие ему нашлось. Доев морковку, он вынул из ящика банку с разведенным мелом, небольшую кисть и, согнувшись, стал подновлять стертые и затоптанные линии.

Над головой застрекотал вертолет. «На Сухуми пошел, — подумал Генка и с недовольством посмотрел на тень вертолета, которая, подскакивая, бежала по горным склонам. — Значит, только четыре. Ждать еще целый час». И Генка снова принялся выводить неширокую белую линию.

Волейбольная площадка была возле самого моря. Если глядеть на игру издали — от шоссеиной дороги, — то казалось, что мяч выпрыгивал прямо из морских глубин и, что-то высмотрев на берегу, вновь спешил нырнуть в воду.

Игра начиналась с пяти часов — как только дом отдыха пробуждался от послеобеденной дремы, а солнце уходило за густые серо-зеленые кроны трех огромных платанов.

К этому времени Генка уже всегда был на площадке. Его мать — она работала официанткой в доме отдыха — часто жаловалась на сына, выглянув из окна столовой: «Мой-то опять там. Все болеет. Вот больной-то. И вправду тронулся волейболом этим».

И она была права. Генку не принимали в команду. Здесь играли только взрослые — те, которые приезжали сюда из разных далеких городов, и местные, которых все звали «мастерами». А Генка учился в седьмом классе. «Ничего, — говорил он себе, — еще годик, ну два, а там посмотрим».

Он мог стать, конечно, и в команду взрослых — к таким, которые на волейбольную площадку выходят

просто так, от скуки. У них была своя площадка. Называлась она почему-то «малышовой». Они бы не выгнали его, эти мазила с «дырявыми руками». Но Генка ни за что не пошел бы к ним.

Он первый презирал бы себя за это. Еще бы! Уже несколько раз он выступал за сборную школы. У него была настоящая форма — красная майка, белые трусы и кеды.

А на «малышовую» площадку выходили в чем попало: в ботинках, в босоножках, в туфлях. Мужчины нелепо прыгали, а после подтягивали брюки. Женщины пищали и взвизгивали. Когда мяч далеко улетал, все кричали надоевшие остроты: «Авторал!» или «Ножками, ножками давай!» За счетом здесь не следили, а из-за каждого очка спорили и галдели. Все это казалось Генке таким несерьезным, что и смотреть-то было противно.

На прогретой солнцем площадке белые линии высыхали быстро. Генка разогнулся, подошел к сетке, попробовал, как она натянута. Потом он разбежался и подпрыгнул, сделав резкий взмах рукой, но края сетки, до того места, где упруго натянулся трос, он не достал.

Ну и пусть! Настроение у него не испортилось. Главное — что солнце сегодня светило совсем по-летнему. И нет дождя. И нет ветра. Генка вспомнил, как на прошлой неделе из-за ветра не окончили игру. Мяч улетал с одной стороны площадки на другую. Нет, это было бы слишком жестоко, если бы сегодня лил дождь или дул ветер.

С утра Генка беспокоился, потому что было пасмурно и на горах лениво повисли серо-белые облака. Он боялся, что будет дождь и что встречу дома отдыха с пограничниками перенесут на другой день. А с ними не играли уже больше месяца. Летом, когда в доме отдыха собиралось много молодежи — а поэтому были и хорошие волейболисты, — пограничники приходили часто. Ради таких случаев культурник Вартан доставал новенький желтый мяч, и начиналась настоящая игра.

Но сейчас уже был конец октября. Молодежи стало меньше, погода портилась, и пограничники в дом отдыха не приходили, справедливо считая, что там у них не окажется стоящих соперников. Местные «мастера» еще навевывались, но и то изредка, от случая к случаю.

Дни волейбола были сочтены. Лишь мазила со своими «дырявыми руками» резвились на «малышовой» площадке. Еще немного — и они заняли бы вот эту площадку,

ровную, укатанную, с хорошо натянутой сеткой. И вдруг случилось невероятное.

В доме отдыха появился киевлянин Гриша, высокий парень в синем тренировочном костюме. Тот день Генка не забудет никогда. Перед игрой киевлянин снял часы и протянул Генке: «Подержи пока». Генка взял их и подумал: «Стряхнуть боится. Значит, бьет». Когда киевлянин лишь только вышел на площадку, Генка — даже непонятно почему — почувствовал в нем сильного игрока. Потом киевлянин взял несколько мячей — уверенно, без труда, именно так, как и должен был взять их в представлении Генки. Потом киевлянин оказался у сетки. Ему выкинули мяч. Вартан, игравший на другой стороне, крикнул: «Пуст бьет! Нычэво нэ будэт!» В этих словах обычно выражалось пренебрежение к противнику и даже насмешка. Они означали примерно следующее: «Брали мы не такие мячи. Что нам твой удар». И киевлянин, выпрыгнув над сеткой, ударил. Никто не успел и шевельнуться, а мяч, гулко стукнувшись о площадку, отскочил высоко и победно.

Потом, когда киевлянину опять кинули мяч, Вартан заорал: «Блок!» — и двое «мастеров» прыгнули, выставив над сеткой руки. Но киевлянин ударил расчетливо: мяч с треском угодил в руку одного из «мастеров» и отскочил в аут. Он не только бил, этот киевлянин. Он и ловко обманывал, «тянул», казалось бы, безнадежные мячи, а уж если ставил «блок», то накрепко, непреодолимо.

После игры он взял у Генки часы и ушел купаться в море. Вартан молча смотрел ему вслед. Генка тоже понимающе помолчал и сказал: «Прилично играет, а, Вартан?» — «Прылычно?! — переспросил Вартан. — Как король играет, панымаэшь». Генка прикинул в уме: «Король волейбола! Звучит! Это здорово! Молодец Вартан: хорошо сказал». И Генка тут же прозвал киевлянина Королем. А Вартан теперь уже каждый день стал выносить новенький желтый мяч.

А потом появилась она — приехала из Москвы. Звали ее Света. Она тоже была высокая и стройная. Прическа ее напоминала перевернутое гнездо, а глаза были веселые и насмешливые. К волейбольной площадке она пришла в ярко-голубых спортивных брючках. Синтетическая ткань красиво обтягивала ноги. У Генки замерло сердце. Еще один игрок! Да какой! Он подумал, что она тут же встанет на площадку и... Но она села на скамеечку,

и только тогда Генка увидел на ногах у нее босоножки с золотистыми сплетениями. Нет, она не стала играть, она лишь смотрела на игру.

На следующий день она играла... на «малышовой» площадке. Что это была за игра! Мяч ее не слушался, делал все, что хотел, летал вкривь и вкось.

Но она не смущалась, а лишь удивленно вскрикивала и посмеивалась. И это особенно сердило Генку. Он даже решил не смотреть в ее сторону. Смех ее казался притворным. «Чего кривляется?» — думал Генка.

Зато киевлянин Гриша все чаще и чаще поглядывал на «малышовую» площадку, а один раз даже не заметил мяча, который шел прямо на него. После этого случая Генка возненавидел москвичку, так же как и ее смех, ее босоножки и даже голубые брюки.

Вскоре она, правда, перестала резвиться на «малышовой» и пришла смотреть волейбол сюда, к «мастерам». Она хлопала Королю в ладоши и вскрикивала.

Назавтра Генка увидел их на пляже. После шторма, что был на прошлой неделе, вода в море нагревалась медленно. И поэтому, хотя день был солнечный, купались немногие. Море чуть дышало, нехотя облизывая мелкие камешки на берегу. На воде то и дело вспыхивали яркие блики — словно ныряли и выныривали кушочки солнца.

Генка не стал подходить к Королю и москвичке. Он смотрел на них издали. Они лежали на поролоновых ковриках — такие всем давали в доме отдыха — и разглядывали какой-то журнал.

Иногда они забывали про журнал и о чем-то говорили и бросали в воду камешки. На москвичке были темные очки, а ее высокая прическа теперь уже, на ярком солнце, напоминала золотую корону. Настоящих корон Генка, конечно, не видел, но они, должно быть, были именно такими. «Король и королева, — подумал Генка, но тут же рассердился на себя. — Ну какая же она королева! Так себе — мазила «с дырявыми руками». Москвичка вдруг посмотрела в Генкину сторону, словно его мысли долетели до нее, и они пошли к воде. У самой воды она надела белую резиновую шапочку, и золотая корона исчезла. «Сейчас завизжит», — подумал Генка, вспомнив про холодную воду. Москвичка ни разу не взвизгнула. Она игриво плеснула на Короля и со смехом вошла в воду. Она плыла легко и красиво. Король догнал ее и перегнал, но все равно он плавал хуже.

Уж Генку-то в этом не обманешь. И верно: Король вскоре повернул назад. А москвичка все плыла и плыла. И Генке было обидно за Короля, но злиться на москвичку он сейчас не мог. Это было удивительно. И тем не менее это было так.

В тот же день, когда солнце ушло за платаны и на волейбольной площадке собрались игроки, Генка вдруг увидел, как Король снял часы и передал их москвичке. Не ему, как всегда, не Генке, а ей, москвичке. Этой длинноногой москвичке. Этой писклявой москвичке. Ну ладно... Нет, разве можно обижаться на Короля?! Он играл как волшебник. Генка даже не мог и мечтать о такой игре.

Мягко, словно дельфин из воды, выпрыгивал Король над сеткой. Все тут же вскакивали со своих скамеек. Какой-то земляк Короля кричал: «Гриша, зроби!» Резкий, короткий взмах руки — удар. Гулкий, как выстрел, удар отзывался в Генкином сердце. И игроки на той стороне падали — тоже как от выстрела, — потом медленно поднимались. Виновато. Не глядя друг другу в глаза. Над ними не только смеялись, их и подбадривали: ну разве кто может брать такие мячи.

Генка забыл и про москвичку и про часы. Он смотрел на Короля. На одного Короля. Только на Короля. Научиться бы так играть! А может, Король его потренирует? Хоть немножко...

Ну вот Генка и подновил все линии на волейбольной площадке. Теперь она была чистенькая, светлая и строгая.

Пришел Вартан. Посмотрел на площадку. Сказал:
— Ты здэлал?

Он мог бы не спрашивать. Неужели не видно?

Но Вартан, не дожидаясь ответа, тут же сказал:

— Маладэц.

Вот так-то лучше. Генка улыбнулся:

— Что, Вартан, врежем сегодня пограничникам?

— Конэчно, врежэм. Какой может быть вопрос!

* * *

На море разыгрался шторм. Уже второй день грязно-желтые волны расшибали свои крутые спины о каменную стену набережной. Их неукротимое упорство пугало. Они разбивались о камни с грохотом и шипеньем, и казалось, что камни больше не выдержат, камни

рассыплется в песок и тогда волны побегут дальше — крушить деревья, заборы, дома.

Небо было темным. Вершины гор увязали в тучах. То и дело срывался дождь. Его капли с одинаковым безразличием барабанили по плащам прохожих, по мохнатым пальмам, по лужам на волейбольной площадке.

Отдыхающие ходили мрачные, не знали, чем заняться, ругали погоду, ругали себя, что приехали на Кавказ в такую позднюю пору. Им не верилось, что вновь вернется тепло и можно будет купаться в море.

Генка не поддавался этой всеобщей панике. Хотя настроение его тоже нельзя было назвать отличным: в первых, не играли в волейбол, во-вторых, англичанка поставила ему сегодня двойку за модальные глаголы и завтра грозились снова спросить.

Он заглянул в столовую к матери, поел там в подсобном помещении возле кухни, взял две морковки.

— Иди домой, — сказала мать. — Кто за тебя уроки делать будет?

Пробурчав что-то, Генка поднялся.

Дождь. Дождь. Лил не переставая.

Генка подумал, что отдыхающие сейчас играют в шахматы и карты, режутся в «козла», а желтый мяч валяется в темной кладовке.

В клубе заводили радиолу. Генка вошел в зал и остановился. Там было пусто. Только одна пара танцевала. Король и Света.

На ней было темное длинное платье, отчего и сама она казалась очень тоненькой и высокой как никогда. «Вырядилась! — подумал Генка. — Лучше б училась в волейбол играть». Непривычное для глаз платье вначале ему не понравилось. «Словно змеиную кожу натянула», — мелькнуло в голове сравнение.

Но когда Генка присмотрелся, понял — напрасно он подумал так об этом платье. Вовсе не напоминает оно змеиную кожу. Когда москвичка поворачивалась, мягкий темно-синий цвет платья, казалось, переливался, как море в ясную погоду.

И прическа ее тоже хороша. Это Генка понял еще раньше. Как-то он сидел рядом со Светой и смотрел игру. На москвичку он не обращал никакого внимания. Ну сидит, хлопает в ладоши. И пусть себе. Лишь когда мяч после «пушечного» удара Короля подскочил и покатился далеко-далеко, только тогда Генка вдруг, посмотрев в сторону, разглядел вблизи прическу Светы. Он

удивился. Ее золотые волосы казались воздушными, невесомыми. Как только они держались в этой высокой красивой прическе? Такие прически он видел на фотографиях за окном парикмахерской и несколько раз в кино. Ему захотелось вдруг потрогать золотые волосы москвички. «Наверное, как пух», — подумал он, но тут мяч вновь взлетел над волейбольной площадкой, и Генка позабыл про свою соседку. После игры он опять увидел Свету и опять засмотрелся на ее волосы.

Он даже не заметил, что к ней подошел Король. Лишь когда киевлянин спросил о чем-то, Генка встрепенулся: он уже не раз просил Короля, чтобы тот показал ему несколько приемов, да киевлянин все отнекивался — потом, мол, еще успеем. Но в тот день Король сказал: «Погоди. Дай вот сыграем...» — «А потом? — спросил Генка. — Потренируемся?» — «Лады...» — произнес Король. И снова с тренировкой ничего тогда не получилось. Взглянув на Генку, Король сказал: «Потом, потом. Сейчас некогда!» — и вместе с москвичкой пошел к морю.

Теперь Генка сидел у окна и смотрел, как они танцевали.

Музыка смолкла. Король подошел к радиоле, и опять зазвучала та же самая пластинка.

Генка знал ее — там были записаны итальянские песни. Несколько песен. Зачем же без конца крутить одну и ту же — эту вот, такую тягучую. «Ча-а-о, ча-а-о, бамби-и-но-о...» — выводил негромкий вкрадчивый голос, и почему-то делалось грустно. Потом голос звучал все печальнее и печальнее. «Ча-ао... Ча-ао!..» — кричал он кому-то издалека. И даже становилось жаль этого незнакомого певца.

А Король все танцевал со Светой. Вернее, она учила его танцевать. Она говорила: «Ну, слушай музыку! Что ты?» Или: «И меня слушайся тоже. Тебя ведь с места не сдвинешь».

«Уж молчала бы! — сердито подумал Генка. — Тоже мне королева нашлась!» Было обидно, что она так разговаривает с Королем.

Генка отвернулся и стал смотреть через окно на море. По нему катились желтые волны, и лишь у самого горизонта вода была синей и даже черной. На днях он услышал случайно, как москвичка говорила Королю: «Ах, море! Для меня оно всегда будет загадкой...»

А для Генки оно не было чем-то особенным. Он давно привык к морю, как привыкают, например, люди, живу-

щие возле железнодорожного полотна, к шуму поездов. Он любил купаться, любил ловить рыбу и даже любил иногда просто смотреть на море. Лежать, поджаривая живот на горячих камушках, и смотреть. Но Генка не видел в нем ничего загадочного.

И чего это люди все выдумывают про море? Говорят даже, что оно чем-то пахнет. В одной книжке о путешествиях он прочитал: «Соленый морской запах». Чудно! Ведь и соль не пахнет. А в другой книжке было написано, что у моря запах йода. Это тоже ерунда. Море — оно пахнет морем. И больше ничем.

Генка вышел из клуба.

Море шумело. И лил дождь.

А сквозь шум было слышно, как кто-то кричал издалека: «Ча-а-о!.. Ча-а-о!.. Бамби-и-но-о-о...»

* * *

Это случилось утром в воскресенье.

Генка не верил своим ушам. Как только она могла говорить такое? Как у нее язык поворачивался?!

Москвичка сказала Королю:

— Гриша, поехали на Рицу.

— Так я ведь записал нас.

— Не понимаю.

— У Вартана записал. Ну, в экскурсию. На послезавтра.

— Вместе со всеми?

— Угу.

Они сидели, откинувшись, на скамейке недалеко от столовой. На этой же скамейке сидел и Генка.

Света сказала:

— Послушай, ну зачем нам Вартан, зачем все? Сами поедем. В десять тридцать автобус. Билеты есть, я узнавала. Возьмем и поедем. Сами поедем. Ну понимаешь, сами... Смотри, какой день хороший.

«А игра? — хотел крикнуть Генка. — Ты забыла?»

Но Король точно так и спросил:

— А игра?

День сегодня был особенный. Сегодня впервые дом отдыха должен был играть со спортбазой. Спортбаза жила сама по себе. Она ни с кем не играла. Разве лишь иногда с пограничниками. И то делала их, как мальчиков. И вдруг... Да нет, почему же «вдруг»? Просто про команду дома отдыха далеко пошла слава. Все только

и говорили, как дом отдыха под сухую врезал пограничникам. А это ведь не какая-нибудь там «Чайка» или «Грузия»: пограничники играют здорово, все знают.

— У тебя каждый день игра, — сказала москвичка. — А если я тебя прошу, так ты... — Она смолкла и стала смотреть в море.

«Как было бы хорошо без нее! — думал Генка. — Зачем только она приехала!»

— Светик, — сказал Король, — мы же не успеем вернуться.

— Ну и что? Без тебя обойдутся как-нибудь. А такого дня, может, больше и не будет. — И она взяла его за руку. — Поехали, а?

Король встал.

— Пойду поговорю с Вартаном. — И ушел.

А потом они уехали. В автобусе.

Простить можно многое. Генка простил Королю часы, простил кривляку москвичку, простил вчерашнее — Король назвал его вместо Генки Сережкой... Но чтобы так вот сбежать, променять игру на несчастную Рицу!.. Такое не прощается.

Перед игрой Вартан был мрачный.

— А где Гриша? — спросил его кто-то.

— Уехал. Рука болит, панымаэшъ. Говорит — нэ могу.

— Уж как-нибудь постарался бы.

Вартан сердито закричал.

— «Постарался бы, постарался!» Какой ему интэрэс не играть? Он тожэ нэ машина, панымаэшъ.

«Рука... — подумал Генка. — Знал бы Вартан».

Спортбазе проиграли.

Ребята были высокие, сильные. Они как навалились сразу, как дали дрозда...

Генка слышал, как один из них сказал другому: «Зря приехали. Я же говорил...»

От обиды у Генки даже в голове застучало — так бывает, если нырнуть и побить под водой камешками одним по другому.

Перед самым ужином Генка встретился с киевлянином и Светой. Они только что приехали.

— Ну как, Сережа, — весело спросил киевлянин, — врезали спортбазе?

— Врезали! — бросил Генка и, не остановившись, пошел дальше. Слово почему-то вырвалось с Вартановым акцентом. Может быть, так было резче, злее...

И опять день был солнечный. Море синее. Камни теплые. Это ничего, что они не были такими горячими, как летом. На них тоже приятно поваляться, хотя они не поджаривают живот и не жгут пяток.

Генка только что выкупался. Он лежал, раскинув руки, и смотрел в горы. Еще недавно они были зелеными, потом пожелтели кое-где, а теперь на них выступили ярко-красные и бордовые пятна.

Под чьими-то шагами прошуршала галька.

— Дальше идти не нужно. Здесь хорошо. — Это был ее голос, москвички.

На своих поролоновых ковриках она и киевлянин разместились неподалеку от Генки. Вначале они хрустели яблоками, а потом Света сказала:

— Красиво как, правда?

Генка покосился краешком глаза. Нет, она показывала не на море — там сегодня не было волн и оно выглядело сонным, неинтересным, — она показывала рукой на горы. Ее золотая корона светилась так, будто в нее спряталось солнце.

Киевлянин ответил:

— Угу, — и вновь захрустел яблоком.

Она сказала:

— Такие горы нравились бы импрессионистам. Они бы их обязательно рисовали.

— Рисовали бы, — согласился киевлянин.

Генка не знал, кто такие импрессионисты. И рисовать он не умел. Но горы ему нравились. Он потянулся к брюкам, достал из кармана морковку.

— Их словно обрызгали красками, правда? — не унималась Света. — Нет, ну ты скажи, что красиво, скажи! — И она тихонько стукнула киевлянина в плечо.

— Красиво, — отозвался киевлянин.

«Вот пристала! — подумал Генка, вгрызаясь в морковку. Но потом посмотрел на горы, и ему тоже показалось, что кто-то их обрызгал красками. — Спросить, что ли, ее про импрессионистов?»

Москвичка встала, надела белую шапочку. Золотая корона исчезла.

— Пошли, — торопливо сказала Света: ей, наверное, и самой не хотелось стоять просто так — без короны, в обычной резиновой шапочке.

— Я еще полежу, — ответил киевлянин.

Москвичка пошла одна.

Она проплыла метров десять, изящно выбрасывая из воды руки, потом ловко сняла шапочку, поправила прическу, и опять засветилась на поверхности моря золотая корона.

Отвернувшись, Генка стал смотреть в горы, но все равно перед глазами у него была Света. Тогда он снова взглянул на море. Москвичка продолжала плыть, но вдруг она завертелась на одном месте, а затем повернула назад.

Генка слышал, как она говорила киевлянину, что выронила шапочку. Генка видел, как киевлянин полез в море, нырял несколько раз, фыркал, но, так и не достав шапочки, вернулся и, тяжело дыша, лег на свой коврик.

— Жаль, — проговорила Света.

— Ее не найти, — сказал он, — ничего, новую купим.

«Новую? — думал Генка. — Ну при чем тут новая...»

Генка плыл, опустив голову в воду. Это не то что плыть с маской. Все выглядит расплывчатым, мутным. Но вода сегодня была очень чистая, и Генка легко отыскал белую шапочку — она лежала на большом камне, поросшем рыжими водорослями.

Ее было хорошо видно, и Генка сразу же догадался, что киевлянин просто не смог достать ее. «Метров семь», — подумал Генка и, набрав побольше воздуха, нырнул.

Он нырял еще и еще. И всякий раз, когда казалось, что до белой шапочки оставался метр, даже, может быть, полметра, Генке сдавливало голову, а в ушах появлялся звон, будто рядом проходила моторная лодка. Тогда какая-то непонятная сила бросала Генку вверх, и он выныривал и жадно хватал воздух ртом.

Над шапочкой сновала стайка зеленух, и Генка все время спугивал их — черными стрелками они рассыпались в разные стороны, а потом вновь собирались, будто дразнили Генку или приглашали поиграть.

В последний раз Генке показалось, что он даже коснулся шапочки, но вынырнул снова с пустыми руками. Нет, наверное, там было не семь метров, а больше.

Света и киевлянин тем временем уже оделись и пошли по пляжу. Она опять показывала рукой на горы. «Опять про импрессионистов», — подумал Генка и нырнул.

Когда стало сдавливать голову и появился звон, Генка понял, что ему никогда не достать этой проклятой

резиновой шапочки. Это только кажется, что она под самыми пальцами, что стоит только пошевелить ими и... Ни ноги, ни руки не слушались. Генка чувствовал, как весь он наполнился той самой силой, которая вот-вот вытолкнет его наверх. И все же он дотянулся до шапочки. Он только успел ощутить, что пальцы его схватили резиновый комок: от боли в голове он уже ничего не видел.

К берегу он поплыл не сразу. Он долго не мог отдышаться, лежал на спине, раскинув руки и ноги. Вода чуть покачивала. И было приятно смотреть вверх на мелкие белые облачка, на чаек, на вертолет, уходящий к Адлеру.

Мимо Генки, фыркая и отдуваясь, проплывал какой-то мужчина. Сострил:

— Что, ныряльщик, золото искал?

Генка не ответил.

— Медуз сегодня полно, — заметил мужчина и поплыл дальше.

А Генка стал думать, как он отдаст шапочку. Вначале он представил, что просто кинет ее к ногам киевлянина: «Эх ты, донырнуть не смог! Король называется...» Киевлянин покраснеет, поднимет шапочку и скажет: «Глубоко там очень». Генка ответит: «Ха! Глубоко! Воробью по колено». Сплюнет и уйдет. А москвичка посмотрит ему вслед...

И тут он почувствовал себя необыкновенно сильным и большим. Даже сильнее киевлянина. На Генку нахлынула бешеная радость, такая радость, что по телу пробежала судорога.

«Плыви. Ну, плыви же скорее! Плыви!»

Свету и киевлянина он догнал в самом конце пляжа.

Но когда оставалось сделать какие-то последние шаги, Генка совершенно ясно увидел, что все, о чем он только что думал, невыполнимо и нелепо.

«Распетушился! — со злостью подумал Генка. — А нужно не так. Нужно по-умному».

Но как «по-умному» высказать все то, что он думает, Генка не знал. Как сказать этому парню, кем он был для Генки... Кем? Да всем на свете. Генка ловил каждое его слово, каждое движение, а он...

Посмеиваясь, москвичка о чем-то говорила и помахивала своей цветастой пляжной сумкой. Про шапочку она, видно, давно забыла. «Я-то, дурак, старался», — поду-

мал Генка и, быстро приблизившись к Свете, сказал:

— Возьмите, это ваше.

Она удивленно взяла шапочку.

— Спасибо... Ой, это вы ее нашли?

Вопрос показался Генке бестолковым и обидным. Он повернулся и пошел прочь.

— Какой-то чудной, — сказала Света. — Что с ним?

— Дикарь, — пояснил киевлянин.

— Ну, ты уж слишком... Чего бы ему подарить? Знаешь, у меня есть московский значок с царь-пушкой. Такой красивый значок. Что, если...

Но договорить она не успела.

— Эй! — позвал киевлянин. — Возьми...

Под ногами у Генки зазвенел рубль.

Генка не выдержал. Злоба и обида перехлестывали его через край. Задышавшись, он крикнул:

— Подавись!..

— Сопляк! — крикнул киевлянин.

И вдруг разом пропали и злость и обида. Генке даже стало смешно. Он-то считал киевлянина сильным и могучим, он-то называл его Королем, а тот дразнится. Дразнится, как девчонка.

Генка не обернулся. Ничего не крикнул в ответ. Он лишь прибавил шаг.

Под ногами весело захрустели камушки.

* * *

Пошли дожди. Лужи на волейбольной площадке не успевали высыхать. Вартан снял со столбов сетку.

Отовсюду слышались нудные, однообразные разговоры: как добираться домой — самолетом или поездом.

Уехал киевлянин. Уехала красивая москвичка. Появились новые отдыхающие. Они ругали погоду и забивали «козла».

Генка ходил по утрам в школу. Воротник его был поднят, на голове — кепка.

Дожди, дожди, когда вы только кончитесь!

Иногда Генка останавливался на шоссе на дороге и смотрел издали туда, где была волейбольная площадка. И казалось ему, что вот налетит ветер, разгонит тучи и вернется лето, выпрыгнет из моря новенький желтый мяч.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Главная Сережкина тайна	3
Зеленое окно	135
Юрок и Настасья	293

РАССКАЗЫ

Последний день прекрасного лета	359
Король, королева и Генка	371

ИБ № 5930

Тихомиров Олег Николаевич

ГЛАВНАЯ СЕРЕЖКИНА ТАЙНА

Заведующий редакцией **В. Володченко**
Редактор **Е. Калмыкова**
Художник **В. Дедов**
Художественный редактор **Н. Фадин**
Технический редактор **Е. Брауде**

Сдано в набор 10.11.88. Подписано в печать 11.01.89. А04618.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 20,16. Условн.
кр.-отт. 20,58. Учетно-изд. л. 21,3. Тираж 60 000 экз. Цена 95 коп.
Заказ 2611.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцеская, 21.

ISBN 5-235-00406-X

Larisa_F

